ИСТО-РИЯ РОКА

Максим КАПИТАНОВСКИЙ

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ БИТЛЗ

18+

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Максим Капитановский — режиссер-документалист и сценарист фильмов «Пол Маккартни. 73 часа в России», «Во всем прошу винить «Битлз», «Таймашин. Рождение эпохи» и других, писатель, журналист, участник культовых групп «Добры молодцы», «Лейся, песня!», супер-группы журфака МГУ «Второе дыхание», барабанщик ранних составов группы «Машина времени», в течение 12 лет звукорежиссер «Машины». В предисловии к книге Андрей Макаревич пишет: «У Макса была масса разнообразных достоинств. Одно из них — он великолепный рассказчик. Согласитесь, редко бывает, когда в компании просят: «Макс, расскажи про то-то и то-то», — отлично зная саму историю, но не в силах побороть искушение послушать ее еще раз». И это правда — некоторые эпизоды книги заставляют хохотать до колик. При этом она не просто смешная, а очень даже поучительная: в ней говорится о том, как не растеряться в самых трудных жизненных ситуациях. Книга рассказывает о феномене группы «Битлз», о ее влиянии на советскую рок-музыку и эстраду, моду и даже политику через призму юмора, искрометных шуток и воспоминаний Максима Капитановского. Содержит нецензурную брань.

- Максим Капитановский
  -
  - 1
    - Школа выживания
    - Пшикер
    - Zagranitsa
    - Запретный плод
    - Из жизни жаб
    - Худшая песня
    - Пылесос
    - Новый год под пальмами
    - Ястребы Тель-Авива
    - Сочи — темные ночи
    - Нанайская
    - Крепче за шоферку держись, баран
    - Обознатушки-перепрятушки
    - Не победа, а участие
  - 2
    - Предисловие автора
    - «Beatles», джинсы и будущее России

        - Как я читал сценарий (первая серия)
        - Джинсы (вторая серия)
        - Группы (третья серия)
        - ВИА (четвертая серия)
        - Прошло семь месяцев
    - 3
        - Волшебные спички
        - Зелень
        - Клим (из романа «Будни волшебника»)
        - Черти
        - О воображении
        - Не звизди!
        - Малый Декамерон
        - Петля для покупателя
        - Морда ящиком, или рукопись, найденная в Сарагосе
    - 4
    - Фотографии
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

Максим Капитановский
Во всём виноваты «Битлз»

Издательство благодарит Оксану Капитановскую за предоставленные фотографии из личного архива.

Макса Капитановского мы узнали в 1972 году, когда вдруг из великолепного, гремящего на всю Москву «Второго дыхания» он переместился вместе со своими барабанами в юную, зеленую и неумелую еще «Машину». Дела у нас пошли в гору, однако счастье было недолгим: не проиграв и года, загудел Максим в Советскую армию, да еще прямо на горячую советско-китайскую границу.

Мы надолго расстались. Вернувшись со службы, Максим не сразу догнал «Машину», а сначала прошел сквозь строй советских ВИА «Добры молодцы», «Лейся песня» и иже с ними. А спустя годы все же вернулся к нам — правда, уже в качестве звукорежиссера.

У Макса была масса разнообразных достоинств. Одно из них — он великолепный рассказчик. Согласитесь, редко бывает, когда в компании просят: «Макс, расскажи про то-то и то-то», — отлично зная саму историю, но не в силах побороть искушение послушать ее еще раз.

Я понимаю, конечно, что рассказ рассказанный и рассказ, изложенный на бумаге, — совершенно разные веши. Но мне кажется, что Максовы истории могут свободно жить и в той, и в другой ипостаси. Не надо ждать от этой книги протокольного изложения событий. И если автор то и дело приподнимается над тусклым уровнем бытовой действительности — он имеет право на этот полет.

Сильная все-таки вещь — литература.

Восемь лет назад Макса неожиданно не стало. А я все никак не привыкну.

Андрей Макаревич

1
Все очень непросто

Школа выживания

Наша доблесть заключается не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы подниматься после каждого падения!

(Конфуций)

Рок-н-ролл — это образ жизни!

(Лепольд Захер-Мазох)

1989-й. Уже четыре дня мы находились в Германии на гастролях. Болтаясь с утра по центру Дрездена, я так устал, что, увидев несколько столиков, выставленных из кафе прямо на полустертый площадной булыжник, срочно «приземлился» на ближайший свободный стул. До концерта было еще часов пять, я заказал кофе и стал озираться. Начало июня, погода шикарная, город цветет — короче, жалко было только что это не Париж, а гэдээрошный Дрезден.

На столике рядом с пепельницей лежал аккуратный блокнот с ручкой в петельке. На блокноте изображен какой-то герб и надпись «Schriftsteller». Так же называлось и все заведение — «Писатель». Народу было довольно много, но контингент странноват: в основном мужчины примерно моих лет (30+). И почти все они сидели пили кофе, курили и *что-то писали*.

Кажется, я сообразил: это было кафе писателей. То есть не просто заведение, где собираются литераторы, а место, где эти литераторы конкретно пишут. На меня уже косо посматривали. Схватил блокнот, отстегнул ручку, которая тут же вывела на первой странице: «Пожалуй, человеку, который никогда…»

Пожалуй, человеку, который никогда не бывал на гастролях, невозможно понять, что это такое. Представьте себе, что половину времени вы проводите вне дома, то есть должны как-то питаться, сохранять здоровье (зимой часто без горячей воды) и, наконец, по возможности хорошо выглядеть, порою в самых антисанитарных условиях.

О личной жизни, разбитых семьях говорить пока не будем. В конце концов, такую жизнь мы сами себе выбираем. Но вот о сложных социальных отношениях «гастролирующий артист — окружающая среда» (гостиницы, поезда, самолеты) можно

рассказать немало интересного.

Я постараюсь познакомить вас с некоторыми секретами и маленькими хитростями школы выживания в экстремальных гастрольных условиях. Секретами, наработанными десятилетиями концертных командировок по самым отдаленным местам. Но хочу предупредить: **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не читайте раньше времени главу на странице **68** во избежание самых **непредсказуемых последствий.**

С возникновением групп и выходом их на профессиональную сцену у подавляющего большинства людей (и не только работников сервиса) создался определенный стереотип гастролирующего музыканта: длинноволосый (а в просторечии — нестриженый), одетый в заграничное, непременно пьяный, гребущий деньги лопатой хамоватый ухарь, живущий для того, чтобы портить нервы нежным проводницам купейных вагонов и дежурным администраторам переполненных гостиниц.

Дело в том, что обычный командированный или приехавший на отдых человек, прекрасно знающий, как трудно с билетами, гостиницами и т. д., считает за счастье и третью полку в плацкарте, и койку в коридоре. Его можно разбудить шваброй, и на белье мокрое положить, и прикрикнуть, а вот зарвавшиеся артисты, катающиеся по стране по десятку и более лет, иногда начинают робко понимать, что и у пассажира, и у «гостя» (так называют в гостиничном сервисе своих горемык-проживающих) тоже есть свои, определенные конституцией и разумом права.

Вот тогда-то и получаешь на свои сногсшибательные претензии насчет горячей воды в январе или по поводу отсутствия известных сантехнических приспособлений (удобства во дворе) интересный ответ: «Шибко умный». Надо думать, в ироническом смысле.

«Шибко умный» — это еще хорошо. Саша Буйнов, путешествуя однажды летом в поезде на гастролях, обратился к проводнице с просьбой открыть окно в купе. Было страшно жарко, а вентиляция как всегда не работала. Проводница — неопрятная баба с хохлятским акцентом — заржала и отказала в грубой форме. Когда же интеллигентный Александр задал робкий вопрос, для кого все-таки придуманы форточки в купе, баба, которой красивый Буйнов напомнил иностранного киноактера, его даже не ударила, а наоборот — присела, борзо повела плечами, выкинула два гопаковых коленца и продекламировала: «Для те-бе, для пез-де!»

Братья гастролирующие артисты! Кто из вас после позднего концерта, а то и длительного переезда не просыпался в 7.30, как в страшном сне, от присутствия в вашем номере тетки в синем

халате и двух огромных мордатых дядек, непонятно как прошедших через закрытую дверь и деловито осуществляющих какую-то таинственную работу. И лучшее, на что вы можете рассчитывать в этой ситуации, это реплика длиною в двенадцать сантиметров (на бумаге): «лежичегодергаешьсячтоямужиковневидалаголыхнакурилтокак». И уж в самом крайнем случае, в припадке необъяснимого человеколюбия, кто-нибудь из мужиков может буркнуть: «Инвентаризация» или «Тараканов морим».

Вот так, просто и изящно: «Тараканов морим», — и довольные артисты отправляются в гостиничный буфет.

Итак, чем больше вы ездите на гастроли, тем делаетесь опытней и хитрее — вас уже на местной козе не объедешь и голыми руками не возьмешь.

И вот, въезжая в гостиничный номер, вы, сбивая дежурную с ног, бросаетесь к телефону (если он есть) на предмет тайной трещины, затем к телевизору (если он есть) — работает ли? Отворачиваете штору на окне (если она и оно есть) в поисках абстракционистского черного пятна (оно почти наверняка есть) и, наконец, торжествующе показываете дежурной отбитый край хрустальной вазы, заботливо замаскированной под целую.

И упаси вас бог прохлопать один из этих пунктов, тогда при выезде, во время сдачи номера (есть такая милая трупоедская процедура), вам предъявят и неработающий телевизор, и треснутый телефон, и испачканную штору, и испорченную вазу; вы будете оштрафованы в ужасающекратном размере и под гиканье и улюлюканье персонала пойдете вон…

Но это, конечно, фантазии, не забывайте: мы опытные и хитрые, мы все проверили, и уже хочется вытащить на свет пословицу, что, мол, на каждую гостиничную старуху есть своя артистическая проруха, как в последнюю секунду выясняется, что по каким-то своим вафельным делам отсутствует полотенце (только что было тут), и вы, опытный и хитрый, покрывшись стыдливым мужским румянцем (нехорошо красть вафельные полотенца), платите деньги и, сидя в автобусе, стараетесь не смотреть на стройные ряды персонала, который, печатая шаг, проходит под вашим окном с плакатами «Не на тех нарвался!».

Мне лично с гостиницами всегда очень везло. Постоянно попадался номер напротив специальной комнаты, где горничные и дежурные по этажу держат свои таинственные коммунально-бытовые атрибуты и где вообще находится их штаб-квартира. Как это хорошо и полезно все время находиться в самой гуще их личной жизни и интимных подробностей, находиться, так сказать, на самом острие пищевых, мыльно-порошковых и

тряпочных интересов.

И как близко к сердцу все принимаешь. Однажды я в течение нескольких часов с трепетом следил за развитием леденящей кровь драмы с похищением половой тряпки, и когда добро восторжествовало, а зло было если не наказано, то осуждено, слепая нездоровая радость переполнила все мое существо — какие уж тут могут быть концерты.

Побывав несколько раз за границей и увидев, как у них решаются вопросы тишины в гостиницах (при помощи специальных табличек «Просьба не беспокоить»), я однажды решился (за отсутствием фирменных) написать собственное обращение. Долго корпел вечером, и вот что получилось: «Дорогие товарищи дежурные! Ваши гости устали после концерта. Убедительная просьба утром не орать или орать потише. Спасибо». «Спасибо» — это я позже приписал для пафоса.

Вы бывали когда-нибудь на шабаше ведьм? Нет? Может быть, вы участвовали в драке пьяных жестянщиков с пьяными жестянщиками же? Примерно от таких звуков проснулся я на следующее утро. За дверью грохотало, ухало; дикий хохот, безумные вопли несколько нарушали тишину. В дверь стучали швабры, плюхались тряпки, и кто-то очень ритмично (нельзя не отметить) молотил по замку пустым ведром. Наконец из-под двери по сквознячку разлетелось по номеру кусочков сто моего неудавшегося опыта наглядной агитации.

До пересменки из номера не выходил: боялся.

Однажды на концерте пришла записка: «Это правда, что артисты только и делают, что пьют?» Вашими бы устами, господа зрители, да мед пить — к сожалению, артисты еще и едят.

А как удачно решаются на гастролях вопросы с питанием! Вы утром, чисто побрившись и одевшись по-выходному, приступаете к ожиданию обеда. На суточные в 2 р. 65 к. (1975 г.) позавтракать и поужинать невозможно, а вот позволить себе обед из первого, второго и, чем черт не шутит, может быть, и третьего никто вам не запретит. Поэтому обед — это событие, которое обставляется по возможности пышно, и вот вы, пригласив для компании (какой же обед в одиночку?) приятеля (естественно, из той же «Машины времени»), гремя всеми суточными, входите в гостиничный ресторан.

Сначала вас сбивает с ног, но не лишает аппетита устрашающий транспарант «Берегите хлеб — в нем соль земли и пот хлебороба!». Гигантским усилием воли вы не даете себе расслабиться (в крайнем случае даете друг другу слово не есть хлеб вообще) и усаживаетесь за один из прекрасно сервированных вилками и ложками (ножи крадут) столов. По непонятной

оплошности официантки здесь же оказывается и меню. Какие широкие, в пределах суточных, конечно, горизонты открываются перед вами! Вот рубрика «Полакомьтесь», вот «Разрешите вам предложить», а вот «Если вам позволяет здоровье» (но не суточные). Если вы давно не были в цирке, то можно заказать неизвестно как сюда затесавшуюся брюссельскую капусту, а если вы последний день в городе и прилично знаете карате, то яйцо всмятку — блюдо, которое оказалось в меню не иначе, как по разгильдяйству типографского мальчика — явлению, видимо, достаточно распространенному, так как давало мне возможность раз шесть в разных городах заказывать этот редкий деликатес. Я думаю, простительно — в жизни так мало радостей.

Происходило следующее: сначала официантка переспрашивала, потом обижалась, затем из кухни по очереди выглядывали всякие изумленные рожи, и официанты начинали бычиться по углам (но мы-то, опытные и хитрые, последний день в городе и знаем карате), наконец, после кофе приносили (а чаще вообще не приносили) сырое, или тухлое (насмешка), или крутое (как директор ресторана) яйцо. Яйца всмятку отведать так и не удалось, видимо, кроме моей мамы и меня самого варить их никто не умеет, и горькими слезами по яйцам всмятку плакала «Красная книга СССР», а теперь уж я не знаю чего.

Со временем это развлечение стало приедаться (каламбур), тем более что в общепите стали удивляться по поводу яйца все меньше и меньше. Наверное, ресторанщики разных городов обмениваются на своих тайных слетах необходимой информацией о своих ошибках, и, действительно, положение выправляется, видимо, создана специальная цензура (последние полтора года пресловутое яйцо в меню не попадалось), и со временем этот недостаток будет изжит общепитом навсегда, как, впрочем, и само блюдо. Но надо отдать им должное — машину из сумасшедшего дома они ни разу не вызывали. А мы-то по-прежнему в ресторане, и поведать эту сумрачную историю про яйцо дало возможность полное отсутствие официантов и вообще кого-либо. Наверняка подглядывают, выжидают, чтоб меню получше изучили, а потом так и бросятся.

Точно. Вот на всех парах, как «Ермак» на помощь «Красину», летит официантка, и только состояние крайней эйфории и общей благожелательности не дает мне возможности сразу констатировать, что для официантки золотых перстней и зубов вроде бы многовато. Вот так номер — да это ж метрдотель! — «Вы что?! У нас же румыны!!!»

Я вообще-то всегда знал, что наши люди, а особенно артисты, хуже румын, но чтоб настолько…

В общем, со всем написанным может столкнуться любой человек, просто артисты часто ездят, то бишь гастролируют, поэтому видят немного резче и слышат немного громче.

С годами гастролей становишься мудрее (и опытнее, и хитрее), начинаешь понимать, что все они хотят тебе добра, только не у всех получается.

Хочет добра администрация гостиниц (чаще всего многоэтажных), когда в 20 часов выключает лифт, а концерт сплошь и рядом заканчивается позже, а в Новосибирске пошли еще дальше: выключали не только лифты, но и вообще электроэнергию. А чего, экономия и «гости» вовремя засыпают.

Хочет добра проводница, запирающая туалет, стюардесса, не дающая пить, и единственная возможность выбраться без потерь из этой бездны доброжелательства — это стать как можно более известным артистом, чтобы тебя все узнавали (тут отношение несколько меняется). Вот по каким причинам «Машина времени» стола популярной и часто показываемой по ТВ группой. А вы думали почему?! Нужда заставила.

А за кого только не держит администрация гостиниц своих «гостей» в разных городах. Я сознательно не называю названий, чтобы не обидеть невинных людей, хотя о городах можно и прозрачно намекнуть.

Так, например, в одной столице (солнечной Татарии) в гостиничных номерах висит интересный документ: «Руководство по пользованию телефоном», — где сначала написано, что телефон предназначен для слуховой связи двух абонентов, для чего нужно левой рукой (если вы правша) снять трубку, убедившись, что есть гудок, указательный палец (а почему не мизинец?) вставить в специальное отверстие на специальном круглом (вы видели квадратный?) диске, плавными круговыми движениями… и т. д. Я понимаю, учили бы компьютером пользоваться…

В другом городе-герое — городе самоваров, пряников и оружейников — в общем, кто еще не понял, то в Туле, в гостинице правила поведения проживающих при пожаре и в мирное время, не мудрствуя лукаво, были озаглавлены: «Памятка для проживающих в гостинице людей».

Единственное, что утешало, так это то, что гостиница была цирковая, а значит, должна была существовать и «Памятка для проживающих в гостинице зверей».

А вот еще одна выдержка из правил для людей: «…В случае пожара (!) тепло оденьтесь, выйдите на балкон (!), закройте за собой дверь, затем жестами постарайтесь привлечь внимание пожарных и спокойно (!) взывайте о помощи».

Я так и вижу составителя этих инструкций, тепло одетого, на балконе, тихо и проникновенно взывающего: «То-ва-ри-щи, по-мо-ги-те…»

Гастрольная жизнь несколько напоминает фронтовую, поэтому не обойтись без солдатской смекалки. Кто, как не артист, может вымыться в стакане, в два счета побриться с холодной водой без мыла и в темноте, кто способен в считаные минуты из куска проволоки, двух спичек и лезвия изготовить качественный кипятильник, и кто, наконец, обычным феном ухитряется сушить носки, гладить брюки, греть, лежа с ним в обнимку, свою одинокую постель и даже сушить волосы.

В чемодане у музыканта можно найти самые неожиданные предметы: моток изоляции — заклеивать окна в номере, когда сквозь щели с палец шириной рвется к вам под одеяло ледяной ветер; непременная отвертка для отключения громкоговорителя, который с садистским сладострастием разражается в 6 утра громовым гимном; нож на все случаи жизни, но в основном для отгибания металлических уголков у зеркала, дабы его перенести (как известно, зеркала в номерах непостижимым образом находятся на максимальном удалении от электрической розетки), в противном случае бриться и сушить голову приходится наизусть; рулон туалетной бумаги, который используется для перевязок, служит салфетками, утеплителем, затычкой в ванне или раковине, а иногда даже используется по своему прямому назначению.

Если покопаться, можно найти старую батарейку, палочки для добывания огня, кусок железнодорожного сахара, портативный стакан, иностранный паспорт и другие приятные и нужные в обиходе предметы.

Итак, вы при помощи различных ухищрений превратили стандартный номер в пятизвездочный люкс. Но самое главное — это при выезде не забыть произвести полный демонтаж всех приспособлений, потому что любое действие, направленное на выживание в экстремальных условиях, рассматривается администрацией гостиницы как коварное преступление, сравнимое по тяжести лишь с кражей полотенца.

Упаси вас боже пригласить вечером в гости понравившуюся девушку. Бесполезно объяснять дежурной, что вы хотите поговорить о музыке или поэзии, бесполезно передавать девушке свой ключ или визитную карточку: во многих гостиницах не поленились отпечатать женский вариант визитки, отличный от мужского. Вся нравственность, накопленная за семь десятков лет нашей непорочной жизни, встает непреодолимой преградой.

Выручает, опять же, смекалка. Для провода гостей существует

несколько способов. Все они почему-то носят имена героев войны и пионеров.

Самое простое, конечно, — это дать денег, но их часто под рукой не бывает, тут-то и появляется возможность блеснуть мастерством с привлечением героико-пионерских хитростей.

Подробнее об этом потрясающем ноу-хау вы прочитаете во второй части книги, а сейчас не будем отвлекаться.

Скажу только, что все эти ужасные строгости по поводу девушек почему-то на лиц кавказской национальности, которых в любой гостинице половина, не распространяются. Видимо, мы хуже не только румын, но и всех остальных тоже.

Отдельная песня — это швейцары. Как правило, это бывшие военные, причем не маленьких чинов, так что они инстинктивно ненавидят любого гражданина с прической более 2 сантиметров.

Однажды в городе Бресте нас днем швейцар долго не пускал в вокзальный ресторан.

— Снимите куртки, — говорит. А гардероб не работает, а в куртках деньги, документы и т. д.

Наш директор объясняет, что «Машина времени», что час до поезда и т. д.

— Та яка така «Машина часу» — не положено, и все!

В то же самое время Макаревича, Кутикова и других окружили любители автографов — с трудом отбивались.

Швейцар смотрел, смотрел, наконец говорит:

— Я не знаю, но вижу, народ вроде вас уважает, а против народа мы никуда. Идите в куртках.

Надо ли говорить, что в зале ресторана, когда мы зашли, половина посетителей сидела в пальто и в шапках.

Да, со швейцарами шутки плохи.

Однажды зимой, после очередного выездного концерта, мы возвращались в гостиницу около двух часов ночи. Декабрь, и очень холодно, но автобус теплый (не знаю уж, что у них там разладилось), поэтому большинство и поехали налегке. Высаживают нас у гостиницы, где мы живем уже три дня, автобус уезжает. Стуча зубами, летим к закрытым стеклянным дверям с надписью «Мест нет». Вестибюль полутемный, никого нет. Молотим по стеклу, кто ключами, кто так, кулачищем. Наконец в дальнем конце намечается какое-то движение, с раскладушки поднимается фигура и, медленно шаркая, направляется к нам. Не доходя метров пяти, швейцар головой и бровями вопрошает: чего, мол, надо? А мы уж друг друга отталкиваем, чтобы первым в тепло вскочить.

Тут Петька Подгородецкий со своим французским грассе спрашивает:

— А что, отец, номега есть?

Тот показывает на табличку и руками и спиной делает отрицательные жесты, неспешно удаляясь к раскладушке.

Ну, ткнули Петьку пару раз в бок, кричим, ключи показываем. Швейцар издали, с раскладушки, только руки скрещивает и головой мотает.

Минут двадцать пять «дрожжи продавали».

Конечно, сейчас кое-что изменилось, но осталась постоянная боязнь закурить в коридоре или забыть визитную карточку в номере. Все это настолько въелось в кожу, что сохраняется даже за границей.

Так, например, после долгих ожиданий и отказов «Машина времени» приехала в США. На шестой или седьмой день приводят нас в дискотеку. Первое, что удивило, — это великолепные музыканты, днем записывающиеся на студиях с различными суперизвестными певцами и группами, а вечером уже распрягающиеся в дискотечном угаре. Второе удивление — это контингент: возрастной разброс от 18 до 60 лет. Лихие бабушки в коротких юбках отплясывали с юнцами западные обезьяньи танцы.

Я стою, прижавшись к стенке, всего трясет. Во-первых, от того, что я в Лос-Анджелесе; во-вторых, что вокруг никаких руководителей тургрупп — полная свобода. Но на всякий случай опасаюсь провокаций — после стольких собеседований и инструктажей боязнь непременных провокаций очень нескоро выветрилась.

Все кругом курят. Я тоже курю — сигареты «Родопи», привез с родины, чтобы не тратить валюту. Очень нервничаю. Тут подходит один плечистый в черной водолазке, уши прижатые, нос приплюснутый, и берет под локоть явно с провокационными целями.

— Ты что, не знаешь, что здесь нельзя курить марихуану?

Я — в шоке, так как меня приняли за настоящего американца, а также оттого, что я сразу понял, что он мне сказал.

Начинаю бормотать, пачку показывать, даже затянуться дал. Уж не стал объяснять, что сигареты болгарские: он и страны-то такой, наверное, не знает. «Рашен» — и все тут.

Затянулся пару раз бедняга.

— Сорри, — говорит.

В борьбе с сервисом крепли и набирались сил могучие советские эстрада и рок-музыка. С годами научились обращаться и с поездами, и с гостиницами, и с самолетами, и даже с пароходами.

Много раз приходилось бывать в круизах и по Черному морю, и в загранплаваниях. Каюты обычно двухместные. Сложились уже постоянные пары. Я, например, все время плаваю с нашим барабанщиком Валерой Ефремовым. Я ведь сам бывший барабанщик, и интересов общих у нас с ним много. То обсуждаем прочитанные книги и просмотренные кинофильмы, то тупо молчим об одном и том же. А когда уже совсем делать нечего, беззлобно ругаемся, кому наверху спать, а кому на нижней койке. Но сначала, как люди опытные, стараемся выбрать каюту поближе к середине корабля, потому что качает меньше, затем отверткой отключается громкоговоритель, так как ночью и утром над ухом орет непонятный голос: «Двенадцатому срочно к тринадцатому», а иногда «Четырнадцатому очень срочно к пятнадцатому». Потом Валера из привезенной из дома проволоки пристраивает к кондиционеру держатель, в который помещается пара бутылок воды, и мы имеем холодный лимонад. А было несколько случаев — даже выпивали алкоголь.

В Италии приходим в непонятную лавку. Глазастый Валерка быстро из всякой тухлятины на полке выудил бутылку «Алкоголь Пуро», то есть чистый спирт; на этикетке даже огонек изображен: мол, горючее.

Продавец даже ухом не повел. Мало ли для каких целей мы берем (в той лавке и лак, и бензин, и средство для мойки стекол продавались), потом услышал русскую речь — сразу смикитил.

— Нон посибиле! — кричит, то есть никак невозможно.

Да еще свои ручки пухлые на груди скрестил и зубы оскалил, как на табличке «Не влезай, убьет». Откуда только знает, что у нас на столбах написано.

Ну, нам-то что? Мы на «Солнцедаре» росли, камни можем есть. Пожали плечами, заплатили и пошли.

Продавец еще долго за нами бежал: АКВА, АКВА — это он на воду намекает. Значит, чтобы мы уж в крайнем случае водой разбавляли в пропорции один к ста семидесяти.

Не надо!!! Валера — химик по образованию, МГУ заканчивал, наверно, уж получше какого-то макаронника знает, где чего добавить.

В три секунды в каюте из одной бутылки «Алкоголь Пуро» шесть «Столичных» приготовил. Будут нас еще учить!!! Как видите, с умением и сноровкой быт наладить можно.

Вот только с Прибалтикой осечки случались.

Это все равно как вы собираетесь поднять очень тяжелый чемодан, напрягаете мышцы, делаете вдох-выдох, а он пустой — ну, в общем «разбежался и упал».

В Риге приходим в кафе. У нас в Москве его назвали бы

рестораном, а у них нет — кафе. Швейцар стоит — баки, как у собаки. «Прошу, господа», — говорит по-латышски. Ну, это нам вообще непонятно, хотели было уйти, но пообедать-то надо. Ладно. Зашли, сели. Подходит официант с внешностью и манерами владетельного гранда. Провозглашает меню по-латышски минут десять. Мы, конечно: «Извините, не понимаем». Он — ничего, даже не ударил. «Суп, — говорит, — и второе». Ну, диктовали мы ему то да се, никак его не собьешь: стоит с каменной мордой, записывает. Наконец Сашка, чтобы его как-то из транса вывести, говорит:

— И, пожалуйста, четырнадцать стаканов чая…

Гранд одну бровь приподнял и спрашивает:

— С ложэчкамы?

В Таллин приехали в день какого-то еще всенародного праздника. Концерт только завтра, сегодня день свободный. На вечер ресторан заказан в гостинице «Виру», а днем по старому городу бегали, дыхание веков ощущали.

Я перед поездкой, еще в Москве, себе сапожки ковбойские справил, надел в Таллине с утра, хожу-радуюсь. Единственно, что постеснялся джинсы в сапоги заправить: слишком уж было бы «знойно».

За целый день набегались, ноги гудят, да я еще страшно натер себе икры новыми голенищами. Принял душ, лежу, отдыхаю. В 8 часов наш директор всех обошел, предупредил: форма одежды № 1 (пиджаки, галстуки).

Настроение отличное. Я костюмчик надел, галстук повязал, полюбовался — то что надо, пусть эстонцы умоются. Сапожки натянул — шагу ступить не могу. Края голенищ прямо в больные места впиваются. И надо-то всего лишь носки высокие или там «гольфы», а где в полдевятого вечера возьмешь? Пошел по товарищам: нет ли у кого чулок длинных или колготок? Так нет.

Заплакал. Не в кроссовках же идти, да и не пустят: Европа чертова.

Открываю гастрольный чемодан: вот отвертка, вот нож — пока не то. Ба! Туалетная бумага! Обмотал на манер красноармейских портянок, надел сапожки под брюки — шикарно.

В ресторане сидим солидно: коньяк, шампанское, официанты скользят неслышно, оркестр шуршит что-то хорошее, красивые пары танцуют медленно.

Я даже девушку себе присмотрел, как положено — блондинку, дождался музычки повеселей, поклонился (знай наших), пригласил. Она книксен сделала, танцуем. Я вообще

танцую очень хорошо, Макаревич все время хвалит, а тут партнерша попалась послушная, чувствую себя Джоном Траволтой из «Лихорадки в субботу вечером». Народ вокруг смотрит с уважением, даже круг немного для нас освободили, некоторые аплодировать собрались, еле сдерживаются. И тут я во время какого-то особенно удачного поворота опускаю голову и вижу, что за моей правой ногой тащится примерно с метр туалетной бумаги. Что делать?! Вы бы, наверное, растерялись. Я — нет. Прижимаю партнершу к сердцу как можно крепче, чтобы хоть она не видела, делаю хитрое па и, как бы между прочим, наступаю левой ногой на бумагу, чем вытаскиваю еще полтора метра.

Тут и танец кончился. Я под видом поклона нагнулся, нагло оторвал проклятую бумагу и пошел спать.

На выходе у швейцара спрашиваю:

— Зачем все-таки вы в слове «Таллин» в конце вторую букву «н» начали добавлять?

Он говорит:

— Лучше вторая «н» в конце, чем «с» в начале.

На следующий день собрался я в гости к своему давнему другу поехать. А он, между прочим, Яак Йоала — лучший певец всех времен и народов.

Мы с ним однажды на гастролях в городе Хмельницке вместе случились. Вот он мне вечером после концерта звонит:

— Макс, ты что сейчас делаешь? Не можешь ко мне зайти, а то тут в гости пришли два мужика мощных, боюсь не справлюсь.

Я прихожу, смотрю — действительно мощные: пять бутылок принесли.

Яак показывает на здоровенного дядьку в тренировочном костюме:

— Знакомься, Макс, Николай Балясник — чемпион мира и Европы по поднятию тяжестей.

Коля застенчиво улыбается, потом схватил меня за руку, пожал рукопожатием, в котором гибнут все микробы.

— А это, — Яак показывает на второго мужчину в сером костюме серой рубашке с серым галстуком, — товарищ Тишков. Он милиционер и следователь, сюда на убийство приехал.

В общем, познакомились, сидим выпиваем. Мы с Яаком разговариваем, гости молчат: товарищ Тишков тайну хранит, а у Коли в голове одни штанги да гири.

На четвертой бутылке вышел казус. Товарищ Тишков вдруг в голос разрыдался. Мы спрашиваем: что случилось? Яак его утешает: бутылку показывает закрытую, что, мол, не все еще выпили, — даже Коля подошел, два роза по спине треснул.

Наконец товарищ Тишков сквозь слезы говорит в таком смысле, что никто из сослуживцев ему не поверит, что он за одним столом с самим «Яком Юлой» и чемпионом мира (про меня, правда, ничего не сказал) сиживал.

Ну, кое-как успокоили его, Яак афишу подарил, а Коля — гирю, дальше сидим. Коля пыхтел, пыхтел, потом:

— Знаешь, Яак, я никогда тебя не слышал, все времени не было. Спой чего-нибудь, ты ж певец.

А Яак не растерялся и говорит:

— Коль, ты ж чемпион. Подыми вот этот шкаф.

Даже товарищ Тишков улыбнулся. Стали прощаться. Тут Коля со шкафом подходит:

— Может, споешь, а?

Так вот, собрался я к Яаку в гости, а чтобы национализм какой не вышел, он мне еще раньше по-эстонски на бумажке написал название улицы и номер дома. «А если, — говорит, — заплутаешь, спроси у любого, где Йоала живет, — меня все там знают».

Сажусь в такси, говорю:

— Тере[1], — и дальше, как выучил по-эстонски.

Таксист оборачивается:

— Чиво, чиво?

Я по-русски объясняю, мол, около железной дороги.

Он опять:

— Куда тебя везти-то, сволочь?

Я вежливо:

— Ну, знаете, где Яак Йоала живет?

— Знаю, — говорит, — в Москве.

В «Машине времени», как в любой другой группе, смекалка в большом почете, а пример в этом смысле всегда подавал Директор. Ему без конца приходилось улаживать всякие мелкие эксцессы и недоразумения, и он очень сильно в этом поднаторел.

В той же Прибалтике на концертных площадках, так же как и везде, самыми главными начальниками являются пожарные, которые «от нечего делать» у световиков и директоров кровь пьют просто литрами.

На сцене происходит расстановка аппаратуры и подвеска прожекторных ферм. Тут же расхаживает Директор и всем руководит. Как любой директор, он в тонкостях не очень разбирается, но на работе «горит» и трудолюбие осуществляет.

Появляется стройная белокурая женщина в полувоенной форме, на высоком каблуке и с красной папкой — местная пожарница. С сомнением смотрит на цепи, фермы и, безошибочно

обращаясь к Директору, говорит:

— Извините, пожалюйсто. А цепи выдержат, докумэнты есть?

Директор, равно как и все остальные, понятия не имеет, какие тут нужны «докумэнты», но (на то он и Директор) горячо заявляет, что выдержат и что есть любые документы, но в гостинице.

Пожарница:

— Извините, пожалюйсто! Пока не вижу докумэнт, концерт не начинается.

Директор бежит в какой-то кабинет, берет бумагу и на машинке быстро отпечатывает:

АКТ

об испытании цепей

ГОСТ ЦМ-21/324

от 25/5 1989

1. Испытание на разрыв в горизонтальной плоскости — 25 т
2. Испытание на разрыв в вертикальной плоскости — 23 т
3. В кислотной среде, вакууме, космосе и т. д. и т. п.

— всего девятнадцать пунктов. Подписал в трех местах, помял бумагу, даже ногой наступил и приносит «богине огня» якобы из гостиницы.

Очень убедительная бумага, но какие-то подозрения у женщины-капитана все-таки остались, и, чтобы их рассеять, она собрала весь свой эстонский сарказм и спрашивает:

— А не принадлежит ли эта грамота некоэму Филькэ?

Директор отвечает чистую правду (его-то самого Валерой зовут):

— Нет!

— Ну, тогда другое дело. Пожалюйсто.

Чем больше город, тем больше в нем начальствующих чиновников. Мы все вместе придумали начальственно-руководящую фамилию — Симак. Николай Иванович. И если что,

то в какой-нибудь инстанции Директор как последний довод говорил:

— Как же так? Ведь нам сам Николай Иванович Симак обещал!

Срабатывало почти безотказно. Один начальник особенно упирался, не хотел подписывать какую-то бумагу. Тут Директор ему и ввернул:

— А ведь нам Симак обещал.

Тот берет ручку, подписывает:

— Ну, если я сам обещал…

В Красноярске прямо с самолета — на концерт. Потом вечером в гостиницу. На улице –35 градусов. В номерах тоже очень холодно. Буфет закрыт, холод, неустроенность, выпить хочется страшно.

Наскребли немного денег. Швейцар говорит:

— Нету у меня, сынки, с удовольствием. Попробуйте у таксистов, хотя их тоже сейчас шерстят.

После получасового топтания на морозе посинели все. Нет не только водки, но и самих такси. Только одна машина стояла с самого начала с работающим двигателем, так там водитель сразу раскричался, что сам не пьет и вообще с этим делом борьба. Собрались идти по номерам. Тут он говорит:

— Ладно, повезло вам (оказывается, полчаса приглядывался, не провокация ли), — для брата берег. Вижу, ребята хорошие.

И достает бутылку из двигателя. Она горячая, как кипяток. Прибежали в номер, но как горячую пить — мы ж не японцы какие. Маргулис говорит:

— А смекалка на что? Вы дуйте за стаканами, а я пока на форточку ее пристрою охлаждать

Через пять минут собрались, кто со стаканом, кто так, с открытым ртом. Маргулис потянулся к форточке, а бутылка — раз! — и за окно с 6-го этажа птицей.

Минуты полторы били его, потом смекалка свое взяла. Гурьбой все вниз (некоторые, кажется, прямо из окна) выбегаем. Ночь лунная, на белом снегу темное пятно выделяется, и давай этот темный снег жрать, только стекла выплевывали.

Никогда бы в жизни пять человек с одной поллитры такими пьяными не сделались. Вот!

Сразу хочу сказать, что общенародное мнение, будто артисты очень много пьют, ошибочное. Пьют точно так же, как и все остальные, а может быть даже чуть-чуть меньше.

В Магадане, после концерта, подходит мужик загорелый.

— Очень мне нравится, — говорит, — ваше солнечное

искусство. Я моряк, на палубу бряк, желаю вас сегодня на корабль пригласить, ребята будут очень рады.

Мы посовещались и пошли втроем, а остальные спать: устали очень.

Корабль — немецкой постройки, в смысле ГДР. СРТ (средний рыболовецкий траулер), новенький, много автоматики. Команда собралась, 24 человека, только капитана не было: он с женой на берегу живет. Оказывается, пока они в море — сухой закон, а здесь сам бог велел. Мужик, который нас привел, коком оказался. Как начали они на стол метать: крабы натуральные, крабы запеченные, печень макроруса и т. д. Водка, конечно, рекой.

Слева от меня старпом сидит, серьезный мужчина — после капитана он здесь главный.

Сначала морячки все столичных артистов послушать хотели, потом сами разошлись — не остановишь. Рассказали историю о том, как у них на корабле два щенка жили: белый и черный. Тайком от капитана: он не любил животных. И как гад-капитан на них в плавании наткнулся и приказал выбросить за борт. А потом через неделю корабль в порт пришел, а на пирсе два мертвых щеночка *рядышком*: море выбросило. И как потом в течение месяца погиб один блондинистый моряк, другой — брюнет.

Нам-то после таких дел и крыть нечем.

Тут наш Саша вдруг увидел, что нам наливать стали меньше. Толкнул меня в бок — что, мол, за понты. Мы — в обиду. Старпом застенчиво объясняет:

— У вас же завтра два концерта, мы думали…

— Вы о нас не волнуйтесь, — говорим, — все в порядке.

Справедливость была восстановлена, и старпом, чокаясь со мной, тихо говорит:

— Ты не думай, мы добра хотели, а так все нормально. Я, кстати, сам с Питера буду.

Ну, я, чтоб ему приятное сделать, спрашиваю:

— Неужели с *самого*?!

— С самого не с самого, а с Парголова[2]. Ты вот что. Сейчас наши напьются и повезут вас в бухту Радости рассвет встречать. Я-то эти дела знаю: или на мель сядем, или вообще потонем, так что вы ни под каким видом! Сразу говорите, что завтра концерты. Мол, спасибо, но никак не можем, а то я эти дела знаю.

У меня к нему сразу возникло теплое чувство; остальным передал, те тоже с благодарностью посматривают.

Минут через пятнадцать после того, как возникло чувство, старпом вскакивает (чуть меня со стула не сбил), глаза выпучены, как у того макроруса.

— А ну, семь футов вам под киль! Свистать всех наверх, везем

ребят в бухту Радости!

Мы, конечно: нет, спасибо, завтра два концерта и т. д.

— Никаких концертов! Отдать все концы в воду…

В общем еле-еле отбоярились. Провожали нас всем пароходом, договорились, что завтра они на первый концерт придут.

На следующий день на первый концерт никто из них не пришел.

Только после второго у служебного входа стоит один — морда вся расквашена, на груди разбитый фотоаппарат.

— Мне, — говорит, — повезло. Я у самого трапа заснул: идти было близко, — так что извиняюсь.

В «Машине» с этим делом всегда было очень строго: если выпить кто хочет, так только дома под одеялом. А если какой банкет солидный, то все выпьют по рюмочке, а потом Директор зыркнет глазом и объявляет:

— Спасибо большое! Мы больше не хотим! Мы практически вообще не пьем!

Очень на разных начальников и на иностранцев это сильное впечатление производило.

Но вот приехали мы в Испанию, в Барселону, по приглашению Коммунистической партии. Коммунисты тамошние не такие, как у нас: запросто в джинсах ходят и винцо испанское попивают. Сразу же устроили нам концерт в тюрьме, чтобы перед выборами престиж компартии повысить. Никогда не забуду. Сижу за пультом, а сзади мне двое испанских кабальеро в наколках в шею дышат, договариваются, каким способом меня моей советской шкуры лишить.

Ну, ничего, Бог миловал. На следующий день культурная программа: рыбный ресторан, прогулка по городу и т. д.

Мы поначалу-то продолжали обычную «дуру» гнать, типа — спасибо, у нас это дома есть. А потом смотрим: они обижаются. Оказывается, чтобы нас хорошо принять, деньги со всех коммунистов провинции собирали. Мы быстро доказали Директору, что так вести себя — просто свинство, и стали пить и есть, как нормальные провинциальные гуахиро, приехавшие в столицу за сеном.

Общение осуществлялось через переводчицу, молодую девочку, не знающую ни слова по-русски. Она немного говорила по-английски и переводила со своего шикарного испанского на свой слабенький английский, а мы с ее слабенького английского — на свой слабенький русский.

Около двух часов ночи она решила показать ночной бар, где, по ее словам, работал самый лучший бармен города. Он на

память знает полторы тысячи рецептов коктейлей, и от головной боли, и для повышения потенции, и — самое главное — имеет под рукой все, чтобы эти самые коктейли воспроизвести.

Я этим вопросом особенно заинтересовался, и вот она меня подводит к стойке, а ребята пошли стол занимать.

Мужчина лет пятидесяти, с благородной сединой, зовут Мигель, наверное, в юности был жонглером, потому что стаканчики, бутылки и шейкеры у него над стойкой так и летают.

Он говорит:

— Буэнос ночас.

А я на всякий случай:

— Патриа о муэрте!

Девушка объясняет, что вот, мол, Макина де Тампо — советика. Я через нее наврал этому Мигелю, что еще в Москве о его чудном искусстве слышал.

Он рад, предлагает какой-нибудь коктейль за счет заведения. И тут я с ужасом понимаю, что не знаю ни одного названия — вертятся в уме «Даури» какие-то (это я позже вспомнил, что «Дайкири» — Хемингуэй очень любил).

Бармен показывает, что ничего страшного, может, у сеньора какой свой рецепт имеется?!

Я смотрю: — у него за спиной бутылок триста сверкают, и все незнакомые. Наконец любимый силуэт гостиницы «Москва».

Показываю на «Столичную» и три пальца. Он смотрит с уважением, наливает в узкий стакан. А ведь надо-то коктейль, да и на три пальца маловато будет.

Смотрю: — опять знакомая бутылка, джин «Бифитер», я такой у Макара на даче видел, там мужик на этикетке идет с палкой и в шляпе.

Чуть-чуть «Бифитера» — бармен улыбается: оценил мой тонкий вкус, собака. Опять маловато. Тут уж я, не мудрствуя лукаво, говорю:

— Давай еще две бульки «Столичной», и хорош!

А потом для пафоса два кубика льда и соломинку.

Он доволен, я тоже. «Грациас!» — и пошел. Пока шел до стола, все это выпил.

Бармен еще немного с нашей девушкой поговорил, она к нам присоединилась, а он собрался мой коктейль повторить — видно, в новинку ему.

Воровато озираясь, налил водки, джина, потом опять водки, попробовал — вроде не понравилось; потом просиял: конечно, а два кубика льда-то забыл. Положил два кубика, размешал, попробовал.

— Тьфу, — говорит по-испански, — какая гадость.

Так этого рецепта он в свои полторы тысячи и не записал.

Сам виноват: не надо было размешивать.

Проходит два дня. Все очень хорошо, сыграли еще один концерт, но, по мнению Директора, очень хорошо — значит плохо. Любимое выражение его было: «Что, жить хорошо стали?» Собирается собрание. Выступает Директор:

— С этого дня за границей могут пить только Андрей Вадимович, Александр Викторович и я, ваш покорный слуга. Остальные, то бишь Капитановский, Ефремов и Зайцев, выпивать права не имеют, штраф 700 песет.

Я прямо чуть сигарету не съел. Что же это такое? Деление на «чистых» и «нечистых»? Заяц потом отошел в сторону, шепчет:

— Пил, пью и буду пить!

А жили мы в симпатичной трехэтажной гостинице. Я в одном номере с Директором. Потолок у нас покатый, типа «мезонин», и в нем окно имеется, на крышу выходит.

Приходим в номер, я молчу: обижаюсь. Директор говорит:

— Ну чего ты? Тебе ж не пятнадцать лет!

Я: — Что за дела? Почему это Макару, и Кутикову, и тебе можно, а мне, к примеру, нельзя? Что за дискриминация такая?

— Потому что Андрей меру знает, и за Кутиковым никогда ничего этого замечено не было. А я вообще, как ты знаешь, мало пью; ты же взрослый человек, а на тебя Зайцев смотрит.

Я говорю:

— Ты еще взрослей меня.

Он еще минут двадцать мне вкручивал, потом дверь запирает, достает «Лимонную» с винтом, которую из Москвы для контакта с Испанской компартией привез:

— На, наливай, пойми меня правильно.

Я смягчился, думаю: может, прав, — и тут кое-что в окне замечаю.

— Валер, — говорю, — у тебя среди родственников не было сердечных болезней?

Он говорит:

— Вроде нет, а что?

— Ты присядь, на всякий случай, — он садится, — а теперь обернись.

В плафоне над нашими головами двое «чистых», Андрей Вадимович и Александр Викторович, сидя на крыше, высунув языки, делают нам всякие рожи, видимо, «трезвые» абсолютно.

Директор посмотрел, спал с лица, говорит:

— Налей-ка, брат, мне тоже.

Так в Испании закончилась борьба за трезвость. Но потом в Союзе сильно продолжилась.

Директор вообще обожал собрания собирать и всякие судилища устраивать.

Приходит однажды на Росконцерт бумага из милиции: вот, мол, ваш работник Гуренков был задержан у станции метро, за киоском: мочился в неположенном месте.

У нас собрание сразу, суд. А происходит между концертами, все есть хотят, но Директор настроен решительно. Наша костюмерша Танечка протокол ведет, подсудимый Гуренков, по кличке Дед, на скамье сидит. Директор прокурором выступает.

Дед — он, вообще-то, рабочий, колонки у нас таскает. Судить его можно как хочешь.

Директор долго прокурорствовал, описывал преступление Деда, потом говорит:

— Ну, что, Гуренков, можешь сказать в свое оправдание?

Деду самому смешно, но говорит чистосердечно:

— Трезвый был. Искал туалет, сил больше не было, зашел за метро «Текстильщики», а там менты меня и ждали.

Директор говорит:

— Ну, кто хочет выступить? Случай безобразный…

А все на часы смотрят, как бы в буфете до концерта бутерброд перехватить.

— Нам это дело осудить надо. Позор проклятому Гуренкову. Вот Андрей Вадимович в такой ситуации так бы не поступил, правда, товарищ Макаревич?

Макар, индифферентный, говорит, глядя на часы:

— Ну, почему?! Вот мне однажды приспичило, я зашел за Министерство культуры…

Так Деда и не расстреляли.

А в Испании еще случай был. Пошли мы с Андреем как-то вечером по Барселоне погулять. Он, когда настроение хорошее, даже в Союзе меня гулять берет, а уж в Барселоне сам Бог велел.

В общем, оделись во все чистое, я даже брюки белые надел, и пошли. Ходим по центральному бульвару, впечатления впитываем, благо их полно, — вот оно, счастье-то.

Кругом акробаты всякие, фокусники и вообще большой праздник. Андрей идет, радуется, что не все прохожие его узнают и с автографами не надоедают, рассказывает мне, какая тяжелая жизнь у знаменитостей.

И тут как раз из толпы девица длинноногая к нам бросается. Андрюшка приосанился, за ручкой потянулся, а девица у меня на шее повисла, щебечет что-то на разных языках:

— Френч? Инглиш? Америка? — Все старается выяснить, из какой страны такой видный парень, как я, приехал.

— Амур, амур, — говорит и на соседнее здание показывает:

там, мол, у нее девичья светелка.

И вот здесь-то я начинаю соображать, что, возможно, она попросту несчастная проститутка, вынужденная в условиях суровой испанской действительности продавать за кусок хлеба свое барселонское тело.

Честно говоря, у меня до этого уже было несколько знакомых девушек, но мы же за границей, нам же нельзя, а уж когда я почувствовал, что она правой рукой меня особенно сильно за шею обнимает именно в том месте, где у меня замочек от моей тоненькой золотой цепочки расположился, тут я совсем против проституции настроился. Мужественно оторвал ее нежные руки от своей цепочки.

— Баста, — говорю, — никаких амуров.

Она огорчилось, но не сильно, и по принципу «с драной овцы — хоть шерсти клок» говорит, в смысле: мужчина, угостите папироской.

А это — всегда пожалуйста! Дал ей сигарету «Родопи» — пусть хоть насмерть отравится. У нее, у гниды, и огня не оказалось, дал.

Наконец она отвалила, мы дальше пошли. Я вздохнул облегченно: фу ты, напасть какая, ну, будет хоть о чем друзьям рассказать. Чувствую себя легко, а особенно легко себя чувствует моя левая рука, на которой еще недавно на ремешке красовались скромные часики «Картье», а тут — как испанская корова языком слизнула.

Кинулся назад, да девки той уж и след простыл.

Правда, я ее на следующий день видел: стоит на том же бульваре с четырьмя здоровенными громилами, смотрит на меня нагло. А у мужиков ейных глаза выпучены, как у тех быков, что в Испании на каждом углу за красными тряпками гоняются, — пришлось сделать вид, что первый раз ее вижу. Но все ровно, когда проходил мимо, улучил момент и подмигнул ей смело: носи, мол, на здоровье.

Через два дня я вынужден был новые часы купить, на таком мощном браслете, который можно только вместе с рукой оторвать. С тех пор много проституток пыталось с меня часы сорвать, ни у кого не вышло.

Я даже сейчас все это пишу, а часы те с браслетом на мне как гвоздями прибиты.

Покупка часов сильно подорвала мои финансовые возможности. Очень хотел я в Испании курточку себе купить на молнии. Люблю на молнии: вжик — и готово. Но на оставшиеся деньги смог позволить себе только на кнопках. Кнопки такие тугие, стал застегивать и два ребра сломал.

Счастливые часов не наблюдают.

Пшикер

«Непобедимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед…»

(Из песни)

Наши мне про Пшикера все уши прожужжали: Пшикер то, Пшикер это, — но посмотреть его в деле все никак не удавалось.

А дело было вот какого рода. Значит, отбывал у нас воинскую повинность один такой солдат — Пшикер. Фамилия ему была Афиногенов, а Пшикером его солдаты прозвали за особую военную манеру выражаться.

Вот, например, идет старшина, все солдаты прячутся: как бы от него какой приказ не вышел, — и как на грех Афиногенов из-за склада № 3 по своим делам выходит. Ну, старшина натурально:

— Воин, ко мне, аллюр три креста.

Афиногенов — делать нечего — подходит, ест глазами начальство. Старшина говорит:

— Слышь, Афиногенов, так тебя растак, значит, сейчас пойдешь к Парфенову, так его растак, возьмешь это белье долбаное с каптерки, так ее растак, и шмелем к майору Сурову, так его растак, в его замудонскую контору (так ее растак. — *Примеч. авт.*). Там берешь шесть комплектов и пулей ко мне, так меня растак. Понял, собака?!

У Афиногенова глазки голубенькие, вытянулся молодцевато:

— Есть, никак нет, виноват, так точно, товарищ командир!

И пошел курить анашу.

Старшина для порядку ему еще вслед крикнул:

— Смотри у меня, черт немытый! — Некоторое время постоял и сам пошел обедать.

Прошло дней десять. Ни старшина, ни сам Пшикер о белье (так его растак), естественно, и не вспомнили.

Потом встретились случайно. Тут за мной прибегают:

— Идем быстрее, Капитан, там Пшикер со старшиной разбирается.

В самое время поспели. Старшина ноги расставил, собой любуется, говорит грозно:

— Афиногенов, так тебя растак, урод в жопе ноги, ты у меня на дембель инвалидом поедешь. Где белье? Чмо ты китайское!

У Пшикера глазки небесные, бровки домиком, весь такой складненький:

— А я, товарищ старшина, все как вы сказали. Пошел, значит, белье, пшикер, лежит где. Там, пшикер, он ой! Страшное дело, какой пшикер. А я как на духу, пшикер. Белье, пшикер, Парфенов, Парфенов и Парфенов, пшикер, пшикер, товарищ, пшикер, старшина, пшикер. В общем, все, как вы сказали.

Старшина подумал минутку, осмотрелся, потом говорит:

— Чего?!!

Афиногенов доброжелательно:

— Ну я же вам объясняю! Пошел я, пшикер, туда-сюда, пшикер, белье-то надо, как вы приказали, пшикер. Вот какие дела, а пшикер — он там… Я говорю: «Сам товарищ старшина, пшикер, шесть комплектов пшикера», — а майор, пшикер, так точно, согласно уставу, белье, пшикер, в общем, благодарю пшикер за службу, пшикер и пшикер.

И пошел курить анашу.

Старшина немного постоял, кулаком загрозился для страху и опять вслед крикнул:

— Ну я, бля, твоему майору!.. — Махнул рукой и пошел обедать. Подошли ко мне мои орлы однополчане, рот закрыли, говорят:

— Понял службу, салага?

— Понял, — говорю, — более или менее, а почему у старшины «Растак» — кликуха?

А вообще-то Пшикера все офицеры почему-то старались избегать.

Капитан-то — это не звание у меня было, а прозвище, и родилось оно так.

Попал я однажды в военный госпиталь по подозрению на дизентерию — тогда половина полка животом мучилась. Ну, привезли меня ночью, положили в палату до утра. Лежу, сильно удивляюсь: палата на двух человек, на второй койке кто-то спит, одеялом укрывшись, на полу — ковер, на подоконнике — цветы, на тумбочке — небольшой телевизор! Ну, думаю, наконец-то наши солдатики дожили до нормального отношения. Уснул сладко, знамя полка снилось.

Утром будит сестричка: халатик крахмальный, каблучки-туфельки, — лезет теплой ладошкой за пазуху:

— Товарищ капитан, поставьте градусничек.

Я говорю:

— Ошибочка вышла: рядовой я.

Она улыбается:

— Никакой ошибочки, у нас все четко. Вот у меня написано: Капитан Овский.

В общем, через 20 минут я уже на 3-м ярусе в бараке с ребятами за дембель базарил.

А до этого у меня вообще кличка была — ВРАГ. Я до армии в «Машине времени» играл на барабанах. Очень известная уже тогда была группа, хотя и официально не признанная. И вот уже после того, как меня предательски забрали буквально в один день, в одном гэдээрошном журнале FREI WELT появляются статья и крупная фотография «МАШИНЫ»: А. Макаревич, А. Кутиков, М. Капитановский, С. Кавагоэ — по-немецки написано, но все ж даже после военной академии прочитать можно. И вот ребята меня решили порадовать в моем далеком пограничном районе — выслали бандерольку с журналом.

Через каких-то два с половиной месяца вызывают меня в штаб. Большинство солдат за два года ни разу даже близко к штабу не подходят, а я еще на четвертом месяце — довольно страшновато. Военная комната: сейф, шкаф у двери, стол и еще шкаф в углу. Двое очень крупных мужчин в форме. На столе какой-то немецкий журнал. Мужчины — замполит майор Криворот и высокий капитан-пропагандист (была такая специальность). Я стою, они курят. Потом спрашивают ласково:

— Кто будете?

Я приободрился:

— Воин Советской армии и флота Максим Капитановский, по вашему приказанию прибыл.

— Что же ты, сукин кот, не поставил нас в известность, что был в ФРГ, у них же Бундесвер.

Второй, глядя в потолок, говорит:

— А ну-ка, Саш! Позвони в дивизию прокурору.

Я в страхе бормочу:

— Товарищи маршалы, какая ФРГ? Я же в немцев только в детстве играл, и то на стороне русских.

— Не надо петь военных песен, — это капитан-пропагандист.

— ФРАЙ ВЕЛЬТ — это свободный мир, как сам думаешь, Николай Иваныч?

Тут шкаф в углу говорит:

— Я тя научу родину любить, ты — не советский воин, ты — враг; я таких в сорок втором своей рукой к стенке ставил и… — Выходит из тени на середину комнаты — чистый Вий. — Хорошо, что мы почту проверяем, а то мамаши несознательные то колбасу пришлют, то фотку бабскую, а враги тут как тут притаились.

Вышел к столу: косая сажень в плечах, ремни поскрипывают — командир полка Рекс. Штаны на библейском месте топорщатся — я его тут же прозвал Эрекс, но не прижилась шутка: тонко очень.

Ничего мне за это не было, даже журнал через полгода отдали, только, бывало, Рекс около оркестра (я тогда уже в оркестре служил) пройдет.

— Как, — говорит, — Враг, совсем империалистам продался?!

Мы, конечно, все «ха-ха» включаем.

— Рады стараться, товарищ полковник.

Так вот, я сначала Врагом обретался, а уж потом Капитаном.

О Рексе — особо. Потрясающий мужик был. «Рекс» — это тоже кличка (уж не знаю за что!). У нас с ним отношения на короткой ноге. Не моей, конечно, — у него-то на три размера больше, чем тот год, когда он якобы всех к стенке ставил.

Я, вообще-то, его возраст прикинул — получалось, что в 42-м ему было от силы года четыре, так что своей рукой к стенке он мог ставить разве что ночной горшок. Но я привык людям верить, поэтому на всякий случай его побаивался.

И вот вызывает он однажды меня в ту комнату. Там майор Криворот и полный набор шкафов и сейфов. Рекс:

— Ты, Враг, знаешь «Комсомольский прожектор»?

Я мысленно упал в грязь его лицом, но говорю:

— А как же, не у Пронькиных на даче (но в уме).

— Тут комиссия, штык ей в брюхо, через два дня. Замполит сказал, что ты рисуешь, как мороз на оконном стекле. Вот тебе фотоаппарат старлея Митрохина, ему жена из Новосибирска привезла, ну, та, которая потом с прапором Акишиным сбежала, но ты этого знать не можешь. Так вот: две пленки, аппарат, иди и снимай недостатки, потом пойдешь в клуб к Антсу Аарэ, к этому чухне, к врагу, которого я в сорок втором ставил и не поставил. Он фотки напечатает, и вообще, а ты — «Комсомольский прожектор»… Одна нога здесь — другая там.

Я: — Есть, никак нет, виноват и служить легче будет!

— А щит стоит возле КПП — ржавая такая железяка, а то я тя своей рукой…

Впервые работа по нутру, иду с фотоаппаратом, как кинооператор Кармен, радуюсь, навстречу Пшикер.

— Ну, что, — говорю, — Пшикер, как оно, белье-то? — Настроение у меня хорошее. Он посмотрел холодно.

— Пшикер, — говорит и пошел курить анашу.

Я потом с ним после дембеля встретился, ни разу этого чудного слова от него не услышал. Правда, он тогда вообще молчал.

Так вот, перво-наперво я достал два листа ватмана, склеил, пошел на КПП на «Прожектор» посмотреть: на двух столбиках стоит неправильной формы металлический лист. Ничего не понимаю. Покурил! Ага, вижу: контур Воина с прожектором

просматривается, и еще место для недостатков. Достал краски, освежил — Воин классный, красномордый, в одной руке прожектор, другая на недостатки указывает.

Ну что вам сказать? Недостатки хорошие. И овощехранилище, где картошка гниет, и коровы на территории, и женщины гражданские с авоськами через полк на автобус дорогу срезают. А на КПП приказ вышел: баб не пускать; часовые родины насмерть стоят, правда, пять метров в сторону забор кончается и бабы там вперемежку с коровами проходят.

Я пал на колено, как перед невестой, сфотографировал.

Увлекся, два дня не обедал, наконец эстонский рыболов Аарэ — «печальный пасынок природы» — выдал мне 32 фотографии (из 64 совсем неплохо). Очень хорошо они легли на ватман — приклеил, отошел, как художник Куинджи от полотна «Ночь на Днепре», посмотрел: текста явно не хватает. А я же еще и поэт. Мне стихи написать — что Рексу двух дембелей отоварить.

Под каждой фоткой подписываю фломастером.

Про баб:

С авоськой женщин от прохода
Гоняет смелый часовой.
А вся рогатая порода
Проходит за его спиной.

Фото: около Генштаба в канаве лежит пьяный мужик, гражданский. Стихи:

Совсем недалеко от штаба,
Там, где стоит наглядный щит,
Лицом к забору — к людям задом
Мужчина выпивший лежит.

И дальше — больше. Так я в недостатках поднаторел, что уже устно готов был комиссии докладывать. Ну ладно, поставил последнюю точку, полюбовался.

Жалко, думаю, посмотрит прохожий или какой-никакой китаец и плохо подумает, а ведь и достоинств полно. Вот, к примеру, два месяца назад была жестокая и бескомпромиссная борьба за чистоту. Рекс так и сказал:

— Как увижу окурок на территории, так сразу его своей рукой и так далее. Короче, хоронить будем.

Не совсем было понятно, кого хоронить, но все равно по тону

неприятно.

На следующий день окурок был сразу найден Рексом прямо на ступеньках штаба. Хороший окурок, от «Явы» с фильтром — такой на солдатской кухне целую луковицу стоит. Сразу тревога — свистать всех наверх, а некоторых вниз, построение полка, парадный взвод с оружием. Четыре сержанта держат простыню, посередине лежит многострадальный окурок, весь полк похоронным шагом (Рекс впереди) выходит в сопки на 4 км и хоронит усопший окурок под оркестр и выстрелы парадного (он же погребальный) взвода.

Отличные достоинства.

Постоял у «Прожектора» минут 20, труба пропела — святое, — пошел обедать.

Как потом выяснилось, комиссия прибыла через час, и, хотя половина полка два дня для их банкета грибы в сопках собирала, дальше «Прожектора» не пошла: аккуратно сняли и удалились.

Дня через три сидим с ребятами в каптерке, курим — кто анашу, кто так, всякую дрянь. Разговоры ленивые. «Три П» — Петр Петрович Пунтусов — говорит:

— У нас в Барнауле строго. Вот меня под Восьмое марта женщины из нашего барака послали за водкой. Я купил две бутылки, еду обратно на автобусе, бутылки в сетке — все видят, а в автобусе один мой знакомый с приятелем, я схожу, они за мной, здоровые черти: «Петь, дай бутылочку!» Я говорю: «Не, женщины просили». Они: «Мы твоих женщин…» Потом этот приятель хвать у меня сетку, хрясь об землю — одна вкусная и вдребезги. Я: «Вы чего?» — тут мой знакомый как даст мне в рыло и челюсть сломал.

Мы посочувствовали, как могли, спрашиваем: и все? Так и кончилось?

А Петя встает (он приноровился отруби в столовой забирать и в деревню продавать, наверно, уже пора было отруби везти) и пошел, зевнул так жизнеутверждающе:

— Ну почему? Ребятам знакомым сказал…

— Ну и как, набили едало-то?

Петя потянулся, говорит:

— Да не, убили на хуй.

Тут как раз и прибегают:

— Капитан, тебя Рекс сотоварищи ужас как ищут, давай ремень.

Рекс, значит, был подполковник, но требовал чтобы полковником звали. Говорят, раньше, когда учил кого-нибудь из солдат родину любить, то мог свободно дать в курятник или даже ногой пнуть, чтоб служба медом не казалась.

Вот только однажды сунул он одному прапору в зубы, между прочим, выпускнику консерватории, факультета военных дирижеров, руководителю хора жен офицеров, а тот потом по запарке в хоре жене командира дивизии в песне «Красная гвоздика — спутница тревог» вместо первой партии вторую предложил. Тут-то все и открылось. Комдив вызвал Рекса и сказал: «Нехорошо». С тех пор Рекс прямого рукоприкладства избегал.

Но вызовет, бывало, какого-нибудь замудонца к себе в кабинет и начинает: «Я тя своей рукой… враг…» и т. д. А как доведет себя до состояния, что прямо из сапог выпрыгивает, то тут уж хватает за ремень и то об сейф приварит, то об схему трехгодичного победоносного рейда полка от деревни Козловки до пункта N (всего 5 км) — в общем, приятного мало.

Но на каждое командирское действие есть свое солдатское противодействие.

Вот они мне и говорят: «Давай ремень». Я уже все знаю, ремень даю. Ремень солдатский имеет одну особенность: его длину можно менять в зависимости от того, где служишь. К примеру, если хлеборезом, то — ВО, а если кочегаром, то — во.

Вот мне и делают ремень длиной сантиметров тридцать, потом два мордоворота его на мне застегивают и синего, как альпиниста от кислородного голодания при покорении Монблана, ведут под руки к Рексу.

Там на ковре стою, ну ничего не соображаю. Воспринимаются только отдельные слова: родина, сорок второй год, моя мать, прожектор, снова моя мать.

Пальцы у него толстые, кулаки, как бочонки, — эх, с каким бы удовольствием он меня по бивням звезданул, но вроде как нельзя, так он хвать за ремень. А у меня талия, как у балерины Плисецкой, когда она только что шесть лишних кг сбросила. За ремень-то никак и не ухватишь.

— Вон, — кричит, — отсюдова до утра, а там я тя своей рукой!..

Я, конечно, потом подумал как следует, понял, что у него, наверное, неприятности из-за недостатков были. Долго потом совесть мучила, что не дождался комиссии у «Прожектора». Рассказал бы хоть на словах и про достоинства, ну хоть про те же похороны окурка.

Я вот все — анаша, анаша. Не подумайте, что в армии наркоманы все. Просто она, конопля эта самая, прямо на территории росла: Дальний Восток все-таки, — так что идешь с политзанятий, руку протянул и пожалуйста. Гораздо легче, чем

любого другого курева достать.

Ее и в газеты заворачивали в виде самокруток, и пыльцу собирали, а однажды Пионер принес из медсанбата трубку клистирную; мы кальян сделали — все честь по чести. Сидишь, как эдакий Турумбайбей, кальян потягиваешь, только одалисок с баядерками и не хватает.

Пионер, между прочим, тоже интересный фрукт был. Сначала-то обыкновенным солдатом обретался, а потом раз отрабатывал отдание чести начальству и умудрился не то сломать, не то как-то там сложно вывихнуть руку. А накладывал ему гипс такой же болван, как он сам, и загипсовал руку в положении пионерского салюта (типа всегда готов). Получился вылитый пионер — всем солдатам пример.

Больным он считался ходячим, вот и шатался где ни попадя — всех приветствовал. Красивое зрелище — правой рукой человек всем салют отдает, а левой анашу курит или там вафли ест, вот до кальяна и додумался — все способнее. Он, вообще, все время вафли ел, где доставал — уму непостижимо, может, из дома присылали?

— Ты, — говорит, — Капитан, осознаешь хотя бы силу вафлей? Вот сколько, к примеру, думаешь, мне лет?

Я прикинул слегка:

— Ну, полтинник.

— Дурак ты, — говорит, — и сволочь…

И пошел с Пшикером курить анашу и вафли есть.

В общем, эти вафли, тьфу, черт, ну, анаша эта, вреда большого не приносила, потому как листики сырые, необработанные. К такому куреву и не привыкаешь, а настроение маленько улучшается.

Вот у нас подсобное свинское хозяйство было, так свиньи этой конопли нащиплются, ходят потом, улыбаются.

А один раз анаша даже косвенную пользу принесла в политическом смысле.

Была неподалеку от нас погранзастава. Стояла она от других застав несколько особняком и считалась образцово-показательной. Короче говоря, если на других заставах действительно наши рубежи охраняли, то на этой образцово показывали, как это нужно делать.

Личный состав состоял сплошь из спортсменов-разрядников и здоровяков, а командир был дважды или трижды мастер по разным видам спорта.

Проходил там службу один воин с Украины, которого в образцово-показательные взяли за человеческую красоту и природную силу. Солдаты его со свойственным армии юмором

метко прозвали Хохлом.

Парень он был огромный со зверской выправкой, и некоторое время им сдержанно гордился командир, но не разглядел вовремя в нем человека. А человек этот сошелся близко с одним узбеком и ну самозабвенно курить анашу, которую из дома в письмах узбеку брат присылал. Анаша фирменная, узбекская — не чета нашей, и они очень сильно от нее дурели.

Потом узбеку дембель вышел. Грустно им, богатырям, расставаться было. На прощание накурились «до дерева»; узбек Хохлу тюбетейку и запас анаши на шесть месяцев подарил, а тот ему тоже семечек насыпал.

Сильно скучал Хохол без этого узбека. Накурится в хлам и бродит по заставе, как зомби, в дорогой тюбетейке и без ремня.

Потом ему этого показалось мало, и начал он тогда всех окружающих бить. Не то чтобы уж очень крепко собратьев по оружию поколачивал, а так уныло как-то: то кому ногу вывихнет, то глаз закроет. Все равно прямому начальству это вроде не понравилось, хотели было под трибунал отдать, а потом думают, зачем сор из избы выносить, показатели портить; пять месяцев оставалось терпеть-то, ну и приставили к нему шесть человек сержантов; как полезет всех бить — они навалятся, скрутят и в каптерку молодца под бушлаты. И спит он там, своего любимого узбека во сне видит.

Мы-то были — полк поддержки пограничников. Это значит, если китайцы через границу попрут, то мы пограничников поддерживаем.

Поэтому нам отцы-командиры старались привить сильную бдительность, и на политзанятиях в большом ходу была леденящая кровь история о том, как коварные китайцы похитили зазевавшегося тракториста и подвергли его зверским пыткам, а потом нагло заявили, что он-де сам перебежал.

Китайцы иногда в пределах прямой видимости (в бинокль, конечно) махали приветственно руками, но знающий замполит сказал, что на китайском языке жестов это означает угрозу, ну, как бы когда мы друг другу кулак показываем.

Так что я лично китайцев сильно боялся, особенно когда один приятель из батальона связи шутки ради рассчитал, что если гипотетически их пустить через границу в колонну по четыре, а в районе Барнаула поставить пулемет, который будет все время стрелять и их убивать, то все равно они будут идти ВЕЧНО. Очень уж их много.

Но служба службой, а дружба дружбой.

Раза 2–3 в год наши пограничники встречались с китайскими дружить.

Осуществлялась дружба в основном на той самой образцово-показательной заставе, где последнее время бесчинствовал Хохол.

Делалось это обычно так: китайцы приезжали, человек 30–40, тоже, наверно, не простые, а специальные, потому что уж больно раскормленные. Споют свое мяу-мяу, затем наша самодеятельность из выпускников Московской и Ленинградской консерваторий грянет «Полюшко-поле» или «Непобедимая и легендарная», а иногда уж вытаскивался на свет божий такой монстр, как «Русский с китайцем — братья навек», но без слов — инструментально.

Далее следовал совместный обед, естественно, составленный из обычного рациона советского воина: ну, там, фрикасе всякие, почки-соте и бульон с профитролями; затем два часа для общения и возможной дружбы.

Перед каждой такой встречей устраивался инструктаж в том смысле, что плохие китайцы в Пекине сидят, а те, которые приедут, вовсе даже и ничего, а может, среди них и вообще нормальные имеются. Очень важно было это внушить, чтобы наши орлы сгоряча сразу всех не постреляли. Но и переусердствовать тоже нельзя: а ну как целоваться бросятся.

Вот после обеда общение началось. Сидит наш увалень сержант, а китаец ему всякие штуки показывает: вот, мол, воротник — шанхайский барс, а вот нож специальный пограничный — 32 лезвия: и патрон застрявший из патронника выковырить, и операцию на глазу сделать. Смотрел на него наш, смотрел. И показать-то, и похвалиться-то ему нечем. Хотел сначала китайцу в лоб дать для убедительности, потом инструктаж вспомнил.

— Давай, — показывает, — на руках бороться.

Китаец с удовольствием. Раз! И к столу нашу руку припечатал. Сержант губу закусил:

— Давай еще!

Китаец и второй раз его легко уложил — сидит улыбается, сволочь. Вокруг них собираться стали, дело начало принимать политический оборот. Подошел замполит — гиревик и кандидат, пнул сержанта под столом сапожищем, отодвинул.

— Он у нас больной, недоношенный, — говорит по-китайски. Китаец — ничего, понял, опять улыбается, даже поклонился немного.

Замполит, конечно, не то что сержант, за два дня до этого гаубицу об колено на спор согнул. Китайцу-бедолаге несладко пришлось. Целых 6 секунд понадобилось, чтобы замполита завалить.

Командир заставы понял: его черед пришел престиж страны

спасать, а то китайцы веселятся, а наши того и гляди затворами защелкают. И дело-то, в сущности, простое, а то ведь как его начальство за замполитову гаубицу ругало, пришлось тут же на месте выпрямлять.

Наши все приободрились, смотрят соколами: сейчас старлей этому покажет.

Что такое?! Китаец опять — бац! — и улыбка до ушей. Видно, приноровился гад к нашей манере.

Старлей запястье потирает, бледный как полотно, говорит в сторону:

— Хохла сюда, живо.

Притащили Хохла из-под бушлатов. Он со сна ни по-русски, ни по-китайски не понимает; засадили кое-как за стол, он только тюбетейку поправил — хрясь! — и сломал китайцу руку!!! Открытый перелом, даже косточка через рукав вылезла.

Хохол тут же на него кинулся, все норовил совсем руку напрочь оторвать, полумеры его уже никак не устраивали. Ну, отобрали китайца с трудом, утащили Хохла в каптерку, но он еще долго по дороге продолжал всех его волокущих бить. Каков молодец!

Китаец за руку держится, зубами молча скрипит, стойкость азиатскую демонстрирует, но когда узнал, что сержант под шумок ножик у него тот чудный спер, тут уж заорал в голос.

Так аналша помогла Хохлу его подвиг совершить, а стране нашей честь свою не уронить.

Однажды одна очень интеллигентная женщина Александра Алексеевна пришла в гости к другой очень интеллигентной женщине Юлии Леопольдовне.

— Здравствуйте, уважаемая Юлия Леопольдовна!

— Здравствуйте, дорогая Александра Алексеевна! Проходите, пожалуйста, чай только что вскипел.

— Спасибо! — Александра Алексеевна прошла и села к столу, на котором расположились чайник, чашки и несколько вазочек с вареньем.

— Вам вишневого, как всегда? А то вот есть земляничное. Свеженькое.

— Спасибо, дорогая, попробую земляничного.

— Как ваши дела, здоровье?

— Спасибо, хорошо. А ваши? Что от мужа слышно? Как он там?

— Да слава богу! Основной срок уже отмучился. Не так много осталось.

— Что-то не пойму, много ему еще сидеть-то?

— Ну вы же знаете. Дали ему два года, вот он год и две недели уже отсидел. Еще чашечку?

— Все ж не дойдет до меня никак! Ему меньше сейчас осталось, чем он просидел, или нет?

Тут Юлия Леопольдовна воровато оглянулась, расправила веером длинные костлявые пальцы и низким утробным голосом произнесла:

— Ну *с горы, с горы* покатился хорек еба́ный!

Потихоньку-полегоньку прошло более года, я покатился с горы и из салаги и «фазана» превратился уже почти в «старика» и имел полное право начать систематическую и всепоглощающую подготовку к тому, что для солдата важнее всего, — к дембелю. Не зря под огромным плакатом на плацу «Все, что создано народом, должно быть надежно защищено» прилепилась надпись от руки — «Дембель неизбежен, как крах капитализма» В.И. Ленин.

Подготовка к дембелю заключалась в изготовлении и разрисовке дембельского альбома и в подгонке и придании наиболее молодцеватого вида дембельскому обмундированию.

Все зависело от материальных возможностей и художественного вкуса демобилизуемого.

Обложка альбома, желательно бархатная (вот почему в клубе были вынуждены заменить занавес на тряпочный), обычно украшалась тигриной мордой: все-таки Уссурийский край, — а содержание варьировалось в зависимости от фантазии и настроения полкового фотографа, в мое время — прапорщика Антса Аарэ. По примеру своих братьев эстонцев, поднаторевших в европейской культуре, он сделал нечто вроде солдатского фотоателье с декорациями. Он также изготовил из дерева макет автомата, который большинство солдат после присяги и в глаза не видали, покрасил его чернилами, и за два рубля или банку тушенки вы могли послать любимой или друзьям свою фотографию с закатанными рукавами и автоматом. Или благодарственную фотографию мамаше около невразумительного флага, исполняющего обязанности полкового знамени.

В большом ходу была и такая сценка: на фоне сопок воин с автоматом и со зверским выражением лица охраняет рубежи, а вдалеке видны две-три китайские рожи.

Что касается дембельской формы, то это — особый разговор.

Начнем с пилотки. Тут дело сложное. До сих пор ученые всего мира не могут прийти к согласию. Мир разделился на две части, как у писателя Свифта по поводу очистки вареного яйца — на остроконечников и тупоконечников, только в нашем случае —

на «затылочников» и «лбешников». «Затылочники» упорно считают, призывая в свидетели военно-морской флот, что наиболее залихватски пилотка сидит на затылке, почти на шее, куда она прибивается специальным гвоздиком, а «лбешники», в свою очередь, предлагают опускать пилотку на нос и в крайнем случае придерживать языком.

Есть еще немногочисленная и всеми презираемая экстремистская партия «височников», рекомендующая носить убор на ухе, но, как уже говорилось, их всерьез никто не принимает.

Все это относится и к фуражкам, только в фуражку вставляют специальную металлическую конструкцию, с помощью которой тулья в профиль образует почти прямой угол, вызывающий нездоровые ассоциации с немецким рейхом. Звездочка в обоих случаях сгибается под тем же прямым углом.

К такому идеалу стремились почти все защитники Родины, за исключением некоторых воинов-кавказцев, чьи состоятельные родители присылали им на «дембель» заказные фуражки диаметром до полутора метров; злые языки утверждают, что был случай, когда на такой убор сел пограничный вертолет.

Ниже головы у дембеля обычно находится китель, борта которого украшены белым электрическим проводом, бархатом и медными заклепками. Погоны должны были быть маленькими и армированы 3-миллиметровой сталью; из-под правого погона к третьей пуговице должен спускаться аксельбант, свитый из красивой веревки. Некоторые дураки, не сведущие в аксессуарах, перепоясывались аксельбантом на манер портупеи, другие засовывали свободный конец в карман, а красавец Пионер, с которого гипс так и не сняли, уехал на «дембель», держа конец аксельбанта в правой пионерской руке.

Хорошо иметь молодцеватую грудь, осмотреть всю ширину которой можно только повернув голову на 180 градусов. Тогда на груди свободно умещается целая коллекция воинских значков. Тут и военный специалист 3, 2 и 1-го классов, и бегун-разрядник, и парашютист-затяжник, и чемпион-стрелок из всех видов оружия, включая торпеды. Приятно освежают наличие значков «Гвардия» и малопонятного «Береги Родину», а при удаче можно рассмотреть притаившегося под мышкой «Донор СССР».

Хороший пример в этом смысле тогда подавал глава нашего государства, поэтому, чтобы заявиться в родной колхоз при полном параде, значки начинали собирать и выменивать задолго до демобилизации.

Брюки ушивались до состояния колготок, так что стрелки отглаживать было бессмысленно, и они рисовались шариковой

ручкой.

К сапогам пришивались вторые голенища, и по длине они были похожи на обувь Фанфана-Тюльпана или певицы Ларисы Долиной; после чего при помощи утюга геометрически сплющивались, укорачиваясь раза в четыре, и мучительно напоминали куплетную гармошку «Концертино».

Прибавим сюда каблуки-рюмочки, кропотливо выточенные холодными дембельскими вечерами из тяжелой армейской резины, алюминиевую ложку с наборной «финской» рукояткой и затейливой военной вязью «Ищи мясо, сука!», а также ремень, свисающий до положения «Покорнейше благодарю», — вот приблизительный собирательный портрет дальневосточного дембеля.

Два раза в год, в начале лета и зимы, полк начинало лихорадить. Приходило пополнение, и уезжали домой отслужившие.

Замполит полка, майор Криворот, доставал из сейфа свою верную, острую, как бритва, саперную лопатку, ладно пристегивал ее к поясу и выходил на свободную охоту.

Ушлые дембеля старались, конечно, ему на глаза не попадаться, шарахались по каптеркам, но майор обладал незаурядным сыскным нюхом и сноровкой, так что его рейды всегда заканчивались успешно.

Происходило примерно так.

Увидев разодетого в пух и, конечно же, в прах красавца-дембеля, майор зычным командирским голосом командовал:

— Воин! Ко мне!

Несчастный уже издали начинал ныть:

— Ну, товарищ майор… два дня до дома осталось. Ну, товарищ майор…

— Я сказал — ко мне, капельдудкин фуев.

Убранство дембеля с аксельбантами и т. д. километров с трех действительно могло напоминать форму военных музыкантов на параде, так что замполит, слабо представлявший себе тонкую разницу между капельдинером и капельмейстером, в охотку щеголял остроумием.

— Три приседания, жи-во!

Место, вообще-то, очень напоминало Гревскую площадь, а сцена — «Утро стрелецкой казни».

Приговоренный делал три приседания, после чего его колготки причудливо рвались по всем швам, а майор гробовым голосом приказывал:

— На колени, — и вынимал лопатку.

Когда я увидел все это в первый раз, мне показалось, что я

сплю. Я отчетливо представил, как покатится буйная головушка осужденного, как осядет, повалится вбок обезглавленное тело.

И вот, широко, как профессиональный палач, расставив ноги, замполит высоко поднял лопатку (как принято в таких случаях писать), ярко сверкнувшую на солнце, рубанул на выдохе и… покатились в сторону каблучки, и осело, повалилось вбок голоногое, укороченное на 8 см тело.

Каблуки, конечно, подбирались сочувствующими зрителями, а колготочность в брюках вечером восстанавливалась первым попавшимся салагой, и полностью реанимировался лихой дембельский облик.

Ничто и никто, даже товарищ майор Криворот, не может убить в человеке тягу к прекрасному.

Рекс вообще-то крепко уважал себя за красноречие. Обычный вечер смеха — полковое построение.

Стоим в полукаре (это как квадрат с тремя сторонами — четвертую-то дизентерия выкосила), Рекс — в середине.

Ну, как водится, первая шеренга — одни молодые, недавнего призыва воины, и хоть накурившиеся, но одеты все-таки по форме: в сапогах и воротнички застегнуты. Вторая — уже по полгодика прослужили: и стоят посвободнее, и расхлыстаны поболе; третья и четвертая — уже кое-кто без ремней и в кепках. Пятая и шестая — стоять, видимо, не могут, так, в трениках да в кедах, с транзисторами на травке Японию слушают. Рекс неожиданно докладывает:

— Вы — не советские воины, вы — враги. Я таких в сорок втором своей рукой к стенке ставил.

Вот дизентерия напала. А почему? Гигиены нету. Вам для чего в частях газеты выписывают, а?! По три-четыре газеты на взвод, а некоторые враги, которых я в сорок втором, сами знаете куда ставил, все жопу пальцем вытереть норовят, а потом в рот тащат. — И ногой топнул два раза для убедительности. Я эти дела знаю. Мне этот палец в рот не клади! — И дальше в том же духе выступает.

Смешно, конечно, очень, но ничего, стоим, внимаем.

— Где дисциплина, я вас спрашиваю? Вот позавчера пошли два замудонца по самоволке в Козловку за водкой, я ее в сорок втором… А как пошли?! Через танковый полигон, а там новые огнеметы испытывают. Вот убьют такого мудака, а он потом скажет: «Я не знал!..»

В это время к Рексу со спины подходит огромная толстая свинья, их много, обжевавшихся конопли, у нас шаталось, останавливается метрах в полутора, стоит, слушает зачарованно.

Свинья, надо сказать, отменная: пятак большой, глазки

смышленые, хвостик витка три насчитывает.

Хайло-то разинула, с копытца на копытце переминается заинтересованно, по всему видать, очень ей по свинскому сердцу эта Рексова речь приходится.

Конечно, уже первые ряды волноваться начали, отдельные всхлипы раздаются, кое-где рыдания сдержанные.

Рекс радуется: настоящее искусство всегда найдет дорогу к сердцу слушателя.

Тут к нашей свинье подходит племенной хряк — матерая ветчина, и, натурально, вступает с ней в половой свинский секс, воспетый в павильонах свиноводства.

Свинина покосилась недовольно: чего, мол, слушать мешаешь? — но ничего, похрюкивает. Ну, чистая свинья! В общем, не очень сильно они этому делу предавались, лениво так, чтобы времени зря не терять.

Тут уже среди воинства закричал кто-то, тонко так, по-звериному; повалились некоторые, а кто до этого лежал, вскочили.

Рекс наконец резко повернулся. Он и всегда-то лицом красен был, а тут вообще багровым сделался и дальше менял колер по принципу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Сказать ничего не может, только тычет толстым пальцем в ближайшего сержанта, а другой рукой в сторону новобрачных удаляющие жесты делает.

Молодчага-сержант сразу понял. Подошел, печатая шаг, и как пихнет Джульетту в грудь сапожищем. Они, оскорбленные в своих худших чувствах, опешили, тогда сержант, решивший не останавливаться на достигнутом, по-футбольному оттянул носок и нанес влюбленным такой прицельный «марадоновский» удар, что парочка вылетела с противоположного конца плаца на пять метров впереди собственного визга.

Рекс дух перевел, вытер пот, говорит:

— Молодец!!!

А сержант:

— Служу Советскому Союзу!

Мне на гастролях часто снятся дорогие моему сердцу Пшикер, Хохол, Пионер, старшина Растак, Рекс. И даже прапорщик Митрохин, которого я никогда не видел, но с которым убежала жена старлея Акишина, тоже, видимо, хорошего человека. Но видение двух военных свиней, наверняка уже жестоко съеденных, навевает неизъяснимую грусть. Тогда я наливаю стакан водки и пью за их светлую память.

Zagranitsa

Курица — не птица…

(Начало поговорки)

1986 ГОД. НАКОНЕЦ-ТО ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ ПЕРВАЯ ЗАГРАНИЦА. ПОЛЬША

Сначала несколько собеседований. Мы в костюмах и галстуках, начитавшись до одури последних газет и трясясь, как абитуриенты при поступлении в институт, по очереди сидим перед комиссией.

Бог знает из кого эта комиссия состояла: из активистов, ветеранов партии, фронтовиков, а иногда и просто примазавшихся бездельников.

Вопросы, вопросы: последняя речь Горбачева, положение на Ближнем Востоке — насколько я знаю, там положение всегда было напряженным, — роль компартии в мировой тусовке.

Правильные ответы определяли вашу потенцию для поездки: а вдруг подойдут в Польше на улице и спросят:

— А какие союзники были у фашистской Германии во Второй мировой войне?

А вы как раз и не знаете. Или:

— В каком году состоялся съезд «победителей»?

А вы говорите:

— Чего-то я не в курсе.

Это ж какой позор! Любой поляк может вам тут же в морду плюнуть, и престиж нашей страны упадет донельзя.

Валера Ефремов и наша милая костюмерша Танечка ходили пересдавать, т. к. неточно назвали союзников, остальных Бог миловал.

Особенное внимание уделялось личной жизни выезжающего. К тому моменту я был уже давно разведен, но должен был толково объяснить, по какой причине.

Само собой разумелось, что советский человек если уж создал семью, то обязан ее сохранять, а то опять же вдруг за границей спросят — что тогда?

Было абсолютно ясно, что вопросы о съездах партии и о сложном отношении произраильских группировок к палестинскому движению лишь предваряли главный вопрос. О причине развода.

Ну, конечно. Ведь на все остальные вопросы члены комиссии

уже более или менее знали правильные ответы, и чисто по-человечески понять их было можно.

Каждый раз у меня бывало сильное искушение свалить все на дуру жену, которая не знает на память «Апрельские тезисы», но я вовремя спохватывался, обычно краснел и отвечал, что причины моего развода лежат в области компетенции *медицинских* органов.

Многозначительные взгляды, которыми обменивались члены комиссии, показывали, что это политически самый правильный ответ.

Забыл еще сказать, что всему этому предшествовала принудительно-унизительная проверка здоровья, перед которой меркнет прием в отряд космонавтов.

12–14 врачей-специалистов должны были дать заключение, выраженное в общем виде словами «практически здоров».

Мы сначала думали, что это забота государства о нас. Только потом стало ясно, что чиновники страшно боятся за валюту, которую пришлось бы заплатить, случись за границей что-нибудь с нашими зубами или еще с чем.

Мы попытались, правда, совместить «приятное с полезным».

Я, например, после разных кардиограмм попробовал спросить у главного врача, женщины с революционной внешностью и «Беломором» в зубах, ставившей обобщенный диагноз:

— Какие будут ваши рекомендации?

Она подняла от бумаг усталые глаза за толстыми стеклами, перекинула «Беломорину» в другой уголок рта:

— Да на тебе пахать можно!

В общем зубы и другие органы, внушающие подозрение, были вырваны, а мы все оказались «практически здоровы».

Уже перед самой-самой поездкой был еще инструктаж, вернее, собеседование с бойким, веселым гражданином в синей рубашке, который, сидя на столе и свесив одну ногу, поучал:

— Поляки — они как дети. Во время контактов избегайте упоминания фамилии Буденный. Для нас он — герой, а их в двадцатом году тысяч двадцать положил. И еще, немцы в сорок втором польских офицеров постреляли, а несознательные поляки до сих пор думают про нас. Вопросы есть?

Вопросов нет — «пше прашем».

Мне все эти комиссии и собеседования, которых впоследствии было еще много, напомнили сдачу «Ленинского зачета» на «почтовом ящике», где я работал до армии.

Не знаю уж, кому пришли в голову эти «зачеты», но время было такое, когда годы пятилеток назывались «решающими, определяющими и завершающими», и человек, не сдавший «Ленинский зачет», человеком уже не считался.

Я, будучи (как студент-вечерник) секретарем комсомольской организации, автоматически попадал в комиссию по приему «Ленинского зачета»: секретарь партийной организации, предместкома, начальник цеха и я.

Нас специально готовили. Пришли какие-то дядьки и раздали вопросы-ответы.

Например, предместкома выучил назубок вопрос: «А что сейчас по материалам прессы происходит в Иране?» Правильный ответ — «война».

А начальник цеха с третьего раза усвоил, что «вдохновитель и организатор Ленинского комсомола — В.И. Ленин».

И вот в рабочее время заседает комиссия. Заходит здоровенная орясина, ставит рашпиль у стены и замирает в позе «руки в брюки».

Он не первый, и члены комиссии, уже проверившие свои знания три или четыре раза, чувствуют себя вольготно.

— Ну, — обращается к потолку предместкома, — что спросить-то тебя, Савельев? А вот, к примеру, как у нас сейчас дела в Иране? — и смотрит на всех орлом.

Пауза. Несчастный слесарь 6-го разряда, который «заусенцы пальцем снимает», смотрит в пол виновато.

Предместкома победно еще раз всех оглядывает, забыл, что все в курсе (в роль вошел):

— Эх ты, дубина, — война! Ну, Александр Никифорыч, — разводит руками предместкома, — может, вы хоть что спросите?

Это неожиданное «вы» сбивает начальника цеха с панталыку: они вообще-то — «Сашка — Колька», — но он собирается, некоторое время размышляет, потом глубокомысленно, с хитринкой:

— Ну вот, хотя бы это: кто явился организатором и вдохновителем Ленинского комсомола?

Бедный Савельев треплет полу своего синего халата. Начальник остальным подмигивает:

— Ну… ЛЕНИНского комсомола?

Работяга тоже не дурак, понимает, что подсказывают, подобострастно отвечает:

— Дзержинский Ф.Э.

Вмешивается парторг, его в кабинете смежники с коньяком ждут, и говорит мягко:

— А как, Горелов, он у тебя работает?

Начцеха авторитетно:

— Ну… норму выполняет.

Парторг Савельеву:

— Ладно, иди.

Так вот, о Польше… Вообще, эта страна останется в памяти навсегда, как первый поцелуй или первая свадьба. Пусть не самая заграничная «заграница», но зато первая.

Поселили нас сначала в гостинице «Дом клопа» (на самом деле — «Дом хлопа», то есть Дом колхозника), но на торжественном «чае» в нашем посольстве пришлось пожаловаться на неуважение к заслуженному ансамблю, и на следующий день мы въехали в шикарную гостиницу «Форум» с барами и рестораном, где, по слухам, вечерами происходил (прости господи) стриптиз.

Наконец, бросив чемодан и побрившись с горячей водой, я вышел в город.

Варшава. На каждом углу висят прозрачные ящики для пожертвований на ремонт и благоустройство города, кстати, полные денег. Идет оживленная торговля всем чем ни попадя, бойкие поляки останавливаются прямо на проезжей части, чтобы обсудить последнее выступление Леха Валенсы.

Обилие машин — в основном иномарок, обилие людей — в основном иностранцев. Только на третий день до нас дошло, что мы сами — иностранцы, и, проезжая по улицам на нашем автобусе, свежеиспеченные паны Зайцев, Макаревич и Капитановский уже смело орали из окна проходящим девушкам:

— Эй, красавицы! Идите к нам, к иностранцам!

Кто-то из наших сказал, копируя расхожий газетный штамп: «Типично польский пейзаж».

Было тепло, настроение хорошее, хотелось со всеми общаться.

Я еще в Москве подготовил несколько ловких ответов, могущих сбить с толку самого каверзного поляка, но ни о Буденном, ни о моем разводе никто так и не спросил.

Итак, мы были участниками фестиваля «альтернативной музыки». Фестиваль назывался «Морковка-86», и устроители любезно пригласили группу из Союза. Только вот в компетентных органах никто точно не знал, что такое «альтернативная музыка», поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом, решили все-таки послать «Машину времени».

Мы честно решили доказать всему миру, что можем составить альтернативу любой музыке, но позже эта уверенность была несколько поколеблена другими участниками фестиваля, находящими удовлетворение своих музыкальных амбиций в молчании перед микрофоном, в шуршании бумагой и в показывании голого зада.

Фестиваль проходил в огромном обветшавшем зале

довоенной постройки, и первое, что обратило внимание при входе, — это буквально сбивающий с ног запах анаши, которую покуривали сидящие на полу и на трибунах зрители.

Выступление «Машины» было запланировано на третий день, и два первых дня мы знакомились с искрометным искусством других участников из Канады, США, Бельгии и т. д.

Выходит на сцену человек с собакой и 20 минут «альтернативно» молчит, или двое молодых людей из Бельгии бродят по сцене, заваленной обоями, постукивают в барабан и раздеваются до пояса снизу.

Может быть все это интересно и здорово, но уж больно непонятно, и мы, воспитанные на Кобзоне и Тухманове, несколько приуныли: что же показать?

Кутиков со свойственной ему прямотой требовал бросить жребий, кому показать полякам голую задницу, чтобы утереть нос всяким там зарвавшимся бельгийцам и канадцам, но благоразумный Андрей предложил ограничиться песнями.

И что самое интересное: зрители, измученные двухдневным шуршанием и молчанием, благосклонно выслушали «старый, добрый поворот», так что особенно шуршать и не пришлось.

* * *

БОЛГАРИЯ

На протяжении уже нескольких лет, как призрак мечты в тумане будущего, всплывала поездка в Америку.

Но, как и Ясону, для того чтобы добыть золотое руно, так и «Машине» для поездки в Штаты, по мнению начальства, нужно было совершить несколько подвигов.

Одним из этих подвигов была очень тяжелая поездка по Болгарии, а так как уже давно над группой дамокловым мечом висели гастроли в Афганистане, то мы и этому были рады.

Ничего особенно страшного в Афганистане не было, но очень не хотелось исполнять роль колхозной бригады.

Одни знакомые артисты, побывавшие там, рассказывали, что их привезли в поле при полном отсутствии электроэнергии и потребовали срочно «ставить концерт», а на робкие возражения, что гитары-то электрические, полковник (наверное, родной брат Рекса) приказал сыграть «как-нибудь так».

Концерт им, конечно, пришлось отложить, но если бы мы попали в такую ситуацию, как-нибудь бы выкрутились. В крайнем случае Директор бы сляпал из подручных средств небольшую электростанцию.

В свое время моя двоюродная сестра, с которой мы вместе росли, вышла замуж за своего сокурсника по Ленинградскому политехническому институту — болгарина. И хотя, как известно, курица — не птица и т. д., у ее отца, морского офицера, были большие неприятности по службе.

С сестрой мы переписывались, и я узнавал о всяких подорожаниях и изменениях в нашей стране примерно за шесть месяцев до фактических событий, т. к. варианты сначала испытывались на Болгарии.

Самым популярным болгарским анекдотом того времени был такой: Тодор Живков на вопрос о том, зачем он в жаркую, солнечную погоду взял с собой зонт, ответил: «В Москве обещали дожди».

Болгарский маршрут был составлен настолько плотно, что свободное время отсутствовало начисто. За 14 дней — 13 городов. Но самое главное — мы везли с собой всю нашу многотонную аппаратуру, и, как всегда, из-за обычной экономии наша техническая группа, обслуживающая «аппарат», поехать не смогла.

Первые дни по старой «андеграундовой» привычке мы все набрасывались на погрузку-разгрузку, но очень скоро выяснилось, что у музыкантов после тяжестей дрожат руки, и конечно, пришлось их освободить.

В очередной раз пример трудового героизма показал Директор, который наплевал на московские связи, и, закатав стодолларовые брюки, с песнями ворочал двухсоткилограммовые колонки. Уже в Москве, похлопывая себя чуть выше ремня, он поделился, что похудел на 8 кг (я думаю, на 2).

Я тоже быстро втянулся, что говорит о хорошей приспособляемости человека, и развлекал потом друзей тем, что разгибал подковы и рвал в клочья металлические рубли.

Распорядок дня был примерно такой:

9.00 — подъем и выезд в следующий город (200–400 км);

с 14 до 18 часов — разгрузка, распаковка, установка и настройка аппаратуры и инструментов;

с 18 до 21 (плюс-минус час) — концерт;

далее — разборка, упаковка и погрузка;

около полуночи — освежающий сон в местной гостинице.

В Болгарии «Машина» уже успела прославиться, некоторые песни стали шлягерами, и на первом концерте в Софии группу ждал переаншлаг.

Почти все концертные площадки были открытыми, а надо сказать, что я лично страшно не люблю работать на открытом воздухе, во-первых, потому, что постоянно не хватает мощности,

чтобы хорошо озвучить большое пространство, а во-вторых, потому, что у нас с природой сложилось недобрая традиция: почти всегда идет дождь.

Вот и в Софии разверзлись хляби небесные, и на 4-й песне мы, а в основном аппаратура, получили по полной программе: вечером из одного синтезатора вылили несколько литров воды, и он вышел из строя до конца гастролей. Надо было бы воспользоваться «опытом» Живкова и узнать заранее, какова погода в Москве.

Я прикрыл пульт крышкой и собственным телом и со стороны, наверное, был похож на один из фонтанов Петергофа, а когда сидящий рядом болгарский телевизионщик замерил небольшим прибором напряжение на корпусе пульта (220 вольт), стало совсем весело. Телевизионщик в своем дружеском расположении пошел еще дальше и рассказал дико смешную историю о том, как год назад на этой же площадке во время дождя выступала югославская группа и у них погиб звукорежиссер.

Прождав около полутора часов, концерт мы все-таки доиграли на следующий день в закрытом зале. Я вспоминаю об этом в общем-то рядовом случае только потому, что такого вселенского потопа не было ни до, ни после болгарского концерта, и еще потому, что до конца поездки мне пришлось изображать тот самый перегоревший синтезатор, то есть звукоподражать из-за пульта в микрофончик: то шуметь прибоем, то петь птичками, то налетать на зрителей порывами свежего летнего ветерка.

В Варне мы с Андреем навестили ночью мою сестру, к которой я собирался девять лет, а в восемь часов утра уже мчались в Бургас.

* * *

ГЕРМАНИЯ

Не собираюсь претендовать на точную хронологию, так как, например, в Германии «Машина» была шесть раз, вернее, семь (если считать двухдневную пароходную стоянку в г. Любеке), поэтому собираю самые яркие впечатления. Итак, Германия. Точнее, тогда еще ГДР.

Ехали мы туда на поезде.

Насколько сильно «типично польский пейзаж» отличался от нашего, настолько «типично немецкий» — от польского. Неумолимо сказывалась близость западной культуры.

Не хочется писать банальности типа «чистые, опрятные домики, ухоженные садики и т. д.», но что поделаешь, если действительно опрятные и ухоженные.

Германия была первой страной, где мы со всего размаху налетели на языковой барьер. И в Польше, и в Болгарии все хорошо понимали русский, и проблемы практически отсутствовали. Здесь же было очень трудно.

Вообще, знакомство с иностранными языками у большинства людей обычно начинается в школе со стихов про мышку и с вранья про какую-то девочку, у которой «мама — доктор, а папа — рабочий», и у большинства, к сожалению, этим же и заканчивается, если, конечно, человек потом напрямую с языком дела не имеет.

Мои товарищи, да и я сам, учили в школе английский и заслушивались песнями «Битлз» и «Роллинг Стоунз», а они, как известно, если и исполняли что-нибудь на языке «Штирлица и Мюллера», то очень мало.

Так что мы были в основном англоговорящими, а как мучительно хотелось грохнуть в каком-нибудь баре кружкой об стойку и на безукоризненном «хох дойч» потребовать «повторить» или, на худой конец, толково объяснить заезжему провинциалу, как пройти к Рейхстагу.

Мои познания в немецком ограничивались детскими воспоминаниями об игре «в войну» — «Хальт, хенде хох» — и одним небольшим фильмом про любовь, впоследствии обычно называемым «порнухой». Там баба своему немецкому мужику все время говорила: «Шен! Дас ист фантастиш унд сексуалиш», а один раз даже: «Дас ист апетитлихь». Мужик молчал, как пень.

У меня на эти дела память хорошая, вот я в Германии и вворачивал где надо и где не надо.

А потом выучил «гутен таг» и «варум нихт».

Заходишь, к примеру, в магазин:

— Гутен таг, дас ист фантастиш! — Они и радуются, как дети.

Или подходит к тебе на улице морда, говорит что-то долго и затейливо, а ты:

— Варум нихт?! — и пошел…

Чуть позже мне начало казаться, что немцы кроме этих и еще кое-какие слова употребляют.

Однажды зашли с Ефремовым в винный магазин посмотреть, что да как. За нами еще один мужик немецкий. На двери звоночек блямкнул, на звоночек из соседнего помещения фрау симпатичная вышла.

Мужик говорит:

— Битте, цвай фляшен.

А фрау ему — пакет. Он ей:

— Данке.

А она ему:

— Битте.

И оба улыбаются.

Мы с Валеркой стоим, делаем вид, что каждый день по нескольку раз такое видим.

Потом фрау к нам с длинной речью обратилась: дескать, чего надо?

Мы ей для солидности:

— Цвай фляшен.

Она подает две пузатые бутылки водки.

Пришлось денег дать. Зато на следующий день опять зашли посмотреть, а она сразу спрашивает:

— Цвай фляшен?

А мы думаем — чего уж тут:

— Цвай фляшен. — И все дела!

Очень здорово обошелся с немецким языком Валера Сюткин, который тоже в ГДР тогда присутствовал. Перед самым отъездом из Союза он купил где-то русско-немецкий разговорник. Потом оказалось, что разговорник к Олимпиаде выпущен. То есть: со спортивным уклоном. Мы как-то приходим в бар втроем и показываем бармену знаками — наливай, мол, сволочь. Он делает вид, что не понимает, и продолжает стаканы протирать. Сюткин достал разговорник, долго туда смотрел, потом по складам сказал что-то. Бармен оживился, тут же налил не только нам, но и себе. Мы выпили. Валера еще раз ту же фразу повторил. Мы опять все вместе выпили. Расплатились, а бармен нам еще долго махал полотенцем на прощание. Я потом у Валеры-то спросил, что за волшебная фраза. Он ткнул пальцем, а там написано: «Вы участвуете в эстафете «Четыре по сто?»

В один из дней фестиваля (а это был опять фестиваль) по плану было посещение немецкой семьи.

К этому посещению все сильно готовились.

Немцы за два месяца до нашего прибытия у себя конкурс провели, кому такую честь оказать.

Надо было, чтобы из семьи кто-нибудь по-русски хоть чуть-чуть говорил, да и вообще, чтобы жили справно и могли перед высокими советскими гостями себя достойно оказать. И еще было у меня сильное подозрение, что у них комиссии тоже предшествовали (ГДР же — недалеко от нас ушли); я даже представил себе такой вопрос:

— А скажите-ка нам, герр Тиман, какого числа в сентябре

1939 года мы на Польшу напали? Не знаете? Стыдно, а вдруг русские спросят.

Короче, построили нас в одну шеренгу: часть — из «Машины», часть — из других коллективов (в этом фестивале наших много участвовало). Хозяева ходят, выбирают. Очень похоже на картинку из учебника истории «Рабовладельческий рынок в Риме».

Я размечтался одному дядьке красномордому понравиться, вертелся перед ним так и сяк, но он выбрал бабищу из Красноярского хора (их первых расхватали), а меня, как неликвид, подобрали совсем уж какие-то невзрачные.

Ну, ничего, квартира у них 4-комнатная, семья из пяти человек. За мной, оказывается, сыновья приходили, а папаша с мамашей дома готовились. У папаши лицо тоже довольно красное — я уж тут приободрился.

Нас-то до этого учили не плевать где попало и в скатерть не сморкаться, так что я — ни-ни, за весь вечер так нигде и не плюнул.

Оказалось, по-русски никто не понимает, как уж они отборочные туры прошли — не знаю.

Сажают за стол — честь по чести. Я собрал в кулак весь свой немецкий и заявляю:

— Дас ист фантастиш унд апетитлихь!

Мама чуть со стула не упала от неожиданности.

Хорошо сидим. Действительно, все очень вкусно.

Через некоторое время взрослые сыновья и сама фрау начали проявлять признаки беспокойства. Пробовали пихать локтями папашу Гюнтера и пинать его под столом ногами. Наконец он достает фотографию Горбачева и бутылку шнапса (а это был у нас самый разгар антиалкогольной вакханалии) и делает такую вопросительную рожу, что мое решительное «Варум нихт» прозвучало достаточно убедительно.

Тут начался полный «фройндшафт», а когда Гюнтер разошелся и рассказал на пальцах, как его учили гопака танцевать, я смеялся добрых пять минут. Правда, было это в плену, ну да все равно.

Расставались мы со слезами. Они меня проводили и подарили на прощание вымпел и книжку с пейзажами Германии, а я им — значок Ленина. В общем, все хорошо было, а на обратном пути попал я в автобус к «белоголовкам», к тому самому Красноярскому хору. У них женская часть ансамбля должна была быть исключительно блондинками (брюнетки, соответственно, перекрашивались), отсюда и прозвище такое — «белоголовки».

Большинство из девушек тоже побывали в гостях, и два с половиной часа я наслаждался такими матерными частушками, что любо-дорого. Самая невинная было такая:

Я купила колбасу
И в карман поло́жила.
Чем-то эта колбаса
Меня растревожила.

Я потом часто пел эту частушку знакомым девушкам. Реакция была самая разная: до 1988 года частушка вызывала улыбку, а позже (включая 1992 год) — легкое недоверие, переходящее в злобу.

В конце поездки побывали в Берлине, посмотрели тамошние достопримечательности: монумент нашего воина с девочкой на руках в Трептов-парке, красивую улицу Унтер-ден-Линден, поляков, приезжающих на субботу-воскресенье торговать темными очками и помадой, и конечно же, знаменитую Берлинскую стену.

Совершенно дикое ощущение — знать, что буквально в 20 метрах от тебя проистекает какая-то другая, разноцветная загадочная жизнь, от которой тебя охраняют пулеметы.

Западные немцы — тоже не дураки — никогда не упускали случая показать, «как у вас и как у нас».

В те дни совсем рядом со стеной, на ступенях Рейхстага, они устроили грандиозный рок-концерт с участием европейских знаменитостей. И если за высокой стеной не было ничего видно, то слышно было очень хорошо.

Самая предприимчивая восточная молодежь забиралась на ближайшие здания и заглядывала через стену. Другие молодые люди просто слушали неподалеку и смотрели на этот глухой бетонный забор, пока он не рухнул под их испепеляющими взглядами в 1990 году, чему мы были почти свидетелями.

Это была так называемая поездка «по войскам», то есть концерты для наших военных, дислоцирующихся в ГДР.

Осень 1990 года. Немцы со страшной силой собираются объединяться. В городах, на улицах и в домах атмосфера надвигающегося праздника, ожидание чего-то небывалого, такого, о чем еще два-три года назад невозможно было и помыслить.

Неизбежные проблемы и трудности придут позже, а сейчас — настроение победы и радости.

Так, наверное, чувствовали себя мои родители в мае 1945

года, так чувствовал себя я 23–24 августа 91-го.

Мы вообще довольно часто раньше выступали перед солдатами, а в Таманской и Кантемировской дивизиях — так просто регулярно, но дисциплина и порядок в наших частях в Германии были просто поразительными. Живописные военные городки, добротная еда, денежное содержание в марках — все это накладывало особый заграничный отпечаток.

Западники, собравшись объединяться с восточниками, пошли очень далеко: тут и обмен марок один к одному, и замена товаров в магазинах, и выдача разных субсидий.

Все это коснулось и наших военных. Так, например, в Военном универмаге в одну ночь товары производства ГДР были заменены на западногерманские, а зарплата солдат и офицеров стала автоматически выплачивается в бундесмарках.

Конечно, объединение Германий предусматривало полный вывод советских войск, который должен был быть осуществлен поэтапно до 1994 года.

Наши военные разделились на два лагеря: на уезжающих скоро и на остающихся на сладких хлебах еще на какое-то время.

Согласитесь, что возможность, даже для рядового солдата, привезти со службы видеомагнитофон или японский телевизор чего-то стоит. Тут, кстати, и выяснился секрет дисциплины и порядка: в обычной армии за разного рода нарушения полагаются наряды, гауптвахта, дисбат, а в Германии без разговоров отправляли дослуживать обратно в Союз, что, по мнению солдат, было хуже любого дисбата.

Даже в зале во время концертов была заметна дифференциация. Отъезжающие инстинктивно садились вместе и реагировали на музыку более бурно, как в последний раз.

Жили мы там в военных гостиницах, а иногда в свободных казармах, а однажды пришлось ночевать даже в изоляторе. Состав был такой: Директор, Подгородецкий, Ефремов и я.

Петя Подгородецкий, как все жизнерадостные полные люди, во сне заливался могучим храпом и имел в коллективе по этому поводу особые привилегии, как то: отдельное помещение в гостинице и даже отдельную каюту на пароходе.

В этот раз такой возможности не было, и мы готовились к бессонной ночи.

Ефремов хмуро собирал около койки свою и чужую обувь, намереваясь использовать ее в качестве метательных антихраповых снарядов, и смущенный Петька, который храпит не по злобе, а от природной радости, предложил пополнить арсенал своими кроссовками.

Наш Директор, неистощимый кладезь различных полезных и

бесполезных сведений, посмеялся над наивными предосторожностями и прочитал нам целую лекцию о том, что с древних времен люди борются с храпом при помощи свиста. Оказывается, еще фараоны, услышав храп раба, сначала легонько посвистывали, а уж потом рубили гаду голову.

Я позволил себе пару критических замечаний, но Директор поклялся ужасной клятвой Гиппократа и забожился на фуфел, что мы сейчас сами все увидим. Несколько успокоенные, мы потушили свет.

Петр включился почти сразу, но на средней громкости, так что если напрячься, можно было услышать стук падающей обуви. Когда кончились снаряды, Петька уже почти вышел на рабочий режим. Волшебный Директор похихикал торжествующе и стал насвистывать особым образом — так, наверное, проклятый преступник подзывал змею в рассказе Конан Дойля «Пестрая лента». Петька наддал еще. Тут Директор залился таким паровозным свистом, что будь я Соловьем-разбойником, сразу бы пристал с вопросом, где он учился!

Наконец Петр Иванович достиг обычного уровня, и хотелось броситься к окну и пересчитать тяжелые танки, которые там вроде бы проходят.

Директор все еще свистел, но все хорошее, к сожалению, быстро кончается. Его свист начал постепенно ослабевать, потом перешел в легкое постанывание и затем в тяжелый мужской храп уставшего гражданского человека.

Петька от неожиданности затих, видимо, прислушиваясь, облегченно вздохнул и радостно захрапел опять.

Уже под утро, вдосталь насладившись молодецкими звуками в стереорежиме, я вспомнил хороший солдатский способ — накинуть на морду храпящему военную портянку, но ни у Ефремова, ни у меня портянки, к сожалению, не нашлось.

После очередного концерта командиры той части, где мы работали, подошли поблагодарить и, хитро посмеиваясь и подмигивая, предложили отужинать «чем бог послал».

Мы, конечно, после обычной сухомятки с радостью согласились.

Небольшой толпой с главным командиром впереди пошли по темному плацу, инстинктивно стараясь идти «в ногу», а жизнерадостный Директор все время забегал вперед и пытался накладывать взыскания на тех, кто недостаточно пропечатывал шаг. Наконец все остановились около освещенной двери с надписью «Столовая». Командир, стоя к двери спиной, произнес небольшую речь, в том смысле, что очень приятно, и театральным жестом распахнул створки.

Мы вошли в небольшое помещение с П-образным столом, перед которым помещался маленький солдатский оркестр, грянувший в ту же секунду музыку.

Если бы дело происходило в XIX веке и мы были бы купцами, а оркестр — цыганами, то прозвучало бы, наверное: «К нам приехал, к нам приехал ансамбль московский дорогой!» А тут они играли всего-навсего «Чардаш» композитора Витторио Монти (1868–1922). Вернее, «Чардаш» играл скрипач, а два электрических гитариста и барабанщик ему подыгрывали.

Скрипачом был молоденький узбек, и держал он своего «Страдивари» очень странно — по-турумбайски, то есть вертикально, как контрабас. Мы расселись.

Руководил столом командир полка, ему очень нравилась роль хлебосольного хозяина, и надо сказать, у него хорошо получалось.

Обстановка была теплая и дружеская. На столе теснились немецкие мясные закуски, овощи, пиво и даже кое-что покрепче. Звучали тосты и здравицы в честь вечной и непоколебимой дружбы между «Машиной времени» и контингентом Советских войск в Германии.

Потом пошли обычные военные вопросы: «Каковы ваши дальнейшие творческие планы?» и «Вот вы поете, играете, а по жизни работаете где?»

Оркестр к этому времени уже закончил пятую интерпретацию «Чардаша» и ожидал знака командира, чтобы поразить наш слух в шестой раз.

Напрашивался скучный вывод, что репертуар ансамбля дальше «Чардаша» не простирается или что командир полка — попросту скрытый венгр и дает выход своим националистическим настроениям.

Пришлось срочно сделать несколько комплиментов исполнителям и дать хорошую оценку меценатству командира, не дающего солдатам зарывать в землю свои таланты.

Особенно все наши хвалили скрипача, способного сыграть виртуозную пьесу пять раз подряд и готового еще бог знает на что.

Командир, очень довольный своим статусом «слуги царю и отца солдатам», поднял тост за творчество и сказал, что у кого-кого, а у него в полку талант никогда не пропадет и что в то время, когда другие воины котлы чистили, он лично выделял талантливому узбеку по часу в неделю для занятий на скрипке, после чего тот, видимо, и выучил «Чардаш» В. Монти.

Было ясно, что наш меценат очень гордится своим узбеком, как помещик Троекуров борзыми щенками, и была бы его воля,

оставил бы несчастного «Паганини» на сверхсрочную.

— Вы обратите внимание, как он скрипку держит, — говорил командир, любовно поглядывая на скрипача. — Вам-то, гитаристам, не понять. Скрипку же обычно под подбородок суют. Но для этого нужна особая подушечка… Ну, давайте-ка еще раз за музыку… Так вот, дурак прапорщик, которого я в Ташкент к узбекской матери послал, привез две пуховые подушки, поэтому наш Туфтанделиев теперь так без настоящей подушечки и играет… А ну, давай-ка за майора выпьем, большого специалиста в своем майорском деле. Это ведь он организовал вам возможность вкусить с нашего скудного солдатского пайка.

Выпили за майора, вкусили «с пайка». Командир спрашивает:

— Ну, как вам наша жратва? У нас так каждый солдат питается.

Мы, конечно, одобрили. Командир осмотрелся победоносно, но, видимо, в глазах Директора, вкушавшего в это время твердый немецкий сервелат, увидел легкое недоверие.

— Что, не верите?! Лень, — говорит майору, — приведи какого-нибудь.

Через пять минут майор привел низкорослого испуганного солдата. Командир уже успел поднять тосты за Джорджа Вашингтона, Джорджа Харрисона и Боя Джорджа и не совсем понял, зачем ему этот воин, но на всякий случай сказал:

— Что, попался?!

Было очень жаль ни в чем не повинного рядового, и мы со всех сторон начали кричать, что очень верим в роскошное разнообразие солдатского меню.

— А-а, точно, вспомнил, — вскричал командир, — тут вот некоторые не верят, что ты каждый день все это ешь. Ведь ешь ведь? Ведь да?

Солдатик, пожиравший глазами жареную курицу, проглотил слюну и равнодушно ответил:

— Так точно, товарищ полковник.

Товарищ полковник торжествующе посмотрел почему-то на майора и указал солдату на свободный стул:

— Вижу, любишь своего командира, садись вот, поешь, только смотри у меня, морда, не пей!

Потом налил себе рюмку, махнул рукой:

— Да ладно, пей!

Чуть попозже сослуживцы увели командира к жене, а мы с Директором не покладая ног забились в огненном «Чардаше».

Чем дальше мы забирались в глубь Германии, тем теплее и радушнее был прием. Почти каждый послеконцертный ужин превращался в настоящий банкет. Конечно, приезд группы вносил

свежую струю в скучноватую все-таки повседневность военных городков, и все получали обоюдное удовольствие от вечернего общения.

Причем на каждом банкете обязательно задавался вопрос: «А где вы вчера выступали? Ах, у саперов, ну и как вас принимали-кормили?»

Мы сначала-то благодарили и говорили, что очень все было хорошо, но, видя искреннее разочарование добрых офицеров, стали отвечать так: «Ну, вчера, честно говоря, было так себе, зато сегодня просто потрясающе».

И чем меньше мы восторгались предыдущей частью, тем большее удовольствие читалось на открытых, мужественных лицах наших теперешних хозяев.

Роль гостя вообще довольно трудна, а особенно у военных: попробуй-ка объясни, что ты с ног падаешь от усталости и мечтаешь только до койки добраться, и это людям, которые аж неделю готовились к встрече. Поначалу мы стойко выдерживали тосты, не отличающиеся разнообразием («За «Машину времени», на которой мы все росли»), но после того, как однажды поднялся уже крепко поддавший седой пятидесятилетний полковник, провозгласивший: «За «Машину времени», под которую я с детства развивался и взрослел», — было решено изменить регламент.

В последующие вечера первым вставал Андрей, коротко упоминавший о том, что все присутствующие родились и, видимо, умрут под «Машину времени», затем благодарил хозяев, которые угощали нас значительно лучше, чем в предыдущем месте. Этим он совершенно выбивал почву из-под последующих тостов. Пить обычно бывало уже не за что, и мы скромно ужинали и валились спать.

Конечно, каждый офицер гордился и хвалил именно то подразделение, где он сейчас служит. Нам везде показывали всякие достопримечательности. В летном полку показали дом, где до и во время войны жил Геринг. Из подвала этого дома, оказывается, шел подземный ход аж до Берлина (то есть километров двести). На следующий день в танковой дивизии словоохотливый лейтенант, указывая на небольшое аккуратное озерцо, поведал, что через сложнейшую инженерную систему подземных озер фашистская подводная лодка, не всплывая на поверхность, могла дойти прямо до Рейхстага.

У ракетчиков показали дыру в земле, откуда начиналось подземное шоссе с четырехрядным движением до Берлина, а от саперов до Берлина можно было доехать подземным поездом.

В любой части можно было смело обратиться к первому

встречному с вопросом, как раньше можно было скрытно добраться до Берлина, и тебя тут же вели показывать.

Я только диву давался хитрости и изобретательности фашистских инженеров. И все ведь это было построено для того, чтобы немецкая верхушка могла в последний момент свалить из осажденного города — кто на поезде, кто на четырех машинах в ряд, а кто и на подводной лодке.

Вот только как это они не предусмотрели, наверное, Штирлиц поработал, ведь выходы-то из всех этих подземно-подводных туннелей оказались прямо посередине различных советских воинских частей.

Наконец наступило 3 октября — день воссоединения. Уже с утра за пределами военного городка раздавались выстрелы петард и слышалась музыка духовых оркестров.

Караулы в наших частях были удвоены, а выход в город категорически запрещен: боялись провокаций.

Нам тоже не рекомендовали шляться среди немцев, занятых воссоединением. Но как упустить такое событие?

Поближе к вечеру, изнуренные ощущением своей непричастности к этому празднику жизни, мы втроем решили все-таки прогуляться. Двое молодых офицеров — Володя и Слава — взялись нас сопровождать.

Собирались очень ответственно, как разведчики на задание. Скрупулезно проверялись одежда и обувь: не выдаст ли наше советское происхождение. Слава и Володя, одетые, естественно, в гражданское, профессионально порекомендовали сдать Директору ордена и документы, что и было сделано.

Теперь наша группа имела совершенно заграничный вид, правда, некоторое опасение внушали одинаковые короткие прически офицеров, но Слава сказал, что это не страшно, т. к. в Германии тоже дураков полно.

Переговариваться было решено с помощью пальцев, по глухо-немецки, дабы немцы нас по родному языку не признали и на радостях не убили.

Пробравшись сквозь дыру, имеющуюся в любой уважающей себя ограде, наша пятерка по-пластунски пересекла темный переулок и короткими перебежками бросилась в сторону оживленной улицы.

И вот на обширную, залитую огнями площадь вышли пятеро «немцев». Володька со Славкой изображали восточных, а мы — западных. Все держались за руки и через каждые 10 метров начинали молча остервенело брататься, чем сразу вызвали нездоровое любопытство окружающих.

Вокруг нас начала собираться небольшая толпа, которая

неуклонно росла.

Испуганный Андрей начал нервно насвистывать гитлеровский марш «Хорст вессель», а я вырвал у рядом стоящей девушки цветок и со словами «Дас ист фантастиш» грубо подарил его Славке. Не знаю уж, что он потом с ним сделал.

Ситуацию разрядила врезавшаяся в толпу тележка со шнапсом и закусками, которой управлял не по-немецки пьяный мудель, и мы, схватив (читай «хватив») по стакану, благополучно разбрелись по площади.

Проходящий духовой оркестр оттеснил свободолюбивых офицеров, а мы, закаленные правилами поведения советских людей за границей, продолжали держаться настороженной злобной группкой.

Тележки с бесплатным шнапсом попадались все чаще и чаще, и через некоторое время мы уже свободно беседовали друг с другом на чистом немецком языке.

Вдалеке мелькали немецкие офицеры Славка и Володька, тоже, видимо, находившиеся в мультфильмовском состоянии «Щас спою». Наконец Вова, чей голос и музыкальный слух были получше, не выдержал напора и затянул: «Выходила на берег Катрина, на высокий, дас ист бережок».

Вокруг них мгновенно сомкнулось кольцо. Помочь мы им ничем не могли — пора было уносить ноги, но я, как Тарас Бульба, тайком присутствовавший на казни сына, решил все-таки пробраться поближе, чтобы рассказать потомкам об их геройском поведении.

«Русиш, русиш!» — слышалось кругом, потом толпа взревела, поднаперла, и несколько дюжих здоровяков уже схватили несчастных.

Боже, как их качали! Они подлетали в воздух то вместе, то поодиночке; Володька ухитрялся вытягиваться в полете и отдавать всем честь, а Слава просто орал победную боевую песнь без слов.

Потом их отпустили и, отягощенных подарками и шнапсом, на случившейся машине с эскортом доставили прямо к той самой дырке в заборе, к которой и мы приплелись через полчаса усталые, но довольные.

Уезжали мы от наших военных убежденные в полной боеготовности частей. Поездка оказалась интересной: удалось и других как следует посмотреть, и себя сильно показать.

Провожать нас пришли наши боевые товарищи — оберлейтенанты Володя и Слава, а когда проходящий по плацу батальон в сто луженых глоток рванул «Новый поворот», у всех навернулись слезы.

Было немного грустно за остающихся. В скором времени им предстояло сменить уже ставшие привычными порядок и комфорт на неизвестность, ожидавшую их в Союзе.

Ворота за нами закрывал солдат, хладнокровно евший банан, шкуркой от которого он еще долго махал вслед нашему автобусу.

Запретный плод

Здравствуйте, дорогой нетерпеливый читатель!

Добро пожаловать в эту книжку!

Всю свою жизнь я терпеть не мог всяческих запретов и старался по возможности их нарушать, особенно когда это почти ничем не грозило.

И если вы не утерпели и сразу «вышли» на эту главку, значит, мы с вами родственные души, которые искали друг друга долгие годы.

Когда я был маленьким, моя очень добрая, но малограмотная бабушка попыталась как-то наказать меня, поставив в угол и запретив думать о медведе. Надо ли говорить, как я мучился?!

Так давайте с вами думать о «медведе», давайте не будем мучиться сами и постараемся не мучить других!

Конечно, найдутся люди, которые покорно дочитают до этого места с самого начала, подчинившись запрещению или не обратив на него внимания. В любом случае, я уважаю и люблю вас всех за то, что вы обзавелись этой книжкой и предоставили мне великолепную возможность познакомиться с вами поближе.

Дорогой читатель, разрешите дать вам несколько «несоветов» по пользованию этим произведением.

Обратите внимание — ничего не запрещается. Так что нет нужды тут же все делать наоборот тогда, когда можно этого и не делать.

Я вам НЕ СОВЕТУЮ: читать эту книжку в метро, автобусах, такси, а также барах, ресторанах и других общественных местах. Постарайтесь по возможности остаться с ней наедине.

НЕ СОВЕТУЮ: использовать ее в виде подставки под чайник, для записи телефонов, на самокрутки и в туалетном смысле.

А также НЕ СОВЕТУЮ: «прочтя, передать товарищу» — товарищу желательно настойчиво порекомендовать купить себе такую же, так как каждый отдельный экземпляр должен безраздельно принадлежать только одному человеку и быть ему другом до конца дней.

Хотя всем этим несоветам можно и не следовать, а поступать с книжкой как вам заблагорассудится — лишь бы она принесла вам какую-либо ощутимую пользу.

А теперь, когда мы немного познакомились, я прошу у вас прощения за этот маленький фокус и приглашаю одних вернуться на первые страницы, других — просто продолжить чтение.

Из жизни жаб

Вообще, у меня обостренное чувство справедливости, в просторечии почему-то называемое «жабой». Хочу, к примеру, шапку купить, но как бы дороговато, — тогда не покупаю. Ну чего я буду покупать, если мне дорого. А вокруг все говорят, вот, мол, «ЖАБА ЗАДУШИЛА». И наверное, чем дороже предмет, тем и жаба больше.

На шариковую ручку денег пожалеешь, значит, маленькая жабка лапками к горлу подбирается, щекочет, а вот уж если на зимнее пальто или на подарок к дню рождения, тогда точно бойся: матерая жабища навалится и задушит насмерть. Я с этим «чувством справедливости» давно веду борьбу, трех или четырех жаб сам задушил, а одну загрыз зубами, но все равно опасаться надо: с нашими ценами да инфляцией за каждым углом они поджидают и с каждым днем все здоровее и толще.

Но наши родные жабы все-таки ни в какое сравнение не идут с иностранными, валютными. За границей жабы нас прямо на вокзале и в аэропорту встречают, даже у пароходных сходней бычатся. За все почти семьдесят пять лет советской власти чем больше рубль от инвалюты отрывался, тем сильнее жабы ихние матерели и скалились.

Приплыли как-то в немецкий город Любек. Мы с моим одним приятелем в город решили выйти, жабу подразнить. Он мне до этого рассказывал, что какие-то родственники умоляли его комбинезончик детский купить и игрушек. Вот идем, присматриваемся. Порт-то на окраине находится, а двигаемся мы по направлению к центру. Идем, естественно, пешком, транспортную жабу успокаиваем. Чем ближе к центру, тем магазины больше и богаче, а товары разнообразнее и соответственно дороже. Наконец первый детский магазин. Мой товарищ, а он немножко плохо видит, подходит к витрине близко-близко, таращится туда и что-то бормочет. Ну, это-то мне понятно, что происходит — за десять метров слышно, как у него в мозгу щелкает — ясно: пересчитывает цены с марок на рубли. Я смотрю: из-за угла жабка высунулась небольшая еще такая, но плотная и мордастая. Пасть разинула, прислушивается.

Мой друг подсчеты закончил.

— Отдохнут! — говорит. Это, надо думать, по поводу родственников.

Я со страхом за жабой наблюдаю: вроде ничего, покрутила башкой и назад усунулась, наверно, упрыгала переводчика искать, жабка-то немецкая.

Вздохнул облегченно, дальше идем. Через пять минут еще магазин, побогаче. Около него уже пара жаб околачивается — ждут клиентов. Друг-то их не видит, все его внимание витриной поглощено. А цены — еще выше, а жабы — еще крупнее.

Я на всякий случай поближе подошел, слабые места у врагов высматриваю. А он опять пошептал, фыркнул возмущенно:

— Умоются! Пошли, Максик.

Жабы посмотрели друг на друга: «Вас ист дас, нихт ферштейн», — но на всякий случай за нами потащились. А мы уже к этому времени почти до центра дошли, прямо перед нами роскошный детский магазин. Около него урна такая красивая, что я сигареты почти целой не пожалел: чего урне зря пропадать, — да промахнулся, но вдруг слышу: чмок — из-за урны жабка давешняя выскочила, ням окурок на лету. Видно, перевел ей уже кто-то, вот она и караулит.

Только я собрался приятеля предупредить, а он уже у витрины ногами топает — совсем забыл про осторожность:

— Отсосут, — кричит, — на фуй!..

Вот тут-то они все втроем на него и кинулись. Я даже не заметил, как та сладкая парочка подтянулась. С ног его сбили, навалились и душат, душат. Но у нас как принято? Сам погибай, а товарища выручай. Я, значит, где стоял, так оттуда в гущу их толпы и прыгнул. Они его облепили — не оторвать, он уж глазки закатил, бедный. Говорить, конечно, не может, только руку левую просунул, какие-то знаки ей делает.

Смотрю, а в руке-то 5 марок зажаты. Надо сказать, что в экстремальных ситуациях у меня голова здорово соображает. Я деньги схватил и шмелем в магазин. Заскочил, глаза разбежались, но вот оно, красное пластмассовое, ровно 5 марок стоит. Я его, это красное, хвать, продавщица даже «Данке» не успела сказать. Выбегаю и прямо с порога, как матрос Железняк последнюю гранату, кинул эту игрушку в самый их жабий клубок.

Они сначала-то не заметили, сильно душением увлечены были, потом присмотрелись оценивающе и нехотя отвалились одна за другой.

Товарищ мой лежит бездыханный, я ему поделал искусственное дыхание — ничего не помогает. Стал тогда делать «рот в рот», лицо у него порозовело.

Тут туристы наши идут:

— Смотри, Миш, педики паршивые места другого найти не могли, тьфу…

— Да нет. Та, что сверху, с хвостом, — это ж баба. Просто у их здесь свободная любовь.

Я поднялся, говорю:

— А ну пошли к ебаной матери!

— Вот видишь, Миш, мужик это все-таки, а по-русски как чешет — даром что с хвостом.

Я опять говорю:

— Вали, вали, а то сейчас поцелую.

Тут уж они стремглав бросились, а за ними целая свора жаб поскакала с нашей троицей во главе. Мой товарищ уже встал, держит красную игрушку в руках, рассматривает. Я подошел, жду благодарности за спасение жизни. Какое там!

— Ты что, за пять марок ничего получше найти не мог, что это такое, вообще, — какая-то красная херовина. Да что я с ней делать-то буду?

— Родственникам подаришь, да и какая разница — тебя ж чуть не задушили, радуйся.

— «Какая разница, какая разница!» — продолжает он кипятиться. — Пять марок псу под хвост. Ты знаешь, сколько это на рубли будет?

— Во-первых, не псу под хвост, а жабам, во-вторых, вон видишь, две остановились, прислушиваются. И не просто остановились, а окаменели, потому что такого жлобства на своем веку еще не видали. А вот сейчас как опомнятся да позовут своих со всего города, тогда узнаешь, где зимуют раки, омары и другая членистоногая сволочь.

— А и правда, — он говорит, — очень даже неплохая игрушка. Пойдем, Максик, скоро вроде обед.

Мы все на будущее этот его опыт хорошо усвоили. Вслух уже ничего не говорим. Нужно, например, выяснить у товарища сколько вещь стоит? Спрашиваешь. Тебе показывают один палец (но не средний) — значит первый вариант: отдохнут. Два пальца — второй вариант: умоются, три пальца…

Сразу становится ясно и понятно, и все довольные расходятся по своим делам.

Вот однажды Подгородецкий принес на репетицию кроссовки — посоветоваться.

— Мне, — говорит, — купить предлагают за столько-то.

Мы все дружно:

— Третий вариант!

— Вау! Дык они же надувные, и шнурки у них натуральные.

Мы посмотрели:

— Ну, это совсем другое дело. Тогда — первый.

Такие-то вот дела. Только — ТССС! — жабы обо всем об этом никак узнать не должны.

Худшая песня

…мне в четверг обещали билеты в пятницу принести на субботу на «Воскресенье».

(Разговор двух фанов в метро)

Недавно я присутствовал на сольном концерте Андрея и лишний раз поразился образности его стихов. Как он ухитряется укладывать объемную, насыщенную образами мысль в одно коротенькое четверостишие?!

Я много раз баловался стишками, посвященными дням рождения разных своих приятелей, и достиг в этом определенных успехов. Стали приглашать уже совсем малознакомые. Правда, меня частенько заносит, и деньрожденцы после моих поздравлений, бывает, не разговаривают со мной неделями, а пару раз пытались бить.

Написал однажды одному лоботрясу добротное поздравление. Ну, как водится, приложил его фигурально раз восемнадцать, выявил некоторые его «достоинства». Очень стихи ему понравились, он их везде с собой носил и всем показывал. И вот пригласил один раз к себе девушку на предмет «поматросить и бросить». Она, дура, пошла. Он ей сначала все на словах вкручивал, какой он клевый да классный, а потом решил совсем добить — дал стихи те почитать, а сам пока в ванную пошел к своей кошачьей свадьбе готовиться. Она первые три куплета прочитала — и давай бог ноги. Ума хватило. Причем след ее при этом совершенно простыл.

Я даже некоторое время сдержанно гордился очевидной пользой от своих трудов, но по большому счету это было все-таки несерьезно.

Мне все время не хватало того, что Чехов называл сестрою таланта, — краткости, хотя братишка ее все-таки присутствовал.

Придумаю какой-нибудь остроумный оборот, а потом размазываю его на пять куплетов, разжевываю в кашу — все боюсь, что не поймут. Вот этот комплекс, эта дурацкая боязнь быть непонятым и мешает больше всего.

Но самое главное — это вымученность. Как только чувствуешь, что не стихи ведут тебя, а ты их сидишь и придумываешь, так надо тут же бросать это дело. Кто-то из умных

сказал: «Стихи можно писать только тогда, когда их НЕЛЬЗЯ не писать» (так и хотелось подписать: «Ленин»).

Я много раз видел, как где-нибудь в темном холодном автобусе во время длинного переезда Андрей, который может спать в любом месте и в любое время, вдруг поднимал голову, на ощупь находил свой очередной толстый блокнот и записывал, буквально не открывая глаз, строчку или две.

Вот так рождается большинство его песен, от которых потом стонет полстраны. Они рождаются САМИ.

Несколько лет назад, когда «Машина» еще состояла при Росконцерте, какое-то тогдашнее начальство настоятельно порекомендовало Макару написать к готовящемуся юбилею по случаю победы над ФРГ пламенную песню.

Он потом сам рассказывал, что честно пытался, ничего не вышло: очень трудно писать по приказу, да еще о том, чего сам не пережил. Самое интересное, что месяца через три песня все-таки была написана, но получилась оно САМА. И какая песня! «Я не видел войны — я родился значительно позже…» — одна из самых честных и лучших. Года три она украшала концерт, в общем-то, рок-музыки, и ни один растрепанный фан не крикнул в это время: «Поворот» давай!».

Шикарную песню Андрей написал и для документального фильма о фронтовых кинооператорах, тоже пропустив ее по-настоящему через себя — так уж он работает. Прозрачные, чистые образы — каждый раз думаешь: как же это я сам не додумался?

И чем проще и доходчивей была песня, тем с более парадоксальной страстью народ бросался ее толковать. Конечно, было это во время информационного голода и застоя, сказывалась жажда свежего воздуха, и когда его не было, люди пытались его придумать.

Шел Андрей Макаревич как-то по улице во время дождя. Небо серенькое, дождик тоже какой-то ненастоящий, настроение — так себе. В общем, довольно неважно все. Придумалась песенка о том, что вот, мол, — дождик, небо — серенькое, все — так себе.

Не песенка, а баловство, разминка ума. Она и не игралась практически, а народ все равно узнал.

Это было время, когда «Машину» с удовольствием, достойным лучшего применения, долбали все кому не лень. Только что прогремела ураганная статья «Рагу из синей птицы», подписанная целой дюжиной сибирских деятелей культуры, больше половины из которых, как потом выяснилось, на тех концертах в Красноярске вообще не бывали, а просто выполняли чье-то указание. Не хочется даже кратко пересказывать: отвращение охватывает. В общем, статья плохая. Помещение

редакции «Комсомолки», напечатавшей этот пасквиль, было завалено злобными ответными письмами в защиту группы.

В очередной раз «Машина» обрела мученический венец и статус борца за свободу. Уже тогда говорили, что песни Макаревича даже не двусмысленные, а «трехсмысленные». И тут появляется песня про дождик…

Народ не обманешь! И ежу понятно — песня про Сталина.

— Про какого Сталина, про Хрущева! — кричали другие. Третьи молчали, снисходительно улыбаясь: чего с дураками спорить. Ведь совершенно ясно: песня про Брежнева.

Ожидавшиеся после выступления «Комсомольской правды» ужасающие репрессии не последовали, что-то там у них не сработало, налаженный механизм засбоил, но зато группу стали душить худсоветами.

Почти перед каждой поездкой или незначительным обновлением репертуара устраивалась «сдача программы».

Обставлялось это все помпезно: в огромном зале на полном комплекте аппаратуры со светом и дымом артисты за полтора часа в сотый раз должны были доказать свое право выступать перед зрителями. А в зале находилось человек десять-пятнадцать — комиссия. Затем в специальной комнате с бутербродами и «Фантой» (боюсь, что и не только «Фантой») происходила комедия обсуждения. Допускались туда из наших только А.В. Макаревич и В.И. Директор, остальные в волнении топтались в местах для курения. Насколько я помню, ничего конкретного не говорилось. Расплывчатые формулировки «подработать», «обратить внимание» и т. д.

Позже они усовершенствовали тактику, увеличив комиссию до сорока и более членов. Тогда, сославшись на отсутствие кворума, можно было спокойно перенести прослушивание на недельку-другую вперед. Причем об этом сообщалось почему-то уже после концерта. Наверно, посчитаться заранее было трудновато (ой, это я себя три раза посчитал), а солнечное искусство «Машины» благотворно влияло на математические способности — тут-то все и выяснялось.

Наконец партия и правительство начали проявлять нетерпение: есть такая группа «Машина времени» или нет, может она выступать перед широкими трудящимися массами или не может она выступать перед широкими трудящимися массами?

Нам конкретный ответ требовался не меньше, чем правительству, но получить его было крайне трудно. Время было смутное: уже пробивались первые ростки если не демократии, то хотя бы здравого смысла, и за решительное «нет» можно было получить по шапке так же, как и за решительное «да».

Наша тактика сводилась к тому, чтобы любыми средствами обеспечить стопроцентную явку комиссии на прослушивание. Их же задача состояла в том, чтобы всеми правдами и неправдами избежать пугающего конкретного ответа, а значит, кворума не допускать.

Мы распределили членов комиссии по количеству своих и приятельских автомобилей, чтобы организовать доставку туда-обратно и устранить хотя бы одну из причин неявки — транспортную. Но аппаратные игры оказались куда интересней, чем предполагалось. Члены были разбиты по ареалам обитания. Я обслуживал «куст» Сокол — Хорошевское шоссе. Сначала нужно было позвонить, дома ли, а то стоишь потом, целуешь закрытую дверь, а он с той стороны дышит. Ладно. Звоню:

— Здравствуйте, Зураб Моисеич! Это имярек Капитановский. Через двадцать минут буду у вас.

— Зачем?

— Сегодня же двенадцатое, «Машину времени» слушать и одобрять.

— Не помню я чего-то. А кто будет?

— Все.

— А кто все? А Крапивин, а Одоровская, а Слепак?

— Да все, все. Одоровская сказала, если Зураб будет — приду.

— А я буду? А я-то, наверно, и не буду, я только что ногу сломал.

Так мне эту гадость надоело вспоминать, прямо тьфу! Да что там говорить! Где они все сейчас? Слепак этот, Зураб Моисеев сын, Одоровская? Кто их помнит?

А великолепная «Машина времени» свой двадцатипятилетний юбилей справляла на Красной площади, между прочим. И с этого момента закончилась история площади как символа эпохи темного советского царства.

Не все, конечно, тогда так уныло было. С некоторых пор группа стала иногда неожиданные подарки получать: то афиши быстро напечатают, то костюмы приличные пошьют. Дело в том, что бывшие юные поклонники «Машины» как-то незаметно подросли, а некоторые из них за ум взялись и большими начальниками заделались. Вот и помогали по старой памяти чем могли.

Пришел однажды Андрей на прием к чуть ли не замминистра дела группы обсудить. Тот из-за стола встал, руку подал:

— Присаживайтесь, пожалуйста, дорогой Андрей Вадимович, какие проблемы? Я, — говорит, — помню, как мы с ребятами на ваш концерт по трубе лазали. Если вы по поводу аппаратуры, так

я в три секунды все подпишу.

И действительно, все вопросы решил и подписал. Потом до дверей провожать пошел и спрашивает:

— Ну, а вообще, как оно ничего?

Андрей поблагодарил, конечно, говорит:

— Спасибочки, да все нормально, только шьют мне политический подтекст к простейшим песенкам. Глупость какая!

— Это про дождик, что ли? Ха-ха-ха! Дураки какие! Да вы вниманья не обращайте, мало ли. Идите спокойно, творите, радуйте нас своими песнями.

Затем вспомнил что-то, оглянулся, дверь притворил и спрашивает:

— Ну, между нами, все-таки про кого? Про Гитлера или про Сталина?

Часто спрашивают: почему у «Машины» нет практически песен про любовь? Андрей считает, что, наоборот, все его песни о любви. Ведь он трактует это понятие значительно шире, нежели просто отношения, связывающие мужчину и женщину.

И еще, я думаю, любовь — это настолько интимное дело, что кричать о ней «под фанеру» во Дворце спорта где-нибудь в Епидопельске по крайней мере бестактно.

Чудовищный шквал третьесортных песенок про «я тебя люблю» не только прививает дурной вкус, но и опошляет само чувство.

Конечно, глупо было бы требовать от поп-культуры доверительной любовной лирики, с которой обращаются к читателю хорошие поэты, ведь и обращаются они «один на один», а не к десятитысячной аудитории, но уж хотя бы можно было воздержаться от откровенного хамства и пошлости.

Однажды, будучи сильно влюблен, я попытался всерьез написать хорошие, добрые стихи о своих переживаниях. Мечтал вложить в них всю душу. Создать нетленное произведение. Старался изо всех сил целую неделю, но душу вложить так и не удалось. Все получалась какая-то пресная жвачка, и так я эти красивые слова замусолил и залапал, что и сама моя любовь к той девушке прошла, превратившись в стойкое отвращение.

Долго я мучился от собственной бездарности. Как же так, ведь все у меня было: и переживания, и нежность, и кое-какая страсть — а лучшая песня всех времен и народов так и не вышла.

Но мы не привыкли отступать — так, кажется, пелось в ныне уже покойном киножурнале «Хочу все знать». Коль у меня не получилась лучшая песня, попробую-ка написать самую худшую.

Если вы думаете, что написать худшую песню проще простого, вы глубоко заблуждаетесь. Оказалось, гораздо труднее,

чем я ожидал. Для начала пришлось себя представить лопоухим болваном, мучающим композиторов безумными текстами, вжиться покрепче в этот образ. Это-то мне удалось без труда. Достаточно было дня три кряду посмотреть телевизионные музыкальные программы и купить пиджак в крупную полоску. Затем по всем правилам я должен был на последние деньги приобрести подержанную пишущую машинку или по крайней мере обзавестись парой толстых поэтических тетрадей. Выбрал второй вариант (по жабьему принципу). Дальше уже все как по маслу покатило: придумал «либретто», за каких-то два месяца при помощи силлабо-тонического стихосложения облек его в поэзию, отшлифовал по углам, подбил бабки, спустил на тормозах на мягких лапах, провентилировал вопрос, посмотрел на мир широко открытыми глазами, вызвал на ковер и изящно переписал одноцветной шариковой ручкой. Получился вот такой шедевр:

Солнышко светит, цветочки цветут,
девичьи глазки мне спать не дают,
брови — дугою и нежный овал
крепко мне в душу однажды запал,
и белый свет мне не мил уже стал.

Больше не стану я выпить нигде,
и подниму я успехи в труде,
первым в работе стараюсь я стать,
станешь тогда ты меня замечать
и свиданья свои мне обещать.

Радуга в небе, и птички поют,
двое влюбленных по травке пойдут —
я твою руку возьму в свой кулак.
светят мне губы твои, как маяк.
будет с тобой у нас счастье — ништяк, вот так.

Стану хвалить я одежду твою,
скажешь тогда ты мне робко «люблю».
будет счастливая наша семья,
вместе поедем в другие края,
потому что люблю тебя я.

Вот примерно в таком разрезе, а особенно, как я считаю,

удался припев:

Дождик капелью стучится: кап-кап, —
купим с тобою мы плательный шкап,
поезд колесами дробит: тук-тук, —
ты — мне друг и я — тебе тоже друг.

Причем в первоначальных вариантах вместо «купим с тобою…» было «стану ходить за тобой как араб», но, твердо решив воздержаться от политики и национального вопроса, я переделал на бесполый «шкап».

Полюбовался на произведение, представил, как поет его какой-нибудь серьезный певец в сопровождении оркестра, и так мне стало приятно — прямо кайф. Уж так плохо написано, что очень хорошо. Кайф наоборот.

Мне еще в армии узбек один рассказывал анекдот: «Жил-был один пастух. Курил анашу с самого рождения. Курил анашу с самого первого утра и до тридцати семи лет. И, видимо, к ней привык. А потом в день своего тридцатисемилетия встал с утра и хотел покурить, а анаши-то и нет, кончилась вся. Послал он вниз в деревню мальчишку, а тот вернулся только под вечер. Таким образом пастух впервые за тридцать семь лет целый день не курил. И такой от этого словил кайф! Кайф наоборот».

Итак, закончил я творческий процесс, отпечатал в трех экземплярах, название придумал залихватское «Песнь о любви» и побежал всем показывать. Однако настоящего искрометного успеха не имел. «Слабовато, — говорят, — а местами не в размер». И никто ведь не сказал: «Козлиная ты рожа!»

Я, честно говоря, такой критики не ожидал. Обескуражился. А меня утешают: «Ладно уж, не расстраивайся — бывает хуже».

Как же, думаю, хуже? Опять не получилось? Еще раз перечитал — хуже некуда. Расстроился по-настоящему: ни хрена из меня не получается. Но я упрямый, это дело сразу не бросил.

Работали мы в одном концерте с композитором, автором нашумевших шлягеров «Вишневая метель» и «Татьянин день», в общем, с Мигулей. Сидит он как-то у рояля между концертами, что-то наигрывает, тут я к нему со своим эпохальным и подкатился. «Вот, — говорю, — Володя, текст не посмотрите?» Он видит, что я не с улицы, а вроде как при артистах, поэтому сразу-то не погнал. После первых двух строчек его перекорежило всего. Я обрадовался, но скрываю. Он взял пару аккордов и говорит: «Как-то у вас тут с размером — не того». Я его горячо заверил, что

в одну секунду подработать могу, только бы музыка была хорошая (на самом-то деле я над размером целый месяц бился, все старался, чтоб погадостнее вышло).

В общем, он еще некоторое время попел, страдая, мой «шлягер», потом говорит: «Ладно, вы мне экземпляр оставьте, я на досуге подумаю и вам сообщу».

Так все-таки настоящего торжества и не получилось. Понимаете, не было у меня стопроцентной уверенности, что песня худшая. А когда я по телевидению услышал: «Плейбой — клевый такой, мой милый бейби, одет, как денди, с тобой я — леди, я так люблю тебя», — меня охватила черная зависть и окончательно стало ясно: не в свои сани не садись. И я бросил это дело.

Хотите верьте, хотите проверьте,
Сегодня я из-за всяких дел
Был ненароком в Росконцерте,
Нога на ногу в коридоре сидел.
Вот бежит в пиджачке — брови в нитку,
Невысокий, лет шестьдесят — не поймешь,
Очки роговые, глаза навскидку,
Обувь — платформа, брюки — клеш.
Что он думает себе? Не знаю,
Хоть и пиджак его из-за границ,
Сколько таких вот, как он, встречаю
Здесь, в вестибюле забытых лиц.
Аккомпанировал раньше певице,
Фельетончики пошлые со сцены читал,
Теперь рассуждает о силе традиций,
О том, соберет ли «Машина» зал.
Шибко они тут все деловые,
Необходимость свою ощущают вполне,
Коридором сквозь дыма клубы густые
Идут, все заботятся обо мне.
Сколько таких учреждений разбросано,
Сколько курящих там трудится дам!
Артисты! Играйте, по вашим вопросам
Давно уж написан бумажный хлам.
Сюда бы сейчас побольше дуста
И взять бы швабру, вычистить грязь.
Все хорошо, вот только искусство
Плачет, страдает, криком зайдясь.

Почти В.В. Маяковский
(Впечатления от разового посещения Росконцерта)

Пылесос

«…И пусть ястребы Тель-Авива дышат в кислородные подушки Вашингтона».

(Из радиопередачи)

Я всегда очень верил нашим газетам, радио и телевидению. Вот по радио говорят: «Невесело поют нынче соловьи в Булонском лесу» — значит, невесело. Весело соловьи могут петь только в Нескучном саду.

Наши вообще очень удачно всегда долбали капиталистическую заграницу. И слова были изобретены специальные: мир чистогана, город желтого дьявола (это на золото намекают, которое у нас-то никто не любит), желтая — она же продажная — пресса.

Очень хорошо и красиво можно было сыграть на противопоставлениях: у нас — «просторно раскинулись жилые микрорайоны», у них — «дома теснятся в каменных джунглях»; у нас — «счастливо трудятся», у них — «изнывают под гнетом»; у нас — «с каждым годом растет благосостояние трудящихся», они — «прозябают в нищете»; мы — «живем», они — «ютятся» или чего-то там «влачат», кажется, «свое жалкое существование».

Еще с раннего детства хорошо помню такой шедевр газетной карикатуры. На портрете изображен тогдашний секретарь Организации Объединенных Наций. Под портретом надпись — Даг Хаммаршельд. Около портрета стоят двое рабочих в комбинезонах и с молотками (видимо, во время обеда). И один говорит другому: «Смотри, пишется Даг, а читается наоборот». Вот так — просто и элегантно — проклятый гад Хаммаршельд.

И даже совсем недавно в одной из центральных газет после огромной статьи о наших очередных победах я под рубрикой «За рубежом» увидел такие строки: «Этой зимой в США от холода погибло более 854 человек».

От какого, к чертовой матери, холода?! Что, прямо на улице замерзли или простудились, а потом слегли? А точно ли более 854 или все-таки менее?

А специальная «плохая» музыка? Многие, наверное, помнят киножурнал «Иностранная кинохроника», который можно было смотреть без дикторского текста и с закрытыми глазами. Сначала шла веселая «траляляшная» музыка. Это значило, что в Венгрии

вошел в строй новый комбинат, потом звучали минорные аккорды — ну точно землетрясение в Англии или женский хор рвет душу, открываешь глаза: американские рабочие влачат…

Всю жизнь в конце декабря я слышал: «В обстановке крайней напряженности встречают нынче на Западе Новый год».

Видали как? Нынче — в течение десятков лет, а все — нынче.

На протяжении долгого времени дня за три до «Нового года» я усаживался перед телевизором, чтобы не упустить момент, когда Запад, находящийся постоянно в обстановке крайней напряженности, наконец-то лопнет. Но этого почему-то не происходило.

Позже у меня появился видеомагнитофон, и я стал записывать особенно выдающиеся «шедевры» дикторского искусства. Я подчеркиваю — именно дикторского. Так как сами по себе демонстрируемые сюжеты совершенно невинны.

Судите сами. На экране изображается одна из центральных улиц какого-то западного города. От дома к дому протянуты пышные гирлянды. Улыбающиеся прохожие, отягощенные красочными пакетами, спешат по своим делам; сверкают разноцветными огнями празднично украшенные витрины.

Дикторский текст: «Ничто не напоминает нынче (опять нынче) в Лондоне о Новом годе».

Ну, конечно же, ничто; ведь за границей праздники не празднуют, а стараются «хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных проблем».

Следующий сюжет. Показывается ирландская группа «Ю-Ту», выступающая в небольшом клубе, а затем улыбающаяся женщина, которая моет окно.

Текст: «Не сразу пришел успех к молодым талантливым музыкантам. Раньше они играли в рабочих кварталах, но не всем повезло так, как им, — некоторые вынуждены сами зарабатывать себе на хлеб». («Некоторые» — это, наверно, про бабу и окно.)

И последнее. В Нью-Йорке — рождественская неделя, кругом клоуны, Микки-Маусы. На углу стоит веселый Дед Мороз, останавливает каждого прохожего, поздравляет и вручает маленький пакетик. Люди разворачивают, и многие сильно радуются.

Диктор (с нескрываемым презрением и уничтожающим сарказмом): «А вот и американский Дед Мороз — Санта-Клаус, но он дарит прохожим далеко не подарки, а всего лишь лотерейные билеты. Немногие выиграют в эту новогоднюю лотерею».

Вскоре нашим средствам массовой информации стало как-то уже не до лотерейных билетов Санта-Клауса, и я боюсь (к моей радости), что моя видеоколлекция телесюжетов так и останется

неполной. Нет-нет, да и прозвучат иногда слова «влачат» и «прозябают», но относится это уже не к Западу, а к нам, что, в общем-то, не так уж и смешно.

Все это довольно длинное вступление к рассказу о пребывании «Машины» в США в 1988 году призвано показать, какими примерно сведениями, почерпнутыми из газет, ЦТ и т. д., я располагал об «их жизни и нравах» перед поездкой в эту страну.

Нет, я, конечно, не уподоблялся «мистерам Твистерам», считающим, что по Москве медведи бродят, но был искренне удивлен, не увидев на каждом шагу в Штатах горящих крестов Ку-клукс-клана и валяющихся где ни попадя бездомных, которые «вынуждены сами зарабатывать себе на хлеб».

Если говорить серьезно, то мы действительно знали и знаем об Америке гораздо больше, нежели американцы о нас. Мы ведь черпали информацию из видеофильмов, из музыкальных программ, а они — в основном от своей «желтой прессы».

Раньше по инициативе наших газет неоднократно проводились интервью со случайными людьми в центре Москвы и Нью-Йорка. И что же?

Наш бравый рабочий-комсомолец толково объяснил въедливым американским корреспондентам территориально-политическое деление США и климатические особенности различных зон, а ненароком попавшийся нашим журналистам в Нью-Йорке болван профессор из 15 республик назвал только три: Москву, Сибирь и Волгу. Что и говорит о высоком культурном уровне среднего советского человека, каким я себя и считаю.

А чего?! Однажды Макаревич с Кутиковым и Ефремовым сели и за пять минут на спор записали на бумажке почти 48 из 50 американских штатов, а когда Сашка Зайцев вспомнил, что американские деньги называются не долларами, а «баксами», то все решили, что он свободно может поработать пару лет гидом-переводчиком где-нибудь в Алабаме.

И вот «Машина времени», усиленная для концертной убедительности Александром Борисовичем Градским, летит на «Боинге» в Штаты.

Летим мы на «Марш мира», по инициативе Комитета защиты мира. От кого собирался защищать мир этот комитет — от нас или от американцев, — я точно не знаю.

Самолет прибыл в Нью-Йорк, где мне бывший москвич Миша через решетку передал 134 мятых доллара (все, что смог собрать), потом мы аккуратно пересели на лос-анджелесский рейс и около полуночи по местному времени, слегка замученные долгой дорогой и неизвестностью, растопырились в зале прилета

аэропорта Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Как всегда, никто из нас точно не знал, будут ли встречать, дадут ли суточные и когда придется «мирно маршировать» — прямо сейчас или все-таки немножечко попозже?

Через некоторое время ловкие шоферы в серой форме растащили по длинным лимузинам прилетевших бизнесменов, и мы остались в зале одни, не считая очень бойкой и симпатичной девицы с небольшой табличкой «HARD-ROCK» в руках. Девушка пританцовывала, вертела головой и, беспрестанно улыбаясь, энергично разгоняла табличкой и без того кондиционированный воздух.

Убедившись лишний раз, что кроме нее и нас никого в зале нет, и бросив взгляд на длинные прически Кутикова и Градского, она решительно подошла и с ужасающим техасским акцентом осведомилась, не видали часом мы тут где-нибудь группу из Москвы? А мы-то как раз и видали.

Девушку звали Маделина, она позвала лохматого босого парня Тома, мы загрузили вещи в грузовичок, сели в две машины и по ночной прохладе приехали в чудный дом Маделины на берегу океана.

Еще в этом доме жил непрописанным ее друг Лэни, которого за странный рычащий голос пришлось тут же прозвать Тайгером, то есть тигром.

Они позвонили, заказали пиццу; потом пришли еще несколько друзей, а мы тоже достали разные московские припасы и стали с ними со всеми очень сильно дружить.

Андрей спел под гитару несколько песен в стиле «кантри», была открыта пара баночек икры, а наш Директор, не говоривший по-английски, выразил свою признательность гостеприимным хозяевам тем, что не сходя с места, в уголку, быстро выиграл у Тигра сто с лишним «баксов» в карты, неосмотрительно оставленные тем на виду.

Директор сильно гордился своим выигрышем, и стоило больших усилий упросить его проиграть деньги назад.

К середине ночи обстановка была такая приятная и свободная, как где-нибудь в Малаховке под Москвой.

Два следующих дня мы провели на пляже и вообще всячески красиво отдыхая, посещая маленькие пляжные магазинчики и соседей Маделины, которые проявили к «этим странным, но веселым русским» неподдельный интерес.

Было жарко, кое у кого обгорели плечи, а Саша Градский купил себе красивую шапочку с приделанными к козырьку небольшими ручками и веревочкой. Если дернуть за веревочку, то ручки делали жест, который американцы называют «Fuck off».

Дергал он за веревочку часто, несложный механизм быстро сломался, и руки застыли в постоянном жесте, который уже нельзя было ни отменить, ни изменить. Шапочку пришлось снять.

Мы, конечно, не забыли, зачем сюда приехали, и с интервалом в семь минут пытались интересоваться, где сейчас «Марш мира» и как бы нам к нему незаметно примкнуть, а также задавали всякие робкие вопросы по поводу «суточных».

Несчастные Маделина и Тигр смущенно переглядывались, наконец выдали нам долларов по двадцать, чтоб мы себе ни в чем не отказывали.

День на четвертый выяснилась одна любопытная деталь: наши милые хозяева ни о каком «марше» и не слыхали, а просто узнали от каких-то знакомых, что должны приехать русские музыканты, после чего, испытывая здоровый интерес к нашей стране, решили их принять и поближе познакомиться.

Было не очень-то ловко, но вскоре мы-таки нашли этот «Марш мира», а он — нас, и историческая справедливость была восстановлена.

Михаил Шуфутинский был руководителем ансамбля «Лейся, песня» до 1979 года. Руководителем хорошим — в меру жестким, в меру демократичным. Миша закончил дирижерско-хоровое отделение Консерватории и очень хорошо поставил в ансамбле вокал. Отношения были нормальные, коллектив был на подъеме, и ничто не предвещало скорого расставания с руководителем.

Как-то на гастролях я зашел вечером к нему в номер. Миша говорил по телефону с Москвой, и я стал рассеянно перебирать газеты и книги на его тумбочке в надежде найти какой-нибудь детективчик на ночь — и нашел. Книжечка называлась «Овцеводство в Австралии» и содержала ряд интересных сведений о численности и популяциях бараньего поголовья в этой далекой стране.

Так у меня зародилось жуткое подозрение, что Шуфутинский уезжает.

Кстати о самом слове «уезжать»: в те времена этот глагол не требовал дополнения. Не надо было уточнять, куда и зачем. Если говорили, что кто-то *уезжает*, то всем было совершенно ясно, что конкретный товарищ навсегда покидает Советский Союз ради Израиля, США или Австралии. У Миши с Австралией не сложилось, потому что как раз в тот период австралийцы ввели для эмигрантов возрастной ценз, по которому он с семьей не проходил. Но тогда он еще об этом не знал и на всякий случай интересовался овцеводством.

Через пару месяцев Шу — так его звали друзья — собрал собрание и объявил о своем решении уволиться. Все были в шоке.

Такого еще не бывало; был прецедент, когда целый ансамбль «Самоцветы» ушел от руководителя, но наоборот…

Миша объяснил, что он очень устал от поездок, что не имеет возможности посвящать достаточно времени семье, и извинился перед всеми за то, что он, видимо, вынужден будет объявить нас перед руководством подонками и бездельниками для убедительной причины увольнения.

Мы, обалдевшие, дали полное согласие считать нас кем угодно, а руководство реагировало однозначно, тут же предложив разогнать к чертовой матери зарвавшуюся сволочь, но Миша настоял на своем и уволился один.

Он поступил очень мудро и честно, потому что даже через полтора года, когда он уехал, не имея к «Лейся, песня» никакого отношения, у ансамбля были большие неприятности: размагниченные фонограммы, отмененные съемки, несостоявшиеся гастроли.

Где-то году в 84-м, уже в «Машине», после концерта я вошел в наш «Икарус» и, усевшись, услышал из водительского магнитофона развеселую музычку про Брайтон-бич, небоскребы и т. д. — голос был совершенно незнакомый.

Водитель сказал, что это — какой-то Чухатиньский, последний писк эмигрантского творчества.

Я никак не мог себе представить, что это поет Миша, так как еще в «Лейся, песня» он никогда не пел и, раздавая партии вокалистам, всегда предпочитал сыграть мелодию на рояле. Слух у него был отличный, но что-то не то с дикцией, и он даже немного этого стеснялся.

А тут прямо соловьем разливается. Оказалось, что все-таки Шуфутинский. Видимо, это в «Нескучном саду» соловьи не поют, а в «Булонском лесу» поют, да еще как весело!

На протяжении этих лет я слышал, что Миша был сначала в Нью-Йорке, потом переехал в Лос-Анджелес, и у него там какое-то дело, связанное с рестораном: не то у него ресторан, не то он часто туда ходит. Но адреса не было, а повидаться очень хотелось: вот, мол, я в Америке и не сбежал, а так — захотел и приехал.

Как-то, идя по улице, спрашиваю Маделину, не знает ли она такого Шуфутинского? Маделина, жуя резинку, улыбаясь, постреливая глазами и не забывая качать бедрами, подбежала к телефону-автомату, схватила и сунула мне толстенный справочник. Открываю — и между мистерами Шмуцем и Шутцем коричневым по розовому написано: мистер Шуфутинский.

Я позвонил ему, разговаривал с женой, которая меня не узнала, и выяснил, что мистер Миша будет сегодня вечером в

ресторане «Атаман», который, собственно, ему и принадлежит.

Ребята все взволновались: некоторые тоже знали Шуфутинского еще по Союзу, а другие — просто от возможности сходить в Америке в ресторан.

Я уже упоминал, что разговаривать с Маделиной было бы трудно, даже если бы она говорила не по-английски, а по-русски, но с такой же пулеметной скоростью и ковбойским акцентом; поэтому приходилось отделываться многозначительным «о, кей».

Кое-как договорились, что она заедет за нами в 6 часов на своей широченной шаланде и отвезет в «Атаман».

Все «почистили перышки» и приоделись во все чистое, чтобы предстать перед «владельцем заводов, газет, пароходов» во всем блеске. Градский долго возился с механизмом шапочки, потом плюнул и надел ради разнообразия не черную, а белую рубашку.

Где-то в половине восьмого я уже стал сильно нервничать, потому что Маделина хотя и была женщиной, но все-таки старалась не опаздывать более чем на час — значит, что-то случилось.

Так оно и было. Вскоре она позвонила (переводил Лэни-Тайгер) и рассказала, «что у машины не было номера, а полиция спрашивает, а машина принадлежит одному другу, а друг уехал неизвестно куда, а полиция машину забрала, а она теперь без машины, а в общем, все о, кей, и через 10 минут она будет».

Действительно, минут через десять Маделина явилась на новом «Мустанге», мы погрузились и поехали.

Поинтересовались, у кого она взяла эту тачку и есть ли на нее документы? Ответ был такой:

— Все есть, все о, кей. Я ее по дороге купила.

«Атаман» был просторным рестораном, специализирующимся на французской и русской кухне. Оркестр только что закончил очередную песню, и Миша с радиомикрофоном спускался с эстрады в зал под аплодисменты русско-французского стола.

Я вышел прямо к эстраде, и сюрприз был так сюрприз. Меньше всех, кого он ожидал увидеть, так это меня. Он расчувствовался до слез, я тоже.

Больше того, многие присутствующие сразу узнали Макаревича и Градского, подходили, жали руки, но им сразу было объяснено, что мы приехали не насовсем, а на гастроли.

Вечер прошел чудесно.

На следующий день Миша катал нас по Лос-Анджелесу на своем «Мерседесе», у которого на номере вместо цифр написано «Атаман». Проезжали мимо его дома в самом престижном районе города — Беверли-Хиллз. Подумать только! Еще недавно я смотрел интересный видеофильм «Полицейский из Беверли-

Хиллз», а тут сам разъезжаю.

Миша небрежно вел машину и рассказывал, рассказывал… О том, как трудновато с рестораном без официальной лицензии на алкоголь, о том, что заключил контракт с телохранителями, которые должны защищать его даже против его воли. Тут вот какая тонкость. Если подойдут к Мише незаметно преступманы, приставят пистолет и прикажут отослать телохранителей, то те никуда не уйдут, если только сами не захотят.

В конце экскурсии Шуфутинский все-таки спохватился, что уж очень круто взял, и сказал, что жилье очень дорого, поэтому он не может себе позволить в этом миллионерском районе целый дом, а только пятикомнатную квартиру.

Я немного успокоился, а то ведь известно, что на Беверли-Хиллз живут самые богатые звезды Голливуда и вообще всякие знаменитости.

На Мишиной улице проезжаем мимо одного особняка, перед нами на лужайке дядька черный с детьми бегает.

— Знаешь, кто это? — Миша небрежно спрашивает. — Знаменитый Кассиус Клей, он же Моххамед Али, знаешь?

Я плюнул на все, говорю: «Не-а».

Несколько раз в Штатах в разных городах нас таскали на настоящие приемы со свечами, бассейнами и слугами-неграми в белых перчатках. Все было очень богато, и я поражался, насколько сильную любовь испытывают к «Машине» простые американские миллионеры.

Правда, потом оказалось, что средства, ассигнованные богатыми людьми на такие приемы, проходят как благотворительность, и им за это снижают налоги.

Это не значило, конечно, что с таким же успехом можно было выбросить деньги на помойку, ведь гораздо приятнее их пропить с замечательными ребятами из Москвы, чем снабдить пару сотен бродячих собак «долгоиграющими» резиновыми костями.

Американцы все время улыбаются: неосознанно во сне, дома, на улице — ходят прямо так и улыбаются, а уж если к нему обратиться с вопросом или как, тут уж приходится опасаться, как бы он челюсть не вывихнул.

Еще они друг друга хвалят и никогда не жалуются — всегда все о, кей.

Вот он подходит здороваться: «How are you?» (Как поживаешь?) Надо ответить: отлично, шикарно, бесподобно.

А если буркнуть, как у нас принято: «Ничего», — тут он уже подумает, что у тебя кто-то умер.

Часто спрашивают, уловив малейший акцент: «Откуда ты (или вы)?» Говоришь: «Из Советского Союза». Не понимают. Надо

отвечать: Россия, Москва.

Так что мы еще до развала Союза уже отвечали, что — русские.

Один только раз очень правильно нас поняли. Был сильный дождь, а автобус не смог подвезти к самым дверям гостиницы. Три часа ночи, несемся, гремя сапожищами. На втором этаже открывается окно, и заспанный голос спрашивает: «Откуда это вы летите как сумасшедшие?»

— Из Советского Союза, — отвечаю.

— Так я и думал, — и закрыл окно.

Но вообще к нам все очень благожелательны. Даже, кажется, немножко жалеют.

Пригласили как-то на обед в аристократический гольф-клуб. Америка — страна относительно молодая, к аристократии и к своей старине очень трепетно относится. Однажды на экскурсии достопримечательности показывают: вот здание, ему почти тридцать лет, а вот тому — целых пятьдесят.

Ну разве можно быть аристократом с двадцатилетним стажем?! Но ничего, оказывается, можно.

В гольф-клубе около ста почетных членов: Рональд Рейган, Майкл Джексон и другие суперзнаменитости. Чтобы получить членство, надо внести 150 тысяч да и потом ежегодно отстегивать 50–60, но, как вы понимаете, не в деньгах дело.

Клуб расположен в уже суперфешенебельном месте внутри Беверли-Хиллз, в Бель-Эйр, и славится кухней своего ресторана, чуть ли не лучшей в мире.

Нам показали красивые поля для гольфа, клюшки почетных членов и, наконец, кухню с 15–18 поварами, каждый — мастер какой-либо национальной готовки. Даже двое специалистов по русским делам, наверное, варят им щи.

В просторном обеденном зале 5–6 миллионеров в белых рубашках что-то спокойно ели своими клюшками и на нас особого внимания не обратили.

Клуб считался сугубо мужским, женщины не допускались, но для организатора нашего обеда, голливудского продюсера, который пришел с женой, было сделано исключение.

Мы сели за стол, и после первого тоста за нашу даму элегантный седой продюсер, держа бокал с шампанским (400$ бутылка), произнес буквально следующее:

«Друзья! Всем известно, что самая развитая капиталистическая держава в мире — это США. В США самым богатым и процветающим штатом является Калифорния. Самый известный город Калифорнии — Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе самым фешенебельным районом считается Беверли-Хиллз, а в

центре его находится Бель-Эйр, где расположен наш гольф-клуб с роскошным рестораном, где мы все сидим.

Друзья! Вы находитесь в самом сердце капитализма, к которому ваша страна, к сожалению, выбрала такой тернистый и извилистый путь».

Наш Директор встал и обратился к продюсеру с краткой ответной речью, где сдержанно похвалил Америку и жратву. И мы выпили, как я понял, за перестройку.

Мне так понравился этот стройный и безупречный американский тост, что я изо всех сил постарался его запомнить, чтобы в случае чего воспроизвести. Недавно такой случай представился: приехали знакомые американцы. Я произнес тост, слегка подправив его под наши условия: мол, вот мы все здесь, в Москве, в ресторане «Пекин», в европейском зале и т. д.

Американцы кивали, но мне показалось, что тост настоящего искрометного успеха не имел.

Когда поет А.Б. Градский, я забываю обо всем. Мы знакомы с ранних юношеских лет, репетировали в разных группах в легендарном Доме культуры «Энергетик», я всегда восхищался его уникальным голосом, даже когда он не поет, а так просто, в разговоре. Еще меня очень привлекали бескомпромиссность его суждений и очень здоровое чувство юмора.

С тех пор, конечно, прошло много лет. Градский стал известнейшим певцом и композитором, а я — всего лишь гениальным звукорежиссером и писателем, поэтому не могу называть его на бумаге Сашей, в крайнем случае — Александром.

Так вот, в Америке Александр купил себе стекло.

Будучи человеком предусмотрительным, еще задолго до этой поездки он приобрел огромный «Бьюик» 1972 или 1975 года и с первых дней пребывания в Штатах искал для этой машины ветровое стекло. Нашел и купил.

Стекло было очень большое, а ящик для его хранения — так просто огромный, и в нем хотелось жить. Валандались и таскались мы с этим ящиком исключительно из уважения к таланту и личности Александра.

Как-то раз в Сан-Франциско я был дежурным по ящику. Сижу, привалился к нему, как к горе Машук, и за него отвечаю. Присматриваю, как бы в нем бездомные не расселились или океанский контейнеровоз за своего не принял и не уволок незнамо куда.

Покуриваю тайком запрещенные в США сигареты «Родопи». Их еще президент Линкольн запретил, как пустую трату времени, а под категорию марихуаны они подходят разве что по запаху. Я все сидел и размышлял, как этот ящик завтра волочь в другое

место, и вспомнил кучу всяких историй о громоздких предметах и их перемещении.

У ансамбля «Верасы» была сильная нужда. Нужда была в двух кофрах для перевозки микрофонных стоек. Кофры должны были быть метра по полтора и сделаны из фанеры. Вот те, кому положено, наваляли чертежи и отправили их на завод или, там, в мастерские, где заказ должен был быть выполнен точно и в срок.

Время от времени «Верасы» интересовались, как продвигается работа. Им отвечали, что все в порядке, уже пройден нулевой цикл и заложены первые фанерки.

Через каких-то два года изготовители позвонили, сообщили, что первый из кофров готов, и предложили встречать груз около 15 часов. Филармонические деятели выразили удивление таким пафосом и, в свою очередь, предложили послать своего экспедитора, чтобы он схватил коробку и привез. Но изготовители, сославшись на новую форму обслуживания, стояли на своем.

Встречать вышли всей филармонией.

В 15 часов в ворота вошел спиной человек с флажком, за ним показалось нечто вроде дома средней величины, который на тягачах, тачках и подводах волокли радостные изготовители.

Оказалось, кто-то в среднем звене не вовремя выпил и перепутал миллиметры с километрами.

Чудовище долго стояло во дворе филармонии. Были проекты открыть там дискотеку или рынок, но администрация на всякий случай отказывала.

А чехлы для стоек чья-то жена сшила из подвернувшихся тряпок за 20 минут.

А вот еще. Случилось мне один раз в городе Магадане перевозить довольно громоздкий ящик с ударной установкой.

Я стою на улице с этим ящиком и двумя бойкими местными ребятами, через которых и была приобретена установка, пытаюсь поймать такси.

Машу руками, как ветряная мельница. Но вот одна машина с «зеленым глазом» мимо проезжает, потом другая…

Ребята, посмеиваясь, за мной наблюдают, наконец один, который поглавней, смилостивился над недотепой, говорит:

— Ладно, мальчик, отойди! Кто же у нас в Магадане *так* тачку ловит?!

Вышел он на край тротуара, сунул руки в карманы и стал правой ногой такое движение делать, как девочки в варьете в танце «канкан».

Я думаю: «Во как! Век живи — век учись. В жизни бы сам не догадался», — и действительно, первая же «Волга»

останавливается.

Вежливый водитель аж из машины вышел и к нам направляется. Мой магаданский «канканщик» смотрит на меня — знай наших, но тут водитель как даст ему в табло и уехал. Что уж случилось, точно не знаю. Может быть, не той ногой надо было.

Ребята долго оправдывались, что это «водила» мудак и козел, а я плюнул на местный колорит, достал московский «чирик» (тогда это еще были деньги), взмахнул им, как Кио палочкой, и первый же грузовик, ссыпав уголь на обочину, помчал меня с барабанами в дальние дали.

Работали у нас в свое время трое рабочих: Басов, Шитов и Калахов. Кличка у них была — «три молодца, одинаковы с лица».

Действительно, очень похожи друг на друга: плотные, немногословные, обстоятельные.

Никто о них толком ничего не знал, только однажды Шитов сказал, что брат у него «на шофера кончил».

Работниками они себя зарекомендовали хорошими, меж собою крепко дружили: придут, бывало, утром все с «фонарями» — директор им допрос с пристрастием. «Упали, — говорят, — ударились».

Еще им почему-то очень нравилось быть евреями.

— Мы, — говорят, — евреи: Басман, Шитман и Калахер.

Когда приезжаешь на гастроли в другой город, одним из самых доступных развлечений является дневное посещение местного универмага. Вот в одной украинской поездке приходим в универмаг. Походили, посмотрели, потом, конечно, заходим в музыкальный отдел. Я гляжу, глазам не верю: стоят звуковые агрегаты типа «Маршал». Две колонки одна на другой, и сверху усилитель. По виду ни дать ни взять — фирменная аппаратура, на которой обычно западные «монстры рока» выступают.

Оказывается, местный радиозавод выпускает. И название залихватское — что-то вроде «Ритм» или «Гамма».

Мы эту аппаратуру обступили, гадаем: какова она в деле? Тут откуда ни возьмись трое «евреев» протискиваются. Басман с Шитманом обошли агрегат вокруг, потом, не сговариваясь, схватили за ручки, приподняли, опустили. «Говно», — говорят. А Калахер даже плюнул.

Мы тоже плюнули: чего уж тут смотреть — все ясно. Я этот способ проверки качества взял на вооружение, и, когда в первый раз за ящик со стеклом Александра уцепился, сразу понял — сильная вещь.

Пока я все это вспоминал, дежурство мое кончилось, смена пришла, и отправился я ужинать чем американский бог послал.

Приехали в Даллас, штат Техас. К этому времени «Машина» уже отделилась от «Марша мира».

В плане у нас были записи на очень хорошей далласской студии и пара концертов.

Состоялся даже небольшой концерт в городе Хьюстоне, столице американской космонавтики, где «действующие» русские до этого времени появлялись крайне редко.

Даллас — очень красивый город, очень чистый и благоустроенный (если можно вообще так говорить об американском городе), — в свое время покрыл себя мрачной славой. В Далласе был убит президент Джон Кеннеди.

Мы побывали на том месте, видели здание, с верхнего этажа которого, по официальной версии, стрелял Ли Харви Освальд.

Освальд, арестованный по подозрению в покушении на Кеннеди, вскоре сам был убит Джеком Руби, в свою очередь через месяц отравленным в тюремной камере, развалившейся через три дня на мелкие куски, впоследствии съеденные мышами.

Комиссия Уоррена, занимавшаяся потом расследованием этого жуткого дела, исписав толстенные тома, зашла в тупик, так как свидетели исчезали один за другим. Возможно только будущее прольет свет на тайну убийства. И то вряд ли.

В Далласе было много интересных встреч и контактов, но апофеозом явилось посещение «Хард-рок-кафе».

Не надо думать, что это нечто вроде кафе-мороженого, где играет группа. «Хард-рок-кафе» в мире всего несколько. Это — своеобразный центр рок-культуры. Это — роскошный ресторан, способный удовлетворить самые изысканные вкусы. Это — мемориальный музей, где собраны реликвии, принадлежащие лучшим музыкантам мира: гитара Джимми Хендрикса, одежда «Битлз» и т. д. И наконец, это — престижнейший концертный зал, где выступали и выступают (но только по одному разу) звезды рок-музыки.

Честь выступить в «Хард-кафе» была оказана Элвису Пресли, Стиви Вандеру, «Роллинг Стоунз», Чабби Чеккеру и другим звездам, причем честь обоюдная: заведение очень гордится людьми, занимавшими его сцену, и в ознаменование каждого такого события на площади перед зданием навечно помещается бронзовая звезда с фамилией певца или названием группы.

Сердце любого рокера зашлось бы при взгляде на это созвездие имен, и каково же было наше удивление, когда «Машине» официально предложили выступить в этом замечательном месте.

Ни о какой звезде, конечно, разговора не было (этот вопрос решался спецсоветом), но возможность поиграть на одной сцене с

музыкантами такого масштаба просто потрясала.

Первая (и последняя) очередь, которую я увидел в Штатах, была очередь за билетами на наш концерт. Публика собиралась солидная, так как цена билетов была довольно высока — около 18 долларов, а за десять можно было купить приличные джинсы.

Все, конечно, очень волновались. Концерт открыл тремя песнями Александр Борисович. Пел он по-русски, но зрители были буквально потрясены его вокальным мастерством и этого не замечали. Некоторые в волнении закурили, другие обменивались вполголоса восхищенными репликами. Тогда Градский сделал следующее: оборвав на полуслове волнующий рассказ о приключениях Гарсии Лорки, он, пользуясь буквально тремя английскими словами (типа «Ноу смокинг, фастен белтс»), заставил зал замолчать и прекратить курение, чем поднял престиж советских артистов на небывалую высоту. Об этом взахлеб с одобрением написали утренние газеты.

После этого «Машине» работать было легко, зрители были само внимание, и я даже слышал, как по залу пролетели две мухи.

Еще до поездки Андрей удачно перевел несколько песен, а перед русскими текстами делал по-английски небольшой анонс, так что для зрителей не пропали ни музыка, ни смысл, что было особенно приятно. В общем, большой успех.

В течение всего концерта за моей спиной стояли трое солидных мужчин и очень внимательно наблюдали за моими действиями. Первый был по виду очень похож на продюсера Мадонны, второй явно напоминал продюсера Рода Стюарта, а третий скорее всего являлся продюсером Майкла Джексона. Пришлось мне блеснуть мастерством и хвататься за ручки в темпе шахматного блицтурнира.

По окончании концерта я повернулся к ним и спрашиваю:

— Как вам понравился «саунд звука»?

Один сказал: «Отлично!», другой: «Шикарно!!», а третий: «Бесподобно!!! — и добавил: — Прекрасная работа».

Странно все-таки, как Америка влияет на творческие способности человека. Вот, помню, в Орле после концерта зрители прибегают.

— Где, — кричат, — этот звукорежиссер хренов, надо бы ему руки оторвать!

Это — на родине, а здесь такие важные люди — и «шикарно и бесподобно».

В общем, сижу я, это, и мысленно уже у Мадонны и Стюарта работаю, а может быть, даже и у Майкла.

Тут Макаревич подходит.

— Чего-то, — говорит, — мне показалось, что гитара сегодня была тиховата.

Пришлось срочно в «Машину» «возвращаться».

А мужики те, трое, оказывается поспорили между собой на бутылку виски, что я обязательно что-нибудь сломаю, но просчитались, сволочи.

На вечернем «разборе полетов» вышел небольшой спор о программе, но все согласились, что в целом концерт прошел хорошо; Андрей с достоинством комментировал по-английски русскую часть концерта, а я ничего не сломал.

Александр Борисович, зашедший на огонек, тоже сдержанно похвалил коллектив, но чувствовалось, что у него есть свое собственное мнение о том, кто принес концерту успех.

(Александр всегда относился к «Машинистам» как к братьям меньшим, на что, безусловно, имел право, и позволял любить себя и восхищаться только издалека.)

В ответ на этот демарш я вынужден был тут же наврать, что слышал из верных источников о планирующемся открытии звезды в честь «Машины времени». Градский хохотал так, что стекла чуть не лопнули, и предложил в качестве материала для звезды трехслойную фанеру. Было грустно.

А сон-то оказался, что называется, в руку. Дня через два американцы намекнули, что утром около «Хард-рок-кафе» состоится некая торжественная церемония. (А кое-кто продолжал хохотать.)

Я пошел в магазин и приобрел за 70 центов кусочек жести, подручными средствами обрезал его, придав форму звездочки. Написать фломастером имя и фамилию было уже делом техники.

На следующий день далласцы не поленились устроить пышный праздник в своем стиле. Было все: и небольшой оркестр, и разрезание лент, и торжественное срывание со звезды красного покрывала. В конце церемонии «американские пионеры подарили «Машине времени» галстуки» («Пьер Карден») и т. д. и т. п.

Я положил звездочку Александра на зеленую травку, но показывать кому-либо постеснялся: зачем мне нужен враг на всю жизнь, тем более что поет-то он по-настоящему здорово.

А звезда «Машины» из сверкающей бронзы помещалась где-то справа от Чабби Чеккера и в приятной близости от Элвиса Пресли, и если хвалить после каждого концерта и улыбаться — это способ американской жизни, то отливать и устанавливать звезду с надписью «Time machine, USSR» их никто не заставлял. И это — хорошо!

Сводили нас на новый фильм «Красная жара». В нем советский милиционер, которого играет Арнольд Шварценеггер,

приезжает по делам службы и розыска в Чикаго. Американская полиция активно ему помогает, и все кончается хорошо. Довольно забавный фильм, правда, смеялись мы совершенно не в тех местах, где американцы, ну да неважно, у них свой юмор, а у нас свой.

Присутствовал там такой эпизод. Милиционер Шварценеггер, усталый после самолета, наконец добирается до номера в гостинице, заходит, запирает дверь, бросает свой портфель на диван и включает телевизор. На экране появляется целующаяся парочка.

— Тьфу, это же капитализм, — говорит Арнольд с отвращением и выключает «ящик».

На очередном приеме сосед по столу, который, кажется, присутствовал на просмотре, спросил меня: как мне нравится Америка? Я, желая сострить и намекая на фильм, ответил:

— Это же капитализм.

Через два дня вышла газета, как раз освещавшая пребывание в Далласе «Машины» и присуждение ей звезды.

Большая статья с фотографией группы на первой странице начиналось словами:

«Макс Капитановский — саунд-инженер «Машины времени», — держа в руке стакан с водкой, сказал: «Да, это — капитализм».

Я как прочитал, чуть в обморок не грохнулся. Во-первых, от лживости и продажности американской прессы, во-вторых, от страха, что в Москве узнают. Шел 1988 год, а тут «стакан с водкой». Хорошо помню, что пил из рюмки, а они, гады, что написали.

Да еще Директор на меня долго и выразительно смотрел — прямо мороз по коже. Я решил при случае с этим «щелкопером и бумагомаракой» отношения выяснить.

Случай представился на третий день, во время концерта Рода Стюарта. Нам раздали такие значки «Очень важная персона», дающие возможность ходить за кулисы и в буфет. И вот моя персона увидела в буфете того журналиста, подходит к нему и говорит заготовленную речь, в смысле «ай-яй-яй».

Уж как он смеялся!

— Я тебе, — говорит, — только хорошего хотел. Твоя фамилия в центре газеты появилась, у нас за это люди знаешь какие деньги платят, а тебе — на халяву…

Моя «очень важная персона» все поняла и больше с глупостями не приставала.

Директор меня в Москве не выдал, а руководство почему-то прошляпило.

Концерт Рода Стюарта. Мы впервые присутствовали на настоящем рок-концерте такого масштаба. Огромный полуоткрытый зал, отличная аппаратура, шикарные музыканты, бесподобный Род Стюарт.

Мы как «очень важные персоны» располагаемся близко от сцены. Билет стоит $ 18.50, дешевле, чем на «Машину» в «Кафе», но и зал больше раз в 10.

Слева огромный экран, показывающий всякие мелкие детали: выражение лица, пальцы гитариста или клавишника — великолепное шоу.

В проходах дежурят квадратные мальчики в черных майках — охрана. Зрители беснуются, но в рамках; курят марихуану, но понемногу; пьют виски, но по чуть-чуть — полный кайф. Хрупкая девушка, профессионально сбив с ног тренированного громилу, прорывается на сцену, и Стюарт допевает песню с ней на руках.

Я сидел, разинув рот, смотрел и слушал, а вокруг сорокалетние мальчишки и девчонки пели, танцевали, целовались. У меня зрело неосознанное чувство протеста советского человека, не привыкшего, чтобы было так хорошо.

Одним словом, я собрался УЙТИ. Будучи уже очень известным в Америке человеком, фамилией которого уж полгода как пестрели центральные газеты (стакан водки и т. д.), я представил себе завтрашние сенсационные заголовки: «Капитановский УШЕЛ с концерта Стюарта», «МАКСУ такая музыка не нужна» и т. п.

Пока я смаковал несостоявшееся будущее, концерт незаметно кончился, и мы отправились на банкет-прием, которого Стюарт каждый раз удостаивал сугубо избранных.

Сугубо избранных в Далласе оказалось человек 800. Закуски, напитки, легкая музыка — большой праздник.

Между прочим, я заметил ту девушку, которая охрану прорвала, она как раз с тем охранником и отдыхала — подсадная уточка-то!

Часа через 2 появился САМ и в уголке ужинал со своими детьми. Он явно устал и несколько тяготился шумным обществом. Я-то на всякий случай прошелся мимо пару раз этаким гоголем, чтоб он понял, КТО с него хотел уйти, но сильного впечатления это не произвело.

В результате Андрей был в конце вечера представлен Стюарту, поговорил с ним немного, и они вместе сфотографировались. У Макара фото хранится — РОДИК и АНДРИК.

Но мы с Директором этого уже не видели: у него мечта была у Стюарта на коленях посидеть — не вышло, и мы заплакали и

пошли домой в скромную гостиницу «Анатоль» (двести баксов в сутки).

Почти перед самым отъездом посетили еще один плантаторский дом. С белыми колоннами, расположенный на живописном пригорке среди цветов и деревьев, дом производил впечатление форпоста рабовладения. В воздухе слышались звон кандалов и крики угнетаемых негров. Своеобразное очарование старины не портила даже циклопическая спутниковая антенна, стоявшая на лужайке перед крыльцом.

После обеда, о котором даже говорить не хочется, хозяева предложили освежиться в бассейне. Мы уже привыкли, что бассейны есть почти у всех, а лето в Калифорнии очень жаркое, поэтому с благодарностью предложение приняли.

Бассейн находился метрах в ста от дома и был, наверное, устроен из естественного пруда, настолько хорошо он вписывался в окружающий ландшафт.

Я направился к бассейну и уже издали увидел, что там кто-то плавает. Раздавался плеск, и, как от кита, взлетали фонтанчики воды. Ничего удивительного в этом не было — это мог резвиться дельфин или любое другое морское существо: бассейн был достаточно велик, а американцам никакой закон не писан.

«Дельфином» оказался хорошенький желто-зеленый водяной пылесос длиною около метра. Перебирая маленькими лапками, он ползал по дну и подводным стенкам бассейна и всасывал частички ила и несуществующего мусора, потом всплывал и радостно выпускал фонтанчик воды.

Мы зачарованно смотрели на его работу.

— Сосет, как бог, — сказал кто-то рядом.

Я, наверное, сноб, жлоб и «вещист», потому что, когда меня спрашивают, что мне запомнилось в Америке больше всего, я вспоминаю не небоскребы, не «Хард-рок-кафе», не Голливуд, а вот этот маленький трудолюбивый водяной пылесос как олицетворение рациональности, пользы и комфорта американской жизни.

Наши эмигранты, которых в Америке уже предостаточно, многочисленных родственников, хлынувших в Штаты за магнитофонами, телевизорами и тряпками, полупрезрительно называют «пылесосами».

Если бы эмигранты с самого начала познакомились с очисткой американских бассейнов, они бы придумали для родственников другое название.

Новый год под пальмами

Сколько ни говори «халва», во рту сладко не станет.

(Ходжа Насреддин)

Самым распространенным словом в мозамбикском варианте португальского языка является слово «проблема». По счастливой случайности по-русски оно означает то же самое, поэтому, обладая даже таким минимумом лингвистических познаний, можно запросто обходиться без словаря и многолетнего изучения.

— Ты почему, чертов сын, на полтора часа опоздал? — спрашиваешь у чернокожего водителя микроавтобуса. Причем по-русски.

Он печально закатывает глаза, разводит худыми руками:

— Проблема, сеньор, проблема.

— Какие проблемы, когда у нас концерт через час?

При слове «концерт», которое он вроде бы понимает, шофер несколько оживляется.

— О, музикь, — поднимает вверх большой палец, затем опускает и, тяжело вздохнув, заканчивает: — Проблема.

Опытному советскому человеку сразу становится ясно, что у водителя неожиданно заболел сменщик, а сам он сидел с младшеньким, когда за ним прибежали, и понадобилось время, пока он договорился с сестрой, живущей вообще в пригороде.

Но слово «проблема» было повторено два раза. Значит, по дороге у него еще спустило колесо, а запаску он на той неделе отдал вулканизировать, а у них вулканизатор «полетел», потому что советского производства, а уж сколько они просят купить «Бош», как у счастливца Мбого Раен Того, но они жадничают, а в принципе он музыку очень даже любит.

А вот когда ты еще только договариваешься, чтоб он завтра во столько-то подъехал, тогда пожалуйста, — у него улыбка до ушей и: «Но проблема!» Зато уж завтра: «Проблема, сеньор, проблема!»

В первый день в столице Мозамбика Мапуту — картина: идет по улице «негра»-мозамбиянка. Сзади вместо рюкзака мозамбиенок прикручен — выполняет обязанности зеркала заднего вида (если что, то орет), спереди второй ребенок висит, равновесие осуществляет. В левой руке женщины баул с добром, в правой — сетка с красивыми бутылками из-под пива, при этом

мамаша что-то жует, курит, разговаривает с передним малышом, а на голове у нее сорокалитровый бак с водой. В трех шагах сзади налегке гордо плетется муж, сокрушенно повторяя на ходу: «Проблема, ох, проблема!»

Так что не только у нас женщины по жизни главные.

Одна из самых больших опасностей для приехавших в Мозамбик — заболеть малярией. Нам в Союзе должны были прививки сделать специальные, но уж перестройка вовсю шла, и прививки почему-то отменили. Уже там, в Мапуту, узнали, что все равно было бы бесполезно: вакцина наша для африканской малярии — тьфу. Директор не растерялся и собрание собрал, в смысле — ходить всем по струнке, а то вот один наш летчик по струнке не ходил и это, дал дуба, а другой наш моряк не оберегся и приказал всем очень долго жить, а еще третий кто-то о себе много возомнил и отбросил какие-то предметы, кажется, на которых по льду катаются.

Правда, сотрудники посольства быстро точки над «i» расставили. Оказывается, малярию в основном комары специальные вызывают. По внешнему виду ничем от обычных не отличающиеся, зато по повадкам — очень.

Когда кусают, то заднюю свою часть, так сказать, корму, поднимают и очень похожи в этот момент на приготовившегося стартовать бегуна.

Поэтому как почувствуете, что в Африке вас комар кусает, то не торопитесь его прихлопывать. Надо сначала посмотреть, как он попку держит, а потом уж с легкой (или тяжелой) душой размазать гада.

Тут Маргулис как раз приходит бледный как полотно, показывает на своей белой европейской руке пятнышко — видно, тяпнул кто-то. Все в ужасе. Но посольские товарищи сказали, что у них на всякий случай есть и профилактическое средство, выработанное московской сноровкой и нашей любимой российской смекалкой, — джин. Причем употреблять рекомендуется и до, и после укуса, а если у нас при себе нет, то вот, пожалуйста, пара ящичков.

Женьку вообще приятно лечить, а тут такое дело. Одним словом, с ним все в порядке оказалось, дай ему Бог здоровья.

Впоследствии выяснилось, что комары и водку с коньяком ненавидят, но это было уже наше собственное открытие.

Лучше всех, конечно, на улицах и в других общественных местах смотрелся Петр Иванович. В солидной обширной майке и необъятных шортах он являл собой прямо-таки оплот колониализма в лучшем смысле этого слова. Прохожие и зрители на концертах так и рвались получить от него какие-нибудь

указания, чтобы сломя голову их выполнить, но Петя, помня о том, что Мозамбик — свободная страна, людей не загружал, а подношения принимал креветками и омарами.

Мы жили в многоэтажной гостинице в довольно приличных номерах, то есть номера были приличными до 1974 года, а сейчас электричество подавалось с перебоями, кондиционер не работал, а лифт функционировал вечером, но через день.

Андрей как руководитель занимал престижный номер на двенадцатом этаже и просто поразил меня тем, что уже на третий день в сорокаградусную жару бодро взбегал к себе по лестнице, не теряя ни дыхания, ни хорошего настроения. Я же однажды поднялся к нему в гости, так думал — сейчас умру. Правда, я был с вещами. С бутылкой «Пепси».

Нет, там действительно потолки очень высокие, поэтому пролеты лестничные гораздо длинней, чем мы привыкли у нас. Вот и получалось: их четыре этажа равнялись нашим шести.

Мы однажды решили проверить. Сидим с Маргулисом и Кутиковым у них в номере на шестом этаже, жрем здоровущих креветок, которыми нас наши морячки угостили. Причем Женька еще и кочевряжится.

— Не привык, — говорит, — я к креветкам и другим морским делам. Не моя это пища.

И выбросил недоеденное «чудовище» в окно. Стали считать: «Раз, два, три…» — чтоб прикинуть высоту нашего номера, на какой счет она об землю грохнется.

Вы только не думайте, что мы так уж мусорить за границей привыкли, просто окна на задний двор выходили, а там была такая помойка, что будь здоров и не кашляй.

Так вот, считаем, считаем, как до двухсот дошли — чувствуем: что-то не так. Пришлось еще одну креветку жирную бросить. Уж как она об землю вдарится — за милю должно было быть слышно. До трехсот досчитали — опять ничего. Потом всю оставшуюся жратву выкинули, тарелку и много чего другого — никаких результатов, только, когда уже к вечеру на улицу вышли, на концерт собираясь, увидали: ребятня со всего района с открытыми ртами вверх смотрит: они, оказывается, на лету все пожирали.

Побывав перед поездкой в Ленинской библиотеке и покопавшись в справочниках, я выяснил, что в Африке «горы вот такой вышины», а также «крокодилы-бегемоты, обезьяны-кашалоты и зеленый попугай», и вообще, там очень и очень жарко в любое время года. Поэтому я решил как следует подготовиться и по старой гастрольной привычке создавать максимум комфорта взял из Москвы небольшой вентилятор, которым, когда бывало

электричество, мы с Валерой, поставив прибор точно между кроватями, спасались от жары как могли. Интересно, что если направить в Африке себе в лицо струю воздуха из московского вентилятора, то создается на секундочку ощущение просто очень жаркого российского лета, а если выключить, то тут же бросает в африканский пот. Желая как можно честнее поделиться с Валериком «вентиком», я наладил в нем (в вентике) режим поворотного обслуживания, так что нас кидало в африканский пот каждые десять секунд. За две недели пребывания мой организм, так и ждущий, куда ему перестроиться, радостно перестроился на этот интересный ритм, и в Москве зимой поражал врачей и меня самого ежедесятисекундным вспотеванием. Пришлось выбрать время и вылечиться двухнедельным десятисекундным вставлянием головы в духовку.

Рубли в Мозамбике называются метикалами, и когда нам раздали там первые суточные, я шелестел огромными тысячами, не зная пока, куда их девать. Они были «изготовлены» из еще более гнилого «дерева», чем наши. Купить в местных магазинчиках было особенно нечего, а хранить метикалы было удобно только в банке. Из-под пива.

В общем, проблема. Правда, Директор авторитетно заявил, что можно поменять мозамбийские «деревянные» на какие-нибудь доллары, но на черном рынке. Сказано — сделано. Я знал поблизости от гостиницы пару рынков. Пришел на первый — ну, чернее не бывает. Прямо так черно, что ужас. Самым светлым пятном был я сам. И ни фига: никто ничего не меняет.

Хотел, вообще-то, один со мной на часы мои испанские поменяться, но мне не показались те два банана, которые он предложил: я этот сорт не перевариваю.

Ладно, пошел на второй рынок. Он еще чернее выглядел. У некоторых морды аж в фиолет отсвечивают, и хотя с удовольствием они готовы были метикалы эти у меня взять, но вот насчет того, чтобы что-нибудь порядочное взамен дать — тут уж дудки.

Однажды разыскал я одного местного жителя, который, кроме «проблемы», знал еще много разных слов, даже по-английски. Он мне вкратце поведал, как дошли они до жизни такой. Рассказал в трех словах историю страны и советско-мозамбикских отношений. Я рассказ его, интересный во всех отношениях, здесь и привожу.

«До 1974 года страна наша была колонией Португалии. Португальцы нахально заасфальтировали в городах дороги, провели электричество, обустроили телефонную сеть и понастроили на океанском побережье роскошных туристических

отелей — видел, наверное, сейчас от них одни коробки бетонные остались.

Народ в деревнях да джунглях бедно жил, но справлялись. А в городах совсем нормально — при домиках и при работе.

Потом ваши «врачи», которые «по зову сердца» приехали с эпидемиями бороться, стали при каждом удобном случае народу объяснять, что нельзя рабами жить и надо бы социализму подбавить. И так они к 1974 году народ затюкали, что тот расправил плечи, сорвал многовековые оковы и уволил пожимающих плечами португальцев без всякого содержания.

Первые три дня хорошо было. Приятно, конечно, оковы сбросить, но вот потом лажа началась: то на электростанции винтик открутился, то в каком-нибудь отеле унитаз забился — нужен португальский специалист. А их-то народ прогнал. Ваших, естественно, понаехало видимо-невидимо, но все больше «врачей», а они в «электрических» винтиках не особо рубили — все норовили растить национальные кадры да политзанятия проводить.

Хорошо, что народ наш от природы смекалистый, сразу правильную линию выбрал: как что-нибудь сломается — тут же на помойку, как в отеле канализация забарахлит — бросай его к нашей чертовой мозамбикской матери. Пусть стоит немым памятником колониализма, эдаким укором проклятому прошлому.

Через некоторое время нечто вроде голода наметилось. Ваши-то продуктов и машин нам много подкидывали, но нашлись и у нас нечестные люди, стали это все присваивать. А ООНы и «Юнески» всякие не могли спокойно на наши успехи смотреть и тоже стали продовольствие и другую гуманитарную помощь присылать. Ты уж извини, но тут ваши прокололись немножко. Сбросят, бывало, с вертолетов мешки. Мешки как мешки. С макаронами. И написано на них: «ГОСТ № 2093/176.2320». Только очень знающие колдуны в джунглях могли разобраться, что это — помощь от братского советского народа. А вот ушлые да подлые капиталистические коршуны на каждом своем мешке нахально выпечатывали: «Подарок мозамбикским братьям от жителей ЮАР» или «Дорогому народу Мозамбика от США», а то и «Людям доброй воли от людей очень доброй воли».

Где уж нашим во всем этом разобраться, и случилась война. Вялая такая, продовольственная. Как прослышат, кому положено, в какую деревню гуманитарную помощь подбросили, так пойдут туда и отберут, а те потом у них.

Правительство тоже качается. Позвонят в ваше посольство: «Срочно нам пять «газиков», шесть «уазиков» и тридцать черных

«Волг». А то к американцам пойдем».

Ваши испугаются, с Москвой свяжутся, и «пожалуйте бриться»: в тот же день летит самолет «Антей».

Но, конечно, и Мозамбик в долгу не остается: каждый год по нескольку тонн орехов кешью вам отправляем, как в прорву. Что вы там с ними делаете? Едите, что ли?

И еще мы вам разрешаем у наших берегов креветок ловить, а то развелось их, тварей, — никакого спасу нет. Сколько у тебя времени до концерта осталось? Пойдем, кое-какие достопримечательности покажу».

Мы пошли с ним вдоль океана в сторону бывшей курортной зоны. Он показывал американское посольство, красивые дома состоятельных граждан и даже резиденцию президента, но, конечно, издали.

— Раньше у нас для белых прямо рай был, — продолжал он, покуривая, — как увидит наш на улице белую компанию из ресторана, на другую сторону вежливо переходит. Те тоже не забижали: пройдут — как бы не заметят. А какой народ был честный! Страшно честный был народ. Оставишь, к примеру, на улице сумку с деньгами — никто пальцем не тронет, правда, только некоторое время. Ну, а уж если кого черт попутал, то будь любезен вон к тому столбу.

Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Там посреди пляжа красовался крепкий деревянный столб, с одной стороны полуохватываемый чем-то вроде развалившихся трибун для зрителей.

— Вот за любой проступок — на сутки к столбу.

— Что, и за убийство тоже? — поразился я.

— Убийства раньше редко случались, но и за убийство — все равно к столбу.

— А если жена мужу изменила?

— К столбу!

— А если?..

— К столбу, к столбу, к вот этому позорному столбу.

Я прямо восхитился демократичностью и гуманностью бывших мозомбикских законов и представил себе, как провинившегося преступника привязывают с утра к столбу, как собираются зрители, позорят его как могут, как ему делается нестерпимо стыдно, как прячет он от соплеменников свои бегающие глаза и уже больше никогда-никогда…

Вот насчет «никогда-никогда» — тут я оказался совершенно прав, потому что через несколько часов начинался прилив, океан доходил несчастному, привязанному к столбу, аж до шеи, а зрители кровожадно следили за выражением его лица в то время,

как его под водой заживо пожирали морские рачки и моллюски.

Да, пожалуй, тогда и деньги можно было оставить где ни попадя.

Мы уже вернулись назад к гостинице.

— Вот так и живем — не тужим, — сказал, вздохнув, мой проводник, — совсем богов позабыли, обычаи предков не чтим, а вообще, мой дед, царствие ему небесное, к вашей стране хорошо относился. Занятный был старикашка, все песенки пел. Ну, давай прощаться, а то твой автобус вон стоит.

— Счастливо, — говорю, — спасибо большое. Как же зовут тебя, хороший человек?

— Зовут? А так же, как всех и зовут: Хорст Майер Диего эль Мокамбо.

И он удалился, бормоча: «Проблема, ох и проблема же».

Подумаешь, Хорст Майер Диего! И покруче бывали варианты.

Вот однажды в столице одной из солнечных среднеазиатских республик сидим между концертами в раздевалке Дворца спорта. Жара страшная, кондиционеров, конечно, никаких, ребята устали, сняли душные концертные одежды и отдыхают, пардон, в одних трусах.

Заходит местный деятель в строгом черном костюме.

— Тут, — говорит, — наш самый главный комсомолец республики желает с «Машиной времени» познакомиться. Это ничего, что вы в таком виде, мы не чурки какие-нибудь, все понимаем.

Желает — так желает. Ребята говорят: «Просите!»

В сопровождении еще шестерых «костюмов» заходит невысокий, худенький, тянет узкую ладошку: ЗАВГАР.

Ну что ты будешь делать! Тут даже самые выдержанные отрекомендовались: ГЛАВВРАЧ, СОВДЕП, ЗАМПРЕД и т. п.

Новый год мы справили в буквальном смысле слова под пальмами. Толпы народа, гуляющие по набережной без пяти двенадцать, развлекались тем, что бросали друг другу под ноги маленькие бомбочки, взрывающиеся безопасно, но громко. У нас был концерт в одном из дорогих клубов на набережной, и во время частых перерывов я выскакивал в толпу повеселиться и напугаться бомбочками. Страшно не хватало снега. К счастью, дня через три мы уже уезжали.

Сидим в аэропорту, собираемся домой. Мы с Валерой от нечего делать наблюдаем через огромное окно за прилетающими и отлетающими самолетами. Много мелькает маленьких, нарядных реактивных частных самолетиков, на которых бизнесмены из ЮАР и соседней Зимбабве прилетали в Мапуту по делам.

Прямо перед нами только что приземлился изящный красно-желтый лайнерчик. Не успели аэродромные рабочие подложить ему под колеса стопорные башмаки, как откинулась дверь, являющаяся одновременно и трапом, и двое стройных мужичков в белых рубашках и с портфелями «атташе» сбежали на раскаленный асфальт.

Вместо них в самолетик тут же взошли два других пассажира, люк закрылся, и раздался рев заработавших двигателей. Он явно собирался взлетать.

— Смотри, Максик, они стопоры из-под колес убрать забыли, — сказал наблюдательный Валера, — боюсь, со взлетом — без шансов.

Действительно, пилоту из кабины же не видать, что под самолетом делается, а аэродромные деятели, отвечающие за башмаки-стопоры, наверное, ушли есть бананы.

Я побежал, позвал всех наших, чтоб полюбовались, как сейчас тупые иностранцы облажаются. Все уселись перед окном, как перед экраном, ждем, веселимся.

Самолетик подергался, разогревая двигатели, напрягся и… поехал аккуратно назад. Потом красиво развернулся и дал роскошную «свечу» по направлению к княжеству Лесото.

Спектакль, к сожалению, не состоялся, но мы летели домой, и там нас ожидали наверняка какие-нибудь чудесные дела, каковые и не снились тем двум «башмачникам», которые, кстати, сразу же после отлета самолетика появились, забрали стопоры и подложили их под другой самолет.

Ястребы Тель-Авива

Где-то в 1970-х не то в Ирландии, не то в Шотландии происходил финальный поединок профессиональных боксеров-тяжеловесов.

За первое место полагался необыкновенной красоты почетный позолоченный кубок, а за второе — всего лишь десять тысяч фунтов стерлингов.

Естественно, каждый из боксеров из чистого человеколюбия и благородства хотел оставить первый приз сопернику, и на этой почве у них разгорелся странный поединок.

В первом раунде боксеры продемонстрировали великолепную работу ног, так сказать, бой с тенью, и поразили зрителей шикарными хуками и апперкотами, но каждый в своем углу, так как подойти друг к другу ближе, чем на три метра, они боялись по вышеобозначенным причинам.

Зрители быстро «въехали» в ситуацию и наградили смельчаков в перерыве свистом и топотом. Во втором раунде более слабонервный боксер, выведенный из себя протестующими и улюлюкающими зрителями, сделал все-таки небольшой шаг вперед, чем поверг противника в глубокий нокаут.

Похоже, судьба кубка была решена. Рефери медленно считал до десяти, прекрасно понимая, что считай он хоть целый час — поверженный боксер в себя не придет, а «победитель» в отчаянии рвал на себе короткие боксерские волосы, будучи уверен, что ни на одном базаре больше ста пятидесяти фунтов за кубок не получишь.

Наконец в последнем припадке безысходного горя он пнул ногой нахально подсматривающего из «нокаута» более удачливого конкурента, за что был моментально дисквалифицирован строгим судьей, присудившим ему за неспортивное поведение второе место.

Вскочивший на ноги при этом известии второй спортсмен, считавший, что десять тысяч у него уже в кармане, пытаясь хоть как-то поправить ситуацию, красивым ударом положил судью в настоящий нокаут, но все было тщетно.

На улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве днем очень интенсивное движение. Мелькают «Мерседесы» последних марок, «Тойоты» и даже полуразложившиеся «Жигули». Как во всех жарких странах, в Израиле правила дорожного движения соблюдаются чисто формально; вот и сейчас потертый «Фиат» въехал в лакированный бок какой-то американской «красавицы», движение остановилось, пешеходы и остальные повылезавшие водители окружили место

происшествия.

Владельцы столкнувшихся машин, находящиеся в разных углах этого импровизированного ринга, размахивали руками, доказывая свою правоту, и поливали друг друга такими словами и выражениями, что я, хотя и не понимал ни слова, все же стал озираться по сторонам в поисках потенциальных секундантов для, казалось бы, неминуемого поединка.

Словесная перепалка продолжалась минут десять, но в рукоприкладство так и не перешла. Противники очень профессионально сохраняли дистанцию, и если один из них делал шаг вперед, то второй тут же делал шаг назад, а вместе с ним дисциплинированно отодвигались и зрители.

Со стороны все это напоминало хорошо отрепетированный спектакль.

Наконец Максим Леонидов, бывший лидер питерской группы «Секрет», а в тот момент — популярный израильский певец и наш добровольный гид в Тель-Авиве, объяснил, в чем тут дело.

Оказывается, по местным законам, человек, ударивший кого-либо на улице или в любой другой драке, подвергается автоматическому штрафу в тысячу шекелей (400 долларов), а если этот кто-либо при этом упадет, то штраф удваивается. Деньги за незначительным вычетом налогов доставались потерпевшему, и вполне понятно было, что любой гражданин, умеющий умножать на два, от простого щелчка по носу тут же падал наземь и в конвульсиях валялся там до прибытия блюстителей порядка.

Ну как тут было не вспомнить ту потрясающую боксерскую ирландско-шотландскую историю.

Наши бывшие соотечественники, по эсэнгэшной привычке дающие в «табло» ближнему по любому поводу, переехав в Израиль, быстро от этого обычая избавлялись, а некоторые, пока еще не нашедшие работу по душе, с удовольствием подставляли свою «вывеску» неопытным вновь прибывшим, обзывая их нехорошими словами. Ведь правда приятно объяснить человеку, что ты о нем думаешь, и получить вместе с легкой пощечиной (конечно, сбивающей тебя с ног) 800 баксов.

Рассказывали, что один бывший харьковчанин, решивший таким образом подработать, приехал в аэропорт и напоролся там на бывшего одессита, промышлявшего тем же способом. Не будучи знакомы, они сначала долго и изощренно ругались, а потом расколотили друг другу морды, причем совершенно бесплатно.

После африкано-мозамбикской жары знойное солнце Израиля не показалось таким уж страшным, правда, в это время года

существовала опасность обезвоживания организма, поэтому нам объяснили, что, находясь под солнцем, положено пить как можно больше жидкости. А то какие-то два солдата не пили и засохли насмерть.

Что ж, пить так пить. Жаль, что не уточнили — что именно. Ну, неважно, главное, что никто из нас не засох.

Принимали «Машину» на концертах очень хорошо, ведь в Израиле к этому моменту скопилось уже довольно большое количество понимающих по-русски граждан. Не совсем, правда, задалось с рекламой, но это не наша вина была, а принимающей стороны.

Для того чтобы расклеить на афишных тумбах рекламные плакаты, надо было немного заплатить, а организаторами концертов были наши бывшие соотечественники, не избавившиеся пока еще от своих чудных киевских привычек. Они рассудили так: зачем платить за афишные тумбы, когда можно на стенах бесплатно развесить. А в стране специальная служба существовала, которая ночью всю лишнюю бумагу, размещенную в неположенных местах, срывала. Вот и вышел казус.

Мы с Директором сидим на пляже и этот животрепещущий рекламный вопрос обсуждаем, я говорю:

— Неужели как-то заранее проконтролировать это дело с рекламой нельзя было?

— А как тут проконтролируешь, — он отвечает, — мы — там, они — здесь. Вот скоро София Ротару должна приехать, у нее, наверно, тоже так будет. Ведь настоящая, сильная реклама знаешь каких денег стоит?!

В это время на горизонте над морем показался крошечный самолет. На длиннющем тросе он тащил циклопических размеров плакат, на котором было что-то написано, но из-за дальности не разобрать — что.

— Вон они как изощряются, — сказал Директор, — небось «Кока-кола» какая-нибудь. Тысяч пятьдесят долларов ухлопали, не меньше.

Самолет, как нарочно, сделал небольшой вираж, чтобы протащить рекламу прямо мимо нас.

Уже издали можно было прочить четырехметровые буквы «ROTARY».

Мы с ним разинули рты, смотрим друг на друга, он меня щиплет, я — его: не спим ли.

Казалось, прошла целая вечность, пока самолет не приблизился еще ближе, и я с неимоверным облегчением прочитал маленькие буковки «club». Боже мой! Всего-навсего «РОТАРИ клуб», а мы-то напугались. Надо всегда надеяться на

лучшее.

Но, конечно, самое потрясающее в Израиле — это достопримечательности, святые места.

Приятные, знающие, хорошо говорящие по-русски экскурсоводы — естественно, бывшие ленинградцы и москвичи — показывали в Иерусалиме памятные места, связанные, по преданию, с житием и деяниями Христа.

Вот улочка, по которой жарким полднем 33-го года Иисус нес на Голгофу крест. Она размечена специальными плитками: именно в этих местах земля обагрилась кровью Спасителя.

Вот Гефсиманский сад, где Он был арестован стражниками Пилата, а вон там — Голгофа, место распятия.

Даже не религиозных людей, но людей с воображением при виде Гроба Господня начинало трясти. А что говорить о тысячах верующих, прибывающих сюда со всего мира поклониться святыням!

Наши артисты, которые стали все чаще посещать Святую землю, тоже с большим интересом осматривали храмы разных религий, соседствующие друг с другом, знаменитую Стену Плача и, наконец, сам Гроб Господень, за обладание которым воевали несколько поколений крестоносцев.

Экскурсоводы подробно останавливались на исторических подробностях, на датах Крестовых походов, а наши тоже в грязь лицом не ударяли и на радость экскурсоводам задавали разные вопросы, показывающие нашу твердую позицию если не в религиозной, то в исторической культуре. Так, например, один наш молодой популярный певец, кстати, недавно женившийся[3] на королеве советской эстрады, проявил к Гробу неподдельный интерес, сбив гида с ног вопросом: «А что, правда, ОН до сих пор том лежит?»

У нас, как всегда, к сожалению, времени не хватало, чтобы все осмотреть. Пробежались по-быстренькому по основным местам, и осталось около часа — побывать у Стены Плача.

Уже на подходе стали попадаться солдаты с оружием, и вскоре выяснилось, что к Стене не пройти, так как на площади должно было состояться принятие присяги молодыми израильскими воинами.

Человек восемьсот новобранцев в аккуратной форме расположились строем перед трибуной, на которую вскоре должны были подняться старшие офицеры; говорили, что ожидают министра обороны.

Играла торжественная музыка, толпились с цветами взволнованные родители.

Надо сказать, что в Израиле отношение к армии особенное.

Военная служба считается почетной не на словах, а на деле. Часто на улице можно видеть «голосующих» солдатиков (кстати, ходят они с оружием), и больше минуты, как правило, им ждать не приходится: первая попавшаяся машина останавливается, любой почитает за честь подвезти своего защитника.

Солдаты и офицеры в Израиле питаются одинаково и носят одну и ту же форму — красивую и практичную. Разница только в знаках различия. И еще: устав израильской армии не предусматривает сохранение тайны. Военнослужащий, попавший в плен, имеет право рассказать все военные секреты, если от этого зависит его жизнь. Главная его обязанность — сохранить себя для страны. С нашей точки зрения постулат просто поразительный.

Кстати, о точке зрения — есть такая изящная притча:

Приходит на прием к врачу человек. В высоком колпаке. Доктор спрашивает: «Ну-с, какие у нас проблемы? Что беспокоит?»

Больной печально снимает колпак, и доктор видит, что на его абсолютном лысом черепе сидит большая лягушка. Причем, она как будто приросла к коже головы пациента.

— Боже мой! Как же это произошло? — спрашивает пораженный врач. — С чего началось?

— Сначала у меня появилась небольшая бородавка на задней лапке, — вежливо поясняет лягушка.

Церемония принятия присяги обещала быть очень интересной, жаль, что времени у нас не было, но все-таки протолкались поближе, в первый ряд.

Я стоял и, глядя на солдат, думал: «Вот они — «ястребы Тель-Авива».

С детства меня пугали Америкой, Бундесвером, а уж слово «Израиль» имело прямо-таки неприличный оттенок. Что-то вроде черта или страшного дядьки с мешком, но сейчас, конечно, время другое, поэтому я не очень-то и забоялся.

Пора было уходить. В этот момент раздался сигнал трубы, призывающий к вниманию, и на трибуну поднялись офицеры.

Строй замер, но все-таки сразу было видно, что солдаты эти — молодые, необученные, потому что многие из них продолжали еще вертеться, разговаривать и озираться на вытирающих слезы умиления родителей, а когда несколько «ястребов» заорали: «Эй, «Машина времени»! Макаревич, эй!» — стало ясно, что до настоящей дисциплины им еще далековато.

А так, вообще, ничего себе страна.

Сочи — темные ночи

Темная южная ночь. Вязкая темнота, никакой разницы между открытыми и закрытыми глазами. Я стою на узеньком карнизе, уцепившись за стену всеми своими мурашками. Правой рукой держусь за ржавый штырь, забытый каким-то альпинистом, левой — за майку. Пальцы моих ног свисают над бездной. От свежего ночного ветерка довольно прохладно, далеко внизу мелькают огоньки редких машин, а в голове — мысли о прикованном Прометее. Время остановилось, но вот-вот прилетят орлы клевать печень. Очень страшно, решаю глаза все-таки закрыть…

И начинался-то этот день в Сочи довольно необычно — не с пляжа. С утра пошел небольшой дождь, потом прояснилось, и я отправился вместо моря в зал, где мы работали, посмотреть, что да как.

Аппаратура наша уже стояла, но сцена была занята: заканчивалась генеральная репетиция какого-то смотра, фестиваля или еще чего-то.

В зале маялись человек сто отдыхающих, забредших на громовые звуки тяжелого металла. Звуки издавали бойкие ребята в атласных костюмах.

Потом вышел конферансье и стал что-то настойчиво спрашивать у зрителей. Тут я отвлекся, потому что музыканты за спиной ведущего стали совершать какие-то молодецкие выпады, садиться на полушпагат, а гитарист даже довольно сносно лягнул басиста.

— Вы, глядя на ребят, ничего не замечаете, — напирал конферансье, — ничего? А?

Сам он, естественно, думал о чем-то своем, наболевшем, и на своих вопросах не концентрировался.

— Ну, ничего не замечаете? — в третий раз пристал он к равнодушным зрителям. Те, в свою очередь, присмотрелись повнимательнее, и наконец дядька в третьем ряду громко сказал:

— Да они же все бухие!

— Да нет же, нет! — испуганно закричал ведущий. — Я хотел сказать, какие они стройные и ловкие, а потому, что занимаются карате, и вот как раз сейчас и песня будет о карате.

Прослушав, как «бухие» поют самопальную песню о силе и духе, я вышел покурить.

Когда вернулся, похоже было, что все зрители из зала переместились на сцену и, держа в руках меню, довольно стройно под руководством того дядьки пели кантату «Ленину слава».

«Ленину слава, слава в веках, слава, слава, слава, — пел хор,

не балуя разнообразием, и наконец последним мощным аккордом, от которого задрожали древние стены филармонии, закончил: — Сла-а-а-а-ва!»

— Слава, снимай софиты, — раздался из осветительной ложи простуженный бас.

Я вышел на улицу и мимо красивого транспаранта «Деньги в кассу — искусство в массу» направился все-таки к морю.

Встретил Андрея, обрадовались оба: ну конечно, аж всю ночь не виделись. Он говорит:

— Давай погуляем, потом сожрем что-нибудь, а там и концерт.

Я-то с радостью согласился, с ним обедать всегда здорово: и суп горячий подадут, да и кофе запросто найдется.

Ему тоже со мной приятно. Так-то на улице проходу не дают, а тут я вроде телохранителя, морду зверскую сделаю, то локотком кого ототру, то на ногу вовремя наступлю.

В общем, идем оба, радуемся. Через рынок прошли — ничего особенного. Обычный мощный и высокий звук «с» висит — это когда несколько сотен покупателей одновременно шипят: «Совсем с ума сошли!»

Дальше мимо аптеки идем — очередь огромная, наверное, выкинули что-то. Ведь у нас как? Если «выкинули», то должны тут же моментально «расхватать». Судя по количеству женщин в очереди, «расхватывают» скорее всего вату. Я бы в другом случае их за километр обошел, но Андрюшка на витрине, что ли, увидел для горла хорошее заграничное средство, которым он часто профилактику на себя оказывает и которое в Москве трудно достать.

— Зайду, — говорит, — может, без очереди артисту дадут.

Ну, минут десять ходил орлом перед прилавком, лицом торговал, и действительно, задерганная продавщица подняла голову, уронила вату, обомлела и кричит не своим голосом:

— Зинка! Иди быстрее — Корнелюк пришел!

В общем, купили мы средство и 6 кг ваты и пошли в универмаг.

Насчет Корнелюка-то — это, в общем, редкость большая вышла, а так народ своих героев в лицо хорошо знает, к Андрею на улицах подбегают, требуют автограф, не имея ни ручки, ни бумаги, приглашают на званые и незваные обеды и вообще всячески дают понять, что узнали: кто улыбнется, кто рожу скорчит. Ему-то, конечно, все это страшно надоело, но делать нечего — сам виноват.

Вот и в универмаге идем, люди мы солидные — за тридцать с гаком, и вдруг от компании каких-то вахлаков сопляк разлетелся.

Глаза безумные, слюна течет — хлоп Макара по плечу:

— Андрюха (видали как!), Андрюха! Когда у нас в Сыктывкаре будешь?

Андрей руку его стряхнул, говорит спокойно:

— Завтра, в 8.30.

— Ага, спасибо! — закричал тот и радостный побежал своих обрадовать.

Я помню, в Дрездене пошли в воскресенье в зоопарк, считающийся одним из лучших в Европе. И все бы хорошо, но по случаю праздника туда отцы-командиры советскую воинскую часть привели.

Меня в сторонку оттерли к аквариуму, и тут расхристанный сержант к своим подбегает:

— Кончай, салаги, гуппями любоваться! Там Макаревич живой!

И показывает военный билет, где рядом с подписью военкома размашистое «А. Макаревич». И они, как стадо дрезденских слонов, понеслись куда-то. Мы потом еле оттуда свалили.

В общем, с ватой и улыбками выходим на набережную. Море спокойное, красивое.

Тут же какие-то морячки окружили.

— Мы, — говорят, — с нового краснознаменного украинского черноморского ракетоносного гвардейского крейсера «Князь Мышкин-Таврический».

Я говорю:

— Что-то больно длинное название.

Они улыбаются:

— Ну, мы-то покороче, сокращеннее зовем, — и любовно показывают на бескозырки, — просто «ИДИОТ». Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? У нас на «Идиоте» «Машину» ох как любят.

Не вопрос. И «идиотовцы» строем с песней «Я пью до дна за тех, кто в море» удалились, а мы пошли обедать.

В ресторане хорошо, пусто. Официант быстро подошел — меню и все такое. Я смотрю написано: «Пиво жигул. свеж.».

— Андрюш, давай по бутылочке пивка.

Вообще-то, ни он, ни я пивом не увлекаемся, но на улице жара, и так с борщом пива захотелось. Он говорит:

— Давай, только оно, наверное, теплое.

Заказали. Буквально через 20 минут приносят две бутылки аж запотевшие, как из рекламного клипа. Я обалдел и у официанта спрашиваю:

— А что случилось? Почему пиво холодное?

Официант, молодчага, не растерялся и говорит, разводя

руками:

— Извини, командир, обогреватель сломался.

Короче, поели мы, как я и ожидал, и даже кофе нашелся, и пошли. Андрей — в гостиницу отдыхать, а я — на площадку, об успехе концерта нервничать.

Минут за двадцать до начала сижу в зале за пультом, делаю вид, что все проверяю. Слышу разговор за спиной. Тонкий такой голос мальчишеский говорит:

— Смотри, Хриня, аппаратуры сколько! Наверняка под фонограмму концерт ставить будут.

— Да не, — Гриня отвечает (и правильно отвечает), — «Машина» под фанеру не работает.

Я на этот разговор внимания особого не обращаю. Уж сколько раз умные зрители пытались меня уличить, что, дескать, под фонограмму.

Мне-то эти дела как профессионалу только приятны. Значит, работаю я, как студийный магнитофон.

Но тут тот, с тонким голосом, опять возражает:

— А я тебе ховорю — сейчас усе под фанеру. Давай вон у Робин Худа спросим. Слышь ты, Робин Худ!

Это он на мою прическу с хвостом намекает, но я на такую дешевку не покупаюсь, продолжаю своими делами заниматься.

— Слышь, ты, Робин Худ членов, оглох, что ли, в натуре? Фанера или нет?

Ну, скажу я вам, я прямо весь закипел. Кто такой он и кто такой — я! Надуваюсь, как колбаса, думаю: ну, сейчас порву на фашистские знаки. Оборачиваюсь и вижу: сидит парниша на трех креслах, грудь у него такой ширины, что на майке десятисантиметровыми буквами легко умещается лозунг «Учиться упорно военному искусству!». Причем в слове «упорно» буква «у» написана вроде бы отдельно, что несколько меняет цитату.

Он опять переспрашивает:

— Фанера или нет?

Я, как хороший компьютер, за доли секунды перебрал возможные варианты ответа и остановился на смелом «Нет».

— Ну вот видишь (это Гриня). Я же тебе говорил.

Начинается концерт. Хотя это мой уже где-то полуторатысячный, работы много: в этой песне надо особенно собраться — трудна для разборчивости, вот здесь можно и расслабиться, а вот несколько любимых песен, тут все в кайф.

Двое основных шоуменов группы Маргулис и Подгородецкий стараются вовсю. Саша Кутиков, сначала не одобрявший балагана на сцене, впоследствии несколько смягчился и сейчас с

удовольствием подыгрывает в мизансценах. Андрей сдержанно улыбается.

Как все добрые жизнерадостные люди, он очень смешлив. Его может рассмешить буквально все: и стоящая за кулисами с открытым ртом собака, и чересчур пьяный, обманувший охрану зритель, отплясывающий гопака на сцене в медленной песне, и, конечно, Петькины искрометные фортели.

В этих случаях Андрюша бросает петь, и инструментальная часть композиции удлиняется.

Редко ли, часто ли, но хохотали на сцене все, а как известно, особенно трудно одновременно хохотать и петь (это в опере легко), поэтому наши пытались использовать различные народные способы, чтобы прекратить безобразие. Например, щипать себя до синяков, бить по щекам и т. д.

Ведь чтобы предотвратить чихание, достаточно погладить себя по переносице (так, во всяком случае, утверждают).

Наконец Андрей решил пресечь этот некоторый волюнтаризм и как раз в этот день перед концертом авторитетно обучил остальных единственно верному и безотказному способу — нужно перекрыть доступ информации. Для этого необходимо всего-навсего на секундочку закрыть глаза и заткнуть уши.

Я тут же попробовал, и действительно, стало очень грустно. Но Петька сказал, что все это ерунда, и обещался на концерте скакать таким козлом, что ничего не поможет.

Андрей вышел полный решимости и до контрольной «козлиной» песни держался просто-таки молодцом.

Петр Иваныч сделал цыганский заход и выкатился клубком к ногам Макара, затем, превратившись в располневшего кенгуру, пошел вприсядку.

Андрей улыбнулся один раз, потом на первую улыбку набежала вторая, затем третья. Он бросил играть, перестал петь, закрыл глаза, заткнул уши и последующие 20 минут хохотал уже AD LIBITUM (без сопровождения).

Тем временем под громовые аплодисменты концерт кончился. Ко мне подошли несколько зрителей с вопросами и претензиями. Опять дурацкие понты про фонограмму, правда, один умник с Украины пошел еще дальше и ошеломил меня вопросом:

— А вот ваш ударник палочки крутит взаправду чи это видеозапысь?

Только я от него отбился, разъяснив, что это компьютерная графика, как еще трое подваливают.

Дело в том, что в одной из песен «Она мечтает свалить из СССР» уже в конце Маргулис в своей негритянской манере пел

некие подпевки без слов. Потом выяснилось, что для этого места шикарно подходят стишки: «Эне бене раба, квинтер финтер жаба». Так Женька время от времени и пел, а на этом концерте, увлеченный Петькиным шоу, спел обычный вокализ — без слов.

Вот и подходит ко мне какой-то тип с носом и дружками и с шашлычным акцентом говорит:

— Здравствуйте, я — жаба.

Я посмотрел на него — не очень похож. Хотя…

— Почему сегодня про меня не спели? Я вчера был на концерте — пели, а сегодня привел старших братьев — так нет. Они, кстати, тоже жабы.

Я посмотрел на старших жаб. Да нет — обыкновенные козлы.

Ну, я человек вежливый.

— Извините, — говорю, — граждане жабы, такого больше не повторится.

— Да не жабы, а Джаба — это наша фамилия.

— Тем более. — Я посмотрел задумчиво на все еще хохочущего на пустой сцене Андрея и пошел к выходу. Тут все и случилось.

Прохожу еще мимо гримерной комнаты, а там к Кутикову подлетает какой-то ухарь и орет:

— Ты, что ли, бас-гитара?!

Саша посмотрел на него, как на пустое место, и ответил с достоинством:

— Я — человек!

Тот:

— А, спасибо, — и убежал. А ко мне девушка с цветами подходит. Ну, не то чтобы мне на концертах вообще цветов не дарили, но не так уж и часто. Поэтому я к ней особенное внимание проявил и даже спросил, что она вечером делает и не хочет ли пройтись со мной в гостиницу и поговорить там о поэзии и литературе.

А она просто так отвечает, зачем, мол, в гостиницу, если у нее квартира есть, и вообще, она на меня весь концерт смотрела, только выпить у нее дома ничего нет.

А я красивый тогда был и загорелый, как свинья, — ну чистый Робин Гуд. Побежал в буфет к Людке и хапнул две последние бутылки шампанского.

— Далеко, — спрашиваю, — идти-то?

— Да нет, — отвечает, — только в гору все, а так — прогуляемся.

Идем, луны нет, темно как… Сразу вспомнил: «В городе Сочи — темные ночи».

Через полчаса я уже все проклял. По моим подсчетам, мы уже

давно вышли из города и должны вот-вот перевалить через Кавказский хребет.

Наконец впереди замаячила какая-то темная громада с редкими светлыми окнами — пятиэтажный дом, стоящий на крутейшей горе.

На первом этаже было что-то вроде магазина, так что пролеты длинные, и к третьему этажу я уже подполз по-пластунски.

Ну, ничего: квартирка однокомнатная, просторная, чуть больше шкафа; девушка веселая, красивая; шампанское цело: я по дороге и нарты бросил, и собак, и продовольствие, а шампанское оставил.

Я девицу-то еще на горе успел два раза поцеловать, сделав вид, что споткнулся, поэтому мы с нею уже как родные сидим, выпиваем.

— Тут туалет-то хоть есть? — спрашиваю.

— Есть, конечно, — смеется, а потом с подозрением: — Фу, какой вы развратный.

Короче, в самый разгар алкогольно-сексуальной оргии раздается звонок в дверь.

Ну, кто бы вы думали? Точно! Муж из рейса вернулся пораньше.

У меня фантазия богатая: я тут же себе представил штангиста-мужа и себя, вылетающего с третьего этажа с продетой в рукавах шваброй.

Вот тут-то она и показала мне настоящее бабское хладнокровие.

— Миш, ты? — кричит. — Я ща, я в ванной (там, оказывается, даже ванная была), — а мне на окно показывает.

Меня, конечно, уже пару раз мужья из шкафов вытаскивали, но вот с третьего этажа «клодвандаммом» выскакивать еще не приходилось.

Она говорит:

— Давай-давай, там карниз есть, — да так уверенно, что ничего другого мне и не остается.

Выбрасываю ноги, нащупываю карниз, а она говорит, чтоб сделал шаг влево — она окно закроет. Я делаю шаг, нащупываю какой-то штырь, вцепляюсь, слышу, как через форточку вылетает мой «Рибок», и абзац.

Если бы все не произошло так быстро, я бы никогда, я бы ни за что…

И вот стою. Упираюсь щекой в шершавый бетон. В квартире ни звука.

Как бы я сделал на ее месте: заманил бы муженька в ванную

(помойся, милый, с дорожки) и выпустил Максика через дверь. Ни фига!

Наконец хлопнуло что-то. Нет, не то. Это у них вторая «Шампань» пошла, потом погас свет, короткая возня, и опять абзац.

Сколько времени — я не знаю, темень, хоть глаз выколи (не мне, конечно, а мужу), — вот тебе, бабушка, и новый поворот.

Делаю еще маленький шаг влево, карниз кончается, дело — труба.

О том, что надо прыгать, да еще спиной, даже думать не хочется. Наконец кое-как перевернулся.

Темная южная ночь. Вязкая темнота. Нет никакой разницы между открытыми и закрытыми глазами. Пальцы моих ног свисают над бездной. Справа далеко внизу мелькают огоньки. Ноги и правую руку уже сводит, пощипываю и растираю их левой.

Очень холодно.

Постепенно низменные мысли о бабах и их кретинах-мужьях отступают, хочется думать о глобальном и вечном — о завтрашнем концерте. Где-то в глубине сознания вспыхивает опасение, что Андрею так и забыли сказать о конце концерта, и мы находимся примерно в одинаковом положении; начинаю нервно похохатывать.

Проходит недели три, и вот в необозримой дали, в толстой осязаемой гуще темноты возникает серая полоска, даже не полоска, а какой-то дрожащий блик. Неужели рассвет?

Закрываю глаза, считаю про себя до сорока семи, открываю — да, начинается рассвет, никаких сомнений. Но внизу по-прежнему темно. Что ждет меня там: острые камни, шипы искореженной металлической арматуры, просто голый асфальт — это важно, это жизненно важно.

Еще раз закрываю глаза, чтобы, выждав, увидеть все сразу. Страшно, ох как страшно их открывать. Потом, испугавшись, что могут пройти еще сутки и будет опять темнота, поднимаю веки.

Прямо подо мною ровненько стоят десятиметровые кроссовки «Рибок», а рядом уложен гигантский макет бутылки из-под портвейна.

Я моргаю, фокус изменяется, и отчетливо вижу, что нахожусь в полуметре от земли.

Теперь проблема слезть. Ноги и туловище окостенели. Отталкиваюсь левой рукой от стены и оказываюсь через мгновение стоящим на земле и обутым в собственные кроссовки. Шнурки болтаются, но нагнуться нет никакой возможности.

После гигантского усилия переставляю левую ногу сантиметров на тридцать, затем подтягиваю к ней правую, потом

еще и еще и через некоторое время оказываюсь перед подъездом с другой стороны.

Без всякого удивления, но с отвращением понимаю, что дом, стоящий на очень крутой горе, имеет с одной стороны пять этажей, а с другой — неполных три. И да наплевать на них на всех.

Местность вокруг напоминает украинскую деревеньку, только дом уродливым зубом торчит на пригорке.

Переставляя «подставки», как Роботек, двигаюсь вниз, в направлении далекого моря.

Пейзаж совершенно деревенский: слева одноэтажный покосившийся продовольственный магазин «Мираж» с примерзшей к нему пригорбачевской очередью, справа глинобитные гоголевские мазанки, украшенные антеннами спутникового телевидения.

Способ, которым я передвигаюсь, напоминает краба или движение иголки у швейной машинки «оверлок».

Со стороны я, наверное, кажусь девушкой, оставившей свою невинность пяти-шести мужикам сразу, или наездником-новичком, проскакавшим миль четыреста по горам.

Наконец останавливаюсь в тенечке около раскидистой палки с бельевой веревкой, хватаюсь левой рукой за веревку, отдыхаю.

Надо же, думаю, как может один и тот же человек быть похожим на все сразу, потому что сейчас я похож на небольшую опору линии высоковольтных передач.

Внизу под моими ажурными пролетами лежит человеческое существо мужского пола лет четырех-пяти. И по недвусмысленной позе, сильному запаху и хамскому выражению на недетском лице безошибочно определяю, что он — «в хлам», хотя издали похож на мертвого.

Судя по загадочному названию продмага — «Мираж», где-то рядом должен находиться и детсадовский вытрезвитель «Детский лепет», куда, наверное, его можно выгодно сдать.

— Ты что это, хлопчик, с ероплана упал? Идешь, как летчик Маресьев с переломанными ногами?

Поворачиваю голову: рядом стоит полная румяная тетка с добрым лицом, смотрит участливо.

— Да вроде того, мамаша, я же советский человек.

Тетка на старом мужнином галстуке держит небольшую козу — или купила только что, или, наоборот, убивать ведет. Коза как коза, только я этих животных уже давно ненавижу.

А то меня как-то в Киеве пригласили сфотографироваться верхом на настоящем горном козле. Я-то, конечно, всегда с радостью, но козел-то уж шибко бойкий. Я пока на него

усаживался, двое его за рога держали, а то он все норовил рогом мне под ребро сунуть. Наконец сел, держу крепко обеими руками. Рога острые, здоровые, как руль у мотоцикла «Харлей-Дэвидсон-750». Ну, сделали они пару снимков и пошли курить. «Догоняй», — говорят. А я, если одну руку отпущу, второй уже не справляюсь: козел прямо в сердце ткнуть хочет, — а уж о том, чтобы два рога бросить, и речи нет. Потом уже узнал, что это у них шутка такая, а так два дня просидел, начал уж от скуки кругами гонять, то рысью, то галопом, объездил как следует и прямо на нем в Москву прискакал.

Все бы ничего, только разгорячился козел, и пахнуть от него стало как… как… ну, натурально, козлом.

Меня подруга моя в Москве встретила, поцеловала, потом принюхалась, глаза заблестели.

— Пойдем, — шепчет, — скорее сексом заниматься. Ты — настоящий зверь.

В общем, тетка с козой говорит:

— Ты, товарищ летчик, насчет ребенка не сумлевайся. Он соседский, а они вчерась на свадьбе вишневку самодельную хлестали, вот он «пьяной» вишни и нажрался. Я сейчас ему опохмелиться принесу, а ты времени не теряй, иди, получай свою звезду героя.

В это время бутуз приоткрыл правый глаз и пробормотал хриплым человеческим голосом:

— А ну-ка пасса, а ну-ка исса.

Как ни странно, я сразу понял, что это он так говорит: «Поди сюда» или «Иди сюда», — но обращается к тетке, наверное, по поводу опохмелки.

Поплюхал я дальше и думаю: чем же она его опохмелять будет? Чем обычно детей опохмеляют? «Педди Грипал» — это вроде для собак, «Вискас» — для кошек. А есть ли, вообще, универсальный рецепт опохмелки, кроме как не пить совсем? Видимо, у каждого свой. Где-то я читал, что рецепт знаменитого американского саксофониста Чарли Паркера начинался словами: возьмите две пинты виски… Ну да ладно, тетке видней. Не впервой, видимо, да и лицо у нее хорошее.

Около филармонии стоят трое жаб, меня поджидают, видно, вопросы еще кое-какие остались. Только зачем вопросы с дубинами в руках задавать.

Я остановился, опешил.

Правда, они как меня увидели — тут же упрыгали кто куда. Мне уже в Москве таэквондист знакомый все разобъяснил. Он раньше на соседа злой был, так поехал в Корею на десять лет таэквондо изучать, потом приехал и расколотил соседу всю морду

лица.

— Покажи, как ты стоял, — говорит.

— Как-как, — показываю, — я и сейчас точно так стою.

Он вокруг меня обошел, бормочет:

— Так, значит, ноги чуть шире плеч, сильно напряжены, глаза пустые, левая рука полусогнута, в правой полуметровый стальной штырь. Так-так. Ну что ж, типичное «Чехиро-сиу-хо» — концепция нападения.

Я говорю:

— Ну, это совсем другое дело.

Я про штырь-то совсем забыл сказать, а надо бы, потому что и пишу я сейчас все это левой рукой. В правой-то штырь от той стены так и остался. Я потом его свободный конец отхромировал — просто загляденье.

Одним словом, приплелся я в гостиницу к трем, позвонил Макаревичу. Он трубку снимает: «Але».

«Слава богу, — думаю, — со сцены уже ушел». И рухнул спать.

Вокально-инструментальный жанр (1978):

Вот девушка сидит в седьмом ряду,
И в душной полутьме наполненного зала
Ее лицо передо мной мерцало —
Никак свои глаза не отведу.

Да, кожа свежая, на носике веснушки,
Ну, в общем, видно, что мила.
А туфли новые и кофту у подружки
Она, наверное, взяла.

Я знаю наперед уже, что будет:
Она мечтает, чтоб я сам
К ней подошел, когда повалят люди,
Спеша с концерта по домам.

И чертик похоти тоскливой
Склонил бодливые рога.
И подхожу неторопливо,
Минутной прихоти слуга.

Дежурной фразой о погоде
Я открываю диалог
И предлагаю в этом роде

Пройти с собою в номерок.

Она пытается, кивая,
Про маму что-то говорить,
А я пока соображаю,
Где можно кир еще купить.

Потом привычно смело с ходу
Даю обзор о том о сем,
Про ГДР, где не был сроду,
Про Пьеху, с кем я не знаком.

И мне все это так знакомо,
Все повторяется подчас
За много миль вдали от дома
Одно и то же, каждый раз.

Хотя закрыты рестораны,
Такси любое торможу
И вот в пакетике «Montana»
Горилку с перцем я держу.

Вот мы дошли уж между делом,
Продрогла девушка совсем
И соглашается несмело
Зайти послушать «Boney M».

Все это здорово, конечно,
Но дверь закрыта — вот те раз!
Откройте парочке безгрешной —
Придется дать швейцару «бакс».

Ну что ж: «Заслонов», водка с перцем,
Любовь поспешная, перед дежурной страх,
Хмельная ночь, оскомина на сердце —
И плачет девушка наутро в номерах.

И не одна она рыдает —
У музыкантов в сердце лед —
Пусть плачут женщины — состав наш уезжает,
Афиши сорваны, давно автобус ждет.

Нас снова ждут гостиницы плохие,
Площадки тесные, удобства во дворе,

Томатный сок, пирожные сухие,
И нет воды горячей в январе…

Нанайская

Как-то на генеральной репетиции большого сборного представления в московском Дворце спорта я наступил на хвост замечательному артисту Махмуду Эсамбаеву. Наступил в буквальном смысле. Спускаясь в полутьме с высокой сцены.

Эсамбаев только что оттанцевал феерический «Танец павлина». В соответствующем костюме, тяжело дыша и поддерживая двумя руками почти полутораметровый хвост, он направился к краю сцены, где сбоку притулилась пятиступенная лестничка, ведущая за кулисы. На сцене уже погас свет для подготовки выхода следующего артиста, и Махмуд остановился на первой ступеньке, неуверенно нащупывая правой ногой следующую… Я же — напротив: тусовался во Дворце уже три дня, бегал по этой лестнице раз сто и легко мог бы пробежать сто первый с закрытыми глазами и в полной темноте. Короче говоря, заглядевшись на великолепный разноцветный гребень, сделанный из натуральных павлиньих перьев и торчащий из затылка и спины «павлина», я не успел притормозить, наступил на волочащийся хвост и выдрал из мездры или подшерстка (черт их знает, как это у них называется) два длиннющих пера.

Эсамбаев закричал так, как если бы это был живой хвост. Однажды по телевидению я слышал, как он рассказывал, что, готовя «павлиний номер», неделями наблюдал за поведением настоящих птиц в зоопарке и на воле, перенимая их повадки и особые движения во время брачных игр. Судя по натуральному, раздирающему сердце тембру крика оскорбленного павлина, оставшегося на глазах у нескольких самок (или самцов) без своего главного украшения, в зоопарке Эсамбаев времени зря не потерял.

По его словам, костюм стоил что-то около трех тысяч долларов — по ценам тех лет неподъемные деньги. Мне лично на мои извинения пострадавший не сказал ни слова. Просто спросил у окруживших его сочувствующих крупным пернатым зевак, кто этот мерзкий червяк, готовый обидеть любую пичугу, занесенную в Красную книгу. Получив ответ, что червяк — барабанщик из «Лейся, песня!» (и будущий великий публицист и кинорежиссер), Махмуд пошел прямо к новому руководителю «ЛП» (Шуфутинский уже *уехал*) Виталию Кретюку и потребовал триста долларов — цену за два *рулевых* пера (так, оказалось, называются самые длинные перья в павлиньем хвосте). Кретюка история с рулевыми перьями почему-то не повергла в шок, а позабавила, потому что он спросил: «А вы что, еще летать собираетесь?!»

Положение спас, как потом оказалось, старый знакомый Эсамбаева (и, как ни странно, мой, верней — моего отца) — Михалыч. Фамилия у него какая-то загогулистая — что-то вроде Ризеншнауцер или Штангенциркуль. Ему за пятьдесят, и он вроде бывший военный. В свое время Григорий Михайлович правдами и неправдами добился должности в МОМА и вот уже шесть лет проверяет репертуар и качество оркестров в ресторанах, великодушно принимая подношения деньгами, заграничным алкоголем и икрой.

Как его занесло во Дворец спорта непонятно, епархия была явно не его. Видно, судьба смилостивилась надо мной. Ведь потеря трехсот гринов тогда привела бы к тому, что покупку автомобиля ВАЗ 2106 МКЛ 92–94 белого цвета пришлось бы отложить как минимум на месяц. Тогда бы я точно не познакомился с Надькой, не написал бы вовремя свой первый рассказ, не был бы при помощи разгромной статьи в «Советской культуре» изгнан из «Лейся, песня!» и не попал бы (уже в качестве звукорежиссера) по второму разу в «Машину времени», чего допускать уж ни в коем случае было нельзя.

Григорий Михайлович похлопал меня по плечу, Эсамбаева погладил по перьям, затем как заправский ветеринар-орнитолог заглянул ему под хвост и поставил диагноз: перья лишь надломлены. Если взять две тонкие стальные спицы, просунуть их в полые стволы перьев да аккуратно прогладить утюгом… В общем, через двадцать минут мы втроем поднимали немосковской красоты рюмки из фиолетового стекла, которые вместе с каким-то совсем уже не поддающимся описанию коньяком приволок повсюду сопровождающий Эсамбаева личный повар. Махмуд Алисултанович переоделся в гражданское (живописный халат) и, пригубляя волшебный напиток, еще раз снисходительно выслушал мои сбивчивые извинения. И простил. Я даже был готов сам, пользуясь предложенной технологией, ликвидировать повреждения, но великий танцор сказал, что у него на примете имеется один из лучших в Европе специалистов по павлиньим хвостам, готовый за уважение отремонтировать что хочешь. Мы все пожали друг другу руки, Григорий Михайлович передал привет отцу и пригласил меня через пару дней на приемку программы в один из лучших ресторанов Москвы.

Холодильник дома был пуст, Ленка-повариха вот уже две недели, как предпочла меня милиционеру, а за окнами начиналась Пасха, поэтому только дурак бы не согласился. Уж кем-кем, а дураком в такой степени я не был.

И вот стою в душном прокуренном коридоре МОМА — Московского объединения музыкальных ансамблей —

организации, которая присматривает за ресторанными музыкантами.

Жду. Сегодня как раз четверг, день прослушивания. Я жду даже не Григория Михайловича, а Лешку, который, как оказалось, тоже входит в комиссию по прослушиванию. Лешка — мой друг, сам бывший ресторанный саксофонист, — так же, как и Михалыч, кормится около ресторанов.

В самый разгар борьбы с деньгами для музыкантов он прославился тем, что съел 10 рублей, которые ему дал мужик в кожаной куртке, якобы чтобы насладиться купеческой песней «Конфетки-бараночки». Лешка деньги взял, а мужик объявился сотрудником органов, но доказать так ничего и не смог, потому что, как я уже упоминал, Лешка улику съел, запив вином с ближайшего стола, а вскрывать брюшко у живого человека ОБХСС еще не решался.

Состав полномочной комиссии обычно насчитывал от трех до восьми человек. Это зависело от того, какое количество друзей и собутыльников комиссия приглашала с собой пожрать и выпить на халяву.

В этот раз по случаю Пасхи набралось девять персон. Я лично два дня готовился: даже не завтракал.

Времени было около пяти часов, ресторан закрыли на санитарный час: официанты и уборщицы активно готовились к вечернему удару. На маленькой уютной эстрадке, приткнувшейся к бару, топтались взволнованные музыканты.

Перед эстрадкой стоял стол для комиссии, на столе теснился коньяк, изредка перебиваемый «Фантой» и мясо-рыбными закусками. В общем, были созданы все условия для того, чтобы правильно оценить мастерство и идейную выдержанность музыкантов.

Лешка, еще не садясь, ухитрился всем налить. Михалыч достал из «дипломата» несколько листов бумаги (я тоже попросил один), а остальные достали ручки.

Руководитель ансамбля — бас-гитарист, лицо которого мне показалось смутно знакомым, — принес отпечатанный на машинке репертуар, начинающийся знаменитой «ресторанной» песней «Полюшко-поле» и другими бебешками, и акция началась.

Этот ресторан издавна славился разухабистыми махровыми белоэмигрантскими песнями, а также запрещенной к исполнению страшной композицией «Новый поворот», но их *официальный* репертуар, одобренный (а лучше — удобренный) Министерством культуры, сделал бы честь любому военному ансамблю.

Рядом с эстрадой стоял красавец-бармен; облокотившись на небесной красоты венгерскую кофеварку, он лениво протирал

стаканы и пиалы.

Ресторан был старый и китайский, построен еще во времена великой и нерушимой дружбы. Раньше там подавали грибы сян-гу и молодой пророщенный бамбук, а теперь — только сомнительные помидоры.

Но оформление в стиле китайского вокзала средней руки осталось почти без изменений.

В свое время над тем местом, где сейчас находились оркестр и бар, борзый художник изобразил десятиметровую фреску о русско-китайской дружбе. Фреска была написана щедрыми красками с использованием яичных желтков и в местах, не подвергнувшихся изменениям, так и светилась яркой палитрой.

По приказу партии и по собственному вдохновению безымянный «Микеланджело» изобразил громадный праздничный стол, ломящийся от яств, в стиле модного тогда фильма «Кубанские казаки». За одним концом сидело человек 15 (видимо, по количеству республик) русских, узбеков, татар, евреев и т. д., за другим — такое же количество китайцев.

В центре стола великий кормчий и правофланговый культуры и науки, председатель Мао Цзэдун застенчиво и подобострастно через стол пожимал руку отцу народов, другу детей и физкультурников, знатоку языкознания, гениальному учителю товарищу И.В. Сталину.

Причем стол был такой ширины, что если соблюсти все пропорции, великие люди, чтобы дотянуться друг до друга, должны были бы очень сильно наклониться или вообще частично прилечь на стол. По вполне понятным соображениям (желание остаться на свободе да и вообще в живых) художник наклонить вождей не посмел, а просто впал в некоторый импрессионизм, удлиннив их руки до соединения, при этом рука товарища Сталина была, естественно, несколько длинней руки великого кормчего, что и дало возможность народу перефразировать известную песню:

Будет людям счастье, счастье на века —
У советской власти длинная рука.

Несколько лет посетители любовались и радовались на дружбу и качественное питание вождей и их приближенных, но потом грянули 20 и 22-й съезды, Н.С. Хрущев разоблачил культ личности, и Сталин стал сильно непопулярен. Союз художников прислал профессора (общепит никогда бы сам не догадался),

который закрасил характерное лицо вождя, нарисовав на этом месте обыкновенную русскую морду.

Шли годы, людские дела и поступки закономерно отражались на фреске, как на портрете Дориана Грея.

Мао Цзэдун, начавший поругивать из Китая советскую власть, был заменен на простого китайца с честным и раскосым лицом.

Таким образом, простой русский, горячо пожимающий длинной рукой руку простому китайцу, прекрасно вписывался в известную тогда формулу «Русский с китайцем — братья навек», но китайцы, по-видимому, мало заботящиеся о фреске, устроили известную провокацию на острове Даманском, и разгневанная бригада патриотически настроенных художников быстро замалевала их румяными русскими комсомольцами, по виду напоминавшими бывших детдомовцев, а ныне бригаду коммунистического труда. Причем закрашены были только сидящие, и диковато косили глазом представители разных национальностей на то, как их бравый русский предводитель жмет руку явно бригадиру приятных комсомольцев, почему-то китайцу.

Чтобы не отрывать настоящих художников от их соцреализма, местный ресторанный мазила встал на стремянку и, не мудрствуя лукаво, пририсовал последнему китайцу паниковские темные очки, моментально превратив его в слепого.

Еще ранее, во время борьбы с алкоголем, фужеры, находящиеся в руках у некоторых участников этой потрясающей пьянки, были заменены на национальные флажки, а бутылки на столе — на блюда с теми же помидорами.

Последний штрих внес новый директор ресторана, узнавший из газет о предстоящем отделении некоторых республик. Он приказал удалить все национальные признаки, а на флажках нарисовать нейтральные олимпийские кольца.

В результате на фреске оказались изображены тридцать сидящих в бесформенной одежде человек, видимо, имевших какое-то отношение к спорту, плюс один стройный симпатичный слепой, напрягший длинную руку, чтобы как репку выдернуть своего визави на другую сторону.

Все они нагло улыбаются и жадно поедают помидоры за громадным правительственным столом.

Поглядывая на фреску и оркестр, комиссия мощно «в два горла» жрала халявный коньяк, не забывая с глубокомысленным видом рисовать на листках чертиков и многозначительно переглядываться.

Бойкий высокий бас-гитарист, кривясь от отвращения, объявил следующую композицию: композитор Мишель Легран,

«Шербурские зонтики».

И тут, еще раз мельком взглянув на слепого с длинной рукой, я мгновенно вспомнил, где и когда я видел этого интересного басиста.

Было это четыре года назад. Не знаю, уж каким ветром меня тогда занесло в кабак гостиницы «Ленинградская», кажется, разнашивал новые джинсы или еще что.

Одним словом, сижу в огромном зале, заказал что-то коричневое, ковыряюсь. Времени около семи часов. Опытным взглядом окинув подготовленную сцену, чувствую: сейчас появятся музыканты. Народ уже почти готов. Слева пристроилась компания лиц кавказской национальности с тремя пышными блондинками. Мужчины — ничего себе, средних лет, но вполне симпатичные. У всех троих на обеих руках надеты часы «Ролекс» величиной с кулак.

Я прямо позавидовал, но вспомнил, как однажды приехали мы в Тбилиси на гастроли. Тбилиси весной — просто загляденье. Кругом шашлыки, вино, знаменитое кавказское гостеприимство. Каждый второй — князь; у меня до сих пор штук десять визиток лежит: князь…адзе, князь…швили. В общем, гастроли прошли великолепно. А в последний день я отправился коньяк покупать.

Мой непьющий отец просил привезти в подарок его другу. Ну, выяснил я у местных знакомых, где погребок винный поколоритней, и пошел.

Действительно, подвальчик — как с картины Пиросмани: из стен старые бочки торчат, на полках старинные бутылки, а за прилавком дядька стоит с такими усами, что Семен Михайлович Буденный мог бы у него служить разве только ординарцем.

Я коньяк не очень люблю и плохо в нем разбираюсь, поэтому решил купить самый дорогой. Шарю глазами по наклейкам: ага, вот он — КВ (аж 28 рублей).

Подаю деньги, а продавец спрашивает:

— Тэбэ сам пит или в подарок?

— В подарок, — говорю.

— Тогда давай трыдцать тры рубла.

Ну, думаю, здесь законы свои (чай, не у себя в Москве), покорно добавил еще пятерку.

Продавец достает из-под прилавка тазик с водой и тряпку, в три секунды смывает старую этикетку и, вынув жестом фокусника из своей огромной кепки новую, приклеивает ее на ни о чем не подозревающую бутылку.

Я читаю: КВКВВКВ, то есть марочный-распромарочный, пулеводонепроницаемый, противозачаточный.

Этот отцов друг у меня потом в ногах валялся, все

благодарил и пятьсот рублей всучить собирался.

— Не надо, — говорю, — это ж подарок.

Так вот и часы те, наверное, из того же подвальчика. Но бабы-то точно настоящие — наши, наравне с мужиками коньяк хлещут и в спор с ними вступают, у кого золотых зубов больше. Одним словом, для музыкантов уже пора.

Наконец появляется группа людей в строгих черных костюмах и очень темных очках. Они выходят из-за сцены гуськом, аккуратно придерживая друг друга за одежду и другие части тела.

Музыканты на ощупь расползлись по сцене, недолго поиграли в жмурки с микрофонами; вперед выдвинулся высокий ладный слепец с бас-гитарой и глубоким, свойственным, наверное, только людям, лишенным зрения, голосом сказал мимо микрофона: «Раз, два».

Потом гомеровским, величественным жестом все-таки проверил наличие микрофона около своих разговорных органов и с потрясающим душу и карманы трагизмом обратился к благородной публике:

— Добрый вечер, уважаемые москвичи, а также гости столицы! Для вас выступает вокально-инструментальный ансамбль Всероссийского общества слепых, — затем немного помедлил, не решаясь объявить название.

Я мысленно объявил среди себя конкурс на хорошее название типа «Светлячок», «Горизонт», «Рассвет» и т. д., но басист, решивший не искушать судьбу, продолжал:

— Желаю вам приятного вечера, мы выполним все ваши пожелания, но обратите внимание: вот вы здесь сейчас сидите, едите, пьете, вам хорошо. Для вас сейчас светлый день, а для нас… — Он сделал трагическую паузу, щелкнул пальцами и оркестр грустно грянул:

— «Темная ночь, только пули свистят по степи…»

Это было так неожиданно, что по залу прокатился стук попадавших приборов, некоторые посетители, вытирая слезы, полезли за деньгами.

Пели музыканты очень жалостливо, но достаточно стройно и артистично: на словах «как я люблю глубину твоих ласковых глаз» они сделали паузу и, для того чтобы не оставалось никаких сомнений, одновременно показали на то место, где у зрячих бывают глаза.

Последующий репертуар группы представлял из себя просто-таки справочник окулиста: «У любви глаза зеленые», «Посмотри в глаза», «Ах, эти черные глаза», «Очи черные» и даже окулистическо-арифметическая песня «Три миллиона людей

замечательных — шесть миллионов задумчивых глаз».

Через некоторое время внимание посетителей было привлечено странной процессией.

Двое неопрятно одетых представителей мужского пола, сильно напрягаясь, тащили крепкий канцелярский стул. На стуле с будничным выражением лица восседал крупный молодой мужчина в ярко-синем костюме и унтах. Он, видимо, был очень тяжелым, потому что носильщики громко кряхтели и с шумом и свистом вдыхали и выдыхали сигаретный воздух ресторана. Правда, возможно, дыхание им затрудняли крупные денежные купюры, торчащие изо рта.

Мужчина на стуле бровями указывал повороты, выбирая удобный столик. Немного позади шли еще пятеро тоже неслабых хлопцев.

Драгоценный груз был отгружен недалеко от меня, и компания заняла два стола у окна, неподалеку от оркестра, а носильщики умчались в поисках нового седока.

Официанты бросили всех остальных клиентов, стремительно сорвали с обоих столов таблички «занято» вместе со скатертями, и в мгновение ока на новых белоснежных скатертях оказалось выставлено все лучшее и дорогое из арсенала и закромов заведения. Причем один стол был безалкогольным, и трое усевшихся за ним типажей по внешнему виду отличались от первых трех мужиков, возглавляемых наездником в синем костюме.

Довольно быстро выяснилось, что троица за «пьющим» столом — это не то геологи, не то топографы из Якутии, не выезжавшие в отпуск лет тридцать и гуляющие теперь «от вольного». А за более скромным столом сидели таксисты, катавшие этих орлов по столице, каждого на отдельной машине, чтобы тесно не было.

В этот момент после небольшого перерыва на сцене, на ходу дожевывая и вытирая губы, вновь появились музыканты. Вели себя они на этот раз более уверенно и бойко постреливали из-под очков по сторонам пустыми глазницами. Кавказско-блондиночная компания тут же заказала «Тбилисо», причем басист-руководитель легко, видимо, на ощупь, отличил «чирик», который ему под видом четвертака пытался втюхать ушлый потомок «витязя в тигровой шкуре».

Говорят, что у незрячих людей сильно обостряются другие чувства: осязание и особенно слух. Только этим можно объяснить поспешность, с которой ловкий басист кинулся, вытянув руки вперед, к «якутскому» столу, гениально расслышав во всем этом шуме, как главарь геологов-топографов негромко щелкнул

пальцами.

Один из секундантов «синего костюма» сунул басисту комок денежных знаков и что-то сказал. Тот, подобострастно изогнувшись и приставив ладонь к уху, как это делают не слепые, а глухие, внимательно выслушал заказ.

После короткого совещания оркестр заиграл нечто невообразимое: гитара издавала какие-то мяукающие звуки, синтезатор умело ей вторил, — и хотелось, схватив ритуальный бубен, пойти вприсядку вокруг чума.

Танцевать под эту музыку с партнершей можно было только будучи сильно пьяным, а южане, плотно обхватившие перекисноводородных красоток, настоящей формы еще не набрали. Поэтому, потоптавшись по инерции еще пару тактов, они отошли в сторону и заказали «Тбилисо». Почти сразу же басист еще раз сбегал к апологетам таежной музыки и, получив комок и пожелание «нанайскую», прервал «Тбилисо» на самом интересном месте.

Далее события развивались во все убыстряющемся темпе. «Нанайскую» сменяла «Тбилисо», «Тбилисо» — «нанайская».

Один из приближенных унтоногого встал рядом с оркестром с большим комком денег и все время отщипывал от него порции, тут же перебиваемые южанами таким образом, что пока половина музыкантов еще доигрывала «Тбилисо», другая половина уже распрягалась в нанайской теме, и наоборот.

Оркестр вошел во вкус, и с каждым новым заходом «нанайская» звучала все увесистее, хотя ясно было с самого начала, что топографов удовлетворило бы любое качество, лишь бы не слышать «Тбилисо».

Музыканты разгорячились и, похоже, начали прозревать один за другим — а еще говорят, что чудес не бывает.

А потом случилось невероятное: у сынов юга вроде бы кончились деньги, они отказались от борьбы с северным коэффициентом, и впервые за сегодняшний вечер «нанайскую» доиграли до конца, хотя конец и не отличался ничем от начала или середины.

Представитель геологов сходил за новым комком и, чтобы не рисковать, заказал «нанайскую» семь раз подряд. К этому моменту весь зал, закатив глаза от шампанского, раскачивался из стороны в сторону, включая и любителей «Тбилисо».

Тут-то и появился вежливый милиционер, пожелавший узнать, что здесь происходит, и обратился с этим вопросом к виновникам таежного торжества.

— Володь! Пойди выясни, — сказал главшпан одному из своих, и тот дал милиционеру увести себя в неприметную дверь в

дальнем конце зала.

Весь кабак праздновал падение наглых пришельцев. Грузины (им уже прислали деньги из дома) тотчас же заказали «Тбилисо», «Сулико», «Лезгинку», «Кабардинку», «Грузинку» и грудинку и лихо плясали все это парами и сольно. К ним радостно присоединились остальные посетители.

Веселье длилось не очень долго. Минут через пять в зал на стуле въехал Володя, и в леденящей тишине прозвучал его звонкий, окрепший на таежных просторах голос: «Нанайскую»!

Жизнерадостный басист-руководитель уже не просто играл, он пел сложнейшую национальную мелодию с уместным использованием горлового пения и имитацией крика диких нанайских зайцев. Не обделила все-таки природа слепых другими талантами…

Тут мои воспоминания прервал Лешка, сунувший мне под нос для ознакомления свой листок с чертиками. Я честно подрисовал туда еще одного и вернул.

— Полностью согласен, — сказал Лешка, — но есть некоторые нюансы.

Басист выглядел почти точно так же, как и в нанайскую эпопею, только волосы немного отрастил да был без темных очков. Видимо, те бешеные геолого-кавказские деньги, которые он заработал тогда за каких-то полтора часа, позволили ему сделать дорогостоящую глазную операцию где-нибудь в Лондоне или Кейптауне, возглавить коллектив зрячих музыкантов и поглядывать теперь орлом то на комиссию, то на часы.

За неполные четыре песни комиссия полностью очистила подарочный стол, а дозаказывать за свои деньги не позволяла профессиональная этика — что ж, пора было закрывать лавочку.

Григорий Михайлович жестом остановил музыку.

— Ну, достаточно пока. Какие будут мнения, товарищи? — И, вспомнив марочный армянский коньяк, добавил: — По-моему, убедительно.

Комиссия закивала, но Трофим Николаевич Лукомцев, человек опытный, наевший живот не на одном поколении ресторанных исполнителей, встал и, достаточно сурово глядя на уже начавших было улыбаться музыкантов, сказал:

— Есть несколько замечаний.

Трофим Лукомцев был бойцом 1-й Конной, точнее ветеринаром, почетным пожарным, а нынче заместителем директора по организационной части. Кроме того, пожилым и почти совершенно глухим человеком, но замечания высказывал каждый раз, чтоб служба медом не казалась и для подготовки почвы для следующих прослушиваний.

Из музыкантской культуры он знал только слово «фортепиано», делил его на две равные части и довольно сносно ими оперировал.

— У меня пожелание к вашему органисту, — сказал Трофим, поглядывая на своих неряшливых и каких-то уж особенно уродливых чертиков. — На вашем месте во 2-й композиции, где-нибудь такте в 16-м, я бы все-таки сыграл эдак, знаете, «форте», а вот уж в 3-ей, после 20-го такта, там, пожалуйте, «пьяно»!

Гитаристы начали в ужасе озираться в поисках органа, которого в их составе не было.

Лукомцев, рассердившись, повысил голос.

— Ну, что вы молчите, я же к вам обращаюсь! — почти крикнул он не обращавшему никакого внимания на происходящее бармену, красивую кофейную машину которого он принял за электрический орган, а спокойные движения по протиранию стаканов — за искрометные клавишные пассажи.

Гитаристы, еще не пришедшие в себя, попытались было что-то сказать:

— А мы… а у нас орга-а…

И вот эта последняя «а» получилась какой-то сдавленной, потому что глазастый басист ухитрился одновременно наступить им на ногу.

— Я ему, Трофим Николаевич, сам все время это говорю. Он у нас такой болван непонятливый. Разберемся, в крайнем случае уволим.

— Ну, зачем же так круто, — смягчился Трофим, — парень-то способный. А в общем и целом прилично.

— Я вот тут вам пакетик собрал на дорожку, — сообщил басист.

— Достойная программа, — похвалил Лешка.

— Желаю творческих успехов, — сказал Михалыч.

— Растет молодежь, — заметил Трофим Николаевич Лукомцев.

— Ах вы, мерзкие твари, слякоть отвратная, — произнес я шепотом, имея в виду и себя.

— А ну, пошли все к чертовой матери, убраться не дадуть, — проворчала уборщица с ведром, — и ходють, и ходють, и топчуть, а некоторые напокупляют машин и на них ездивают.

БОЙ С ПЬЯНСТВОМ

Раз пасмурным утром
С отравленным нутром,
Разбужен трубой боевой,
Поднявшись с постели,
В начале недели
Я вдруг объявил пьянству бой.

И бой принимая,
Оно собирает
Своих новобранцев в полки.
Надели пилотки
Ликеры и водки,
И силы у них велики.

Но я в окруженьи
И в изнеможеньи
Все ж крепость свою не сдаю.
И, может быть, странно,
Но крепче нарзана
В осаде напитков не пью.

Упорно хотели меня «Ркацители»
Настроить на алкоголизм,
Но, старый рубака,
Я поднял в атаку
Охоту и водный туризм.

Из одеколона
Мне пьянство заслоны
Пыталось выстраивать в ряд.
Я от политуры
Отбился брошюрой,
Что спирт — это, в сущности, яд.

Набрав быстро форму,
Я трезвость как норму
В своем поведенье избрал,
Как трезвенник пылкий,
Я даже бутылки
Все те, что купил, уже сдал.
Как все дуэлянты,
Я пил только «фанту»,
Чем вызвал у пьянства испуг,
Но, зная законы,

Оно павильоны
Для пива воздвигло вокруг.

Запретным ударом
Оно «Солнцедаром»
Пыталось свалить меня с ног,
Считая потери,
Ломилось мне в двери,
Но я не пустил на порог.

В гранаты из виски
И в мины из «Плиски»
Уж вставлен был пьянством запал,
Но выстрелом гулким
Лесные прогулки
Себе я в актив записал.

А пьянство ретиво
Армянским разливом
Пыталось меня доконать,
Решилось, к примеру,
На крайнюю меру,
Чтоб после семи продавать.

На хитрость пускалось
И маскировалось
Стаканом воды на жаре,
То другом по школе,
То силою воли,
То свадьбой в соседнем дворе.

И в маски рядилось,
И тем становилось,
К чему я давно уж привык:
То сладкой наливкой,
То винной подливкой,
То рюмкой КВ под шашлык.

Оно крыло матом,
Но я был солдатом —
Ему это не помогло, —
И пьянство со стоном,
Дыхнув самогоном,
На бранное поле легло.

Мне, правда, не дали
За подвиг регалий,
Не дали медаль — ну и пусть!
С друзьями подъеду
Отметить победу
И там почти точно напьюсь.

Крепче за шоферку держись, баран

«В нашем парке вы можете покататься верхом, на тройках, четверках, «пятерках» или «шестерках» с «одиннадцатым» двигателем».

(Объявление)

Все знают, что приобрести в советское время машину честным путем мог или жулик, или академик. Я, не будучи ни тем, ни другим, насобирав денег в долг, все-таки совершил этот мужественный поступок. Следующим действием была поездка на станцию ТЕХобслуживания, чтобы втереться к ним в доверие и пролезть в вожделенную категорию ТЕХ, кого действительно обслуживают. Несколько дней я курил со всеми работниками снизу доверху, подавал инструменты, бешено ругался матом, весь измазался, обедал, играл в подвале в настольный теннис, но лишь на девятый день удостоился полного доверия и был послан мастерами за водкой. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем автовладельцу — в царствие слесарное.

С тех пор мастера станции присутствали на моих днях рождения, сидели на лучших местах на наших концертах, и я думал, что если соберусь крестить своих будущих детей, то крестным отцом будет приемщик или начальник арматурного цеха.

Расслабляться нельзя ни на день. Даже если ваша машина ездит и пока еще все в порядке, нужно позванивать на станцию или домой к мастеру, заезжать «по дороге» или не «по дороге», баловать свежими анекдотами, продуктами, сигаретами, пивом и воблой, то есть всячески напоминать о себе. Тогда не исключена возможность, что в случае какой-либо поломки автомобиль все-таки починят, а не заставят ждать своей очереди на ужасных ОБЩИХ основаниях.

Добротный, но не обладающий большими средствами автолюбитель выдает своих дочерей замуж за работников автосервиса, переселяется на одну с ними лестничную площадку, а в идеальном случае к концу жизни сам устраивается работать на станцию, хотя бы на полставки.

Сегодня 14 марта. Неделю назад я отволок на сервис свою колымагу, в ней сломалось ВСЕ. Не само собой, конечно,

сломалось, а я сильно помог.

Ехал как-то поздно вечером в районе развилки по Варшавке, там, где трамвай петлю делает. Находился в глубокой-глубокой задумчивости — все думал: стоит выпивать «за рулем» или нет? И не заметил, как врезался в трамвай. Не очень сильно врезался, но испугался и стал убегать. Повернул налево, затем направо и опять врезался в трамвай: там их как собак нерезаных. Но оказалось, что в тот же самый: он там «петлю» делает. Тут уж остановился совсем, а из трамвая вагоновожатая женщина вылезает, чуть не плача. «Я что, — говорит, — вас чем-то обидела?!»

Короче, дальше неинтересно, но машину пришлось на серьезный ремонт ставить.

А вчера вечером позвонили: «Слышь, Кошелек, — так они меня любовно называют, — приезжай завтра с утра забирать».

И вот сегодня в 8 утра я остановил такси, плюхнулся на сиденье, вытянул ноги и начал: «Вот там, где вы меня посадили…» — это у меня сработал условный рефлекс, приобретенный еще много лет назад.

Когда я слышу на улице «Такси, эй, такси!», я непроизвольно поворачиваю голову: очень похоже на «Максим». С ранних детских лет этот вид транспорта у меня ассоциировался с красивой жизнью и каким-то запретным плодом. Поучась в институте, я хорошо запомнил комсомольское собрание, на котором разбирали двух студентов, уличенных в частых поездках на такси. Их сильно ругали за превышение необходимой крутизны, они лениво отбрехивались и обещали исправиться, то есть впредь выходить из машины не перед самым институтом, а за два квартала. Я тоже был крайне возмущен их безобразным поступком, но, будучи человеком свободолюбивым, решил в порядке протеста поехать домой на такси, правда, отойдя от здания на безопасное расстояние.

Водителем оказался молодой широкоплечий парень, я на него все время посматривал с симпатией: очень меня распирало желание рассказать ему, какой смелый и принципиальный пассажир сейчас с ним едет. Но он, похоже, сам был смелый и принципиальный и в разговоры праздные вступать со мной не очень торопился.

Машина у него была как машина: на торпеде две гэдээровские переводные картинки красивых баб, стандартная пластмассовая голова Буратино, в которой при торможении загоралась лампочка, но вместо обязательной милицейской фуражки или жезла под задним стеклом красовались три мотоциклетных шлема — два больших и один маленький. Только я собрался про шлемы спросить (в смысле — может, фуражка —

это уже прошедший день), как он говорит:

— Видишь эти шлемы? У меня мотоцикл с коляской есть, жену с ребенком вожу по субботам за город. Ну, а в обычные дни езжу на нем на работу в наш ордена Ленина и Александра Невского краснознаменный таксопарк имени Калинина. Мотоцикл в парке оставляю, а шлемы, чтоб не сперли, — с собой. Помнишь, позавчера жара какая была — за тридцать. Вот, значит, беру во Внуково трех бабаев — за коврами приехали. Они жениться собираются, а ковров положенных нет. А без ковра ни одна порядочная не пойдет — вот они и приехали на один день. Ну, везу их, они спрашивают: зачем тут шлемы? Я говорю, что новый закон в Москве вышел: пассажиры обязательно в шлемах. Пошутил, значит, — это я от жары всегда шучу.

Короче, через минутку смотрю, а они уже все трое в шлемах, даже детский ухитрились напялить. Я, конечно, сразу по тормозам, к обочине подрулил, выскочил до ближайших кустов, упал и уже там давай хохотать.

Вернулся минут через пятнадцать, они сидят как ни в чем не бывало. «Что, — говорят, — шеф, приспичило?» — «Ага, — отвечаю, — приспичило, да еще как!» В общем, на план пришлось плюнуть, и пока на всех заправках и стоянках наши на них не нагляделись, я в ковровый магазин свадебных товаров все никак не мог доехать — сам понимаешь. С ними, вообще, умора, — продолжал веселый водитель, не давая мне опомниться. — У меня сосед Витька — официант. Вот приходят к нему в кабак двое, заказ сделали и спрашивают про салфетки крахмальные, что на тарелках стоят пирамидками: что, мол, это такое? Витька, не будь дурак, отвечает: «Это шапочки специальные. Когда пора уже горячее нести, надеть нужно», — тоже, значит, пошутил и пошел на кухню. Минут через 20 выходит, а они в салфетках сидят, морды — ящиком. И не одни они, а ползала.

Тут уж я не выдержал и говорю:

— По-моему кто-то из вас двоих врет: или ты, или твой Витька.

— Да ты что?! — Он загорячился. — Вон у нас в прошлом годе Сашку милиция заприкалывала, что уже три месяца не работает. Мы с ребятами его гидом-экскурсоводом устроили, знаешь, там, «…справа от нашего автобуса дорогие гости столицы могут видеть Красную площадь. С нее начинается история нашей родины, с нее начинается и мой рассказ».

Очень Сашке поначалу эта работа понравилась. На людях, как говорится, и вообще. Но уже через месяц заскучал он. Приезжих-то в основном колбаса интересовала, а не Красная площадь. И вот привез он однажды обедать группу из Средней Азии в какой-то

ресторан, посадил в отдельном зале жрать, а сам ходит, мается. У них уже до чая дело дошло, и тут его аксакал один спрашивает: «Скажи, уважаемый экскурсовод-ака, что это за пакетики к чаю и как ими пользоваться?»

Сашка ему растолковал доходчиво, что пакетики в рот кладут и водой горячей запивают, а левой рукой за веревочку придерживают, чтобы в горло не проскочило. Так все и стали делать, только один в очках умник вскочил и закричал: «Товарищи! Он над вами издевается! Опомнитесь. Совсем не так надо. Надо за веревочку не левой рукой держаться, а правой». Но туристов за колбасой так просто с панталыку не собьешь. «Будем, — говорят, — так делать, как товарищ экскурсовод сказал».

Сашка начал метаться по ресторану в поисках зрителей, но вот беда, никого из знакомых нет, пришлось самому любоваться. Через три дня вызвали его в отдел кадров — увольнять по их собственному желанию (очкарик тот накатал «телегу» все-таки). Уволили, а на прощание пожилой начальник спрашивает: «Как же вам, молодой человек, даже мысль могла прийти так над людями измываться?»

Сашка уже из дверей ответил: «На моем месте так поступил бы каждый».

Мы уже давно стояли около моего дома, и последняя часть истории стоила мне лишнего рубля, но таксист все никак не мог остановиться и бежал за мной до самого лифта: видно, предыдущие пассажиры были глухонемыми, а рассказывать сладкие макли буратиновой голове он не привык. С того памятного дня я заболел «таксомоторной» болезнью: стал ездить на такси, когда надо и не надо. Дело доходило до маразма. Если у меня, к примеру, объявлялись пять рублей, а ехать было далеко, я ехал несколько остановок на метро и уже потом до места пересаживался в такси. Очень быстро я разобрался, что таксисты — люди общительные, знают массу интересных историй («А вот мне сменщик рассказывал…»), и нужно только дать затравку. Я придумал такую затравочную историю, не совсем придумал, а просто сместил время и место действия. Звучала она так:

— Вот как раз, где вы меня посадили, шел я вчера (позавчера, три дня назад) вечером (днем, ночью) и вижу — парень (девушка, мужик) лежит (сидит) с портфелем (сумкой, авоськой). Все думали: пьяный (пьяная), а оказалось — шпана заточенной спицей пырнула. В общем, «Скорую» вызвали, еле спасли. Вот сволочи!

Водитель легко соглашался, как говорится, «брал со старта», и остальные двадцать минут можно было наслаждаться

леденящими кровь историями о сменщике, бабах, милиции и жуликах.

Конечно, иногда попадались люди хмурые, разговаривать не расположенные. Однажды сел к такому, он на меня посмотрел зверем, губы поджал, желваками поиграл, даже куда ехать не спросил — с места как рванул, у меня чуть голова не оторвалась. В общем, молчит он, вздыхает тяжело — ну, мало ли, может, случилось у него что. Я же сижу, соображаю, на какой «козе» к нему с разговорами подъехать.

Наконец он как закричит:

— Да знаешь ли ты, что там, где я тебя посадил, на днях девочку двенадцатилетнюю пьяные хулиганы, как ежа, всю вязальными спицами истыкали, — еле откачали!

Я говорю:

— Вот сволочи!

Он обрадовался.

— Ага, — говорит, — мне сменщик точно рассказывал. Кстати, слыхал анекдот таксистский о том, как девушка три раза замужем была, а так девкой и осталась?

Тут он вдруг увидел далеко впереди крадущийся справа у обочины «Запорожец», вся задача которого состояла в том, чтобы хоть как-нибудь доплестись до места назначения, резко прибавил скорость и заорал:

— Ну я тебя, бля, ща сделаю! А вот я тя, бля, ща подрежу!

Если бы несчастный владелец «запора» услышал эти грозные клики, он бы выскочил и сдался, но он продолжал медленно ехать и даже не заметил, как мы на страшной скорости пронеслись мимо.

Потешив свое самолюбие, таксист почти успокоился и, схватив меня правой рукой за грудки, опять крикнул с непонятным торжеством:

— Ну, так как? Три раза замужем — и целка, а?!

Я выразил свое неподдельное изумление этой биологической аномалией, а он докричал анекдот до конца — неожиданно смешного.

— В общем, первый раз она за онаниста вышла, понятно? Второй раз — за пидараса, а третий — за таксиста, — и он торжествующе посмотрел на меня.

Видимо, на моем лице было написано разочарование тем, что он поставил железных брутальных ребят-таксистов в один ряд с такими малопопулярными персонажами. Потому что снисходительно разъяснил:

— Вот и ее спрашивают: как же так?

А она отвечает, что первые дни после свадьбы муж-таксист

вообще дома отсутствовал — работал, а потом заявляется в час ночи и с порога, не снимая пальто, приказывает ей нагнуться. Она думает, что сейчас-то все и произойдет, а он — прыг ей на спину: «За рублишко до постели отвези!» — и он начал так ржать, что переднее стекло чуть не выскочило, не иначе, как про себя рассказывал…

— Ты заснул, что ли? Кого, говоришь, там у тебя посадили? — вернул меня в 14 марта звонкий голос. — Ко-мандир! Куда поедем?

«К тебе, милый», — сказал я в уме, а вслух: — На сервис, на наш родной автосервис.

И уж конечно, не стал я ему рассказывать все эти истории пятнадцатилетней давности про спицы и т. д. Таксист он ненастоящий. Хозрасчетник — что возьмешь? Меня «командиром» называет, а не «шефом», как раньше было положено, вместо добротной ГДРовской наклейки у него «TURBO». Где же сделанная из воткнутых копеечек полочка для спичек и папирос? А где, я вас спрашиваю, приятная буратиновая голова? Как я теперь могу узнать, едем мы или тормозим? Где ты, честь таксисткая, обгаженная кооператорами и леваками?! Эхе-хе.

Вот я, например, через три дня после покупки машины «подрезал» случайно, по неумению, одного таксиста. Было это около Киевского вокзала. Таксист от злости чуть руль не съел. Я остановился на светофоре, вижу в зеркале, как он в потоке, всех «распихивая», ко мне пробирается. Поравнялся слева, через пассажира перегнулся, окно открывает, а у самого аж искры из глаз сыплются. Я тоже окно открыл и, только он воздуху побольше набрал, говорю: «Извини, брат, ради бога: третий день за рулем».

Уже давно загорелся зеленый свет, все машины тронулись, а он все еще стоял на светофоре с разинутым ртом, не реагируя на возмущенные гудки объезжавших автомобилей.

Вот какие были железные люди! Гвозди бы делать из этих людей! А этого, я посмотрел вкось на «водилу», даже тремя извинениями подряд в обморок не уложишь. Попривыкли, пообтерлись, острота пропала, свежесть души.

А когда нас по параллельной улице обогнал нахальный «Запорожец» с бабой за рулем, а мой водитель даже не заметил, — тут уж я окончательно заткнулся до конца поездки.

Когда подъехали к зданию сервиса, пошел снег с дождем. Работники меня увидели, высыпали наружу, водят хоровод и поют: «К нам приехал, к нам приехал наш любимый Кошелек».

Провели «Кошелька» под руки внутрь и предложили ему всякие доступные развлечения: матом поругаться, измазаться

вдрызг, пообедать или, что уже вообще сугубо для своих (категория «люкс»), сбегать за водкой.

Главный мастер стоит, раскрыл объятия: «Сколько можно тебя ждать, у меня чуть джинсы не вышли из моды! — Он всегда так вычурно выражался. — К счастью, ТВОЯ еще не готова, как насчет хорошенькой партии в настольный теннис в подвале?»

— Нет, — я говорю, — спасибочки огроменные, я лучше к мужикам пойду, посмотрю там, что да как.

В большом светлом помещении среди кучи автомобилей с растревоженными кишочками маялись неприкаянные владельцы, иногда гордо поглядывающие друг на друга: присутствовать при ремонте собственной машины — это уже была большая привилегия. По правилам, изобретенным администрацией, хозяева должны ожидать в приятном прокуренном накопителе, а наблюдать процесс им не позволено, так как мастера, видимо, пользуются космическими секретными технологиями и особыми, почерпнутыми из народной автомудрости приемами (кажется, кувалдой). Зато такой порядок давал распрекрасную возможность заменить втихую на новом автомобиле какую-нибудь деталь — нет, не на сломанную, боже упаси, а просто на б/у., а также применить еще множество маленьких чудных хитростей (б/у., кстати, можно свободно читать как сокращенное «боже упаси»).

Время от времени счастливые обладатели индивидуальных транспортных средств группировались вокруг ближайшего автомобиля с открытым капотом.

Странное дело: даже если на улице открыть капот, то возле тебя моментально собирается толпа, все-таки велико в народе любопытство к двигателю внутреннего сгорания.

И тут я с ужасом обнаружил, что меня самого со страшной силой влечет к разинутой «пасти» автомобиля, как кролика к удаву. Посопротивлялся для виду секунд десять и подошел, размечтавшись увидеть как минимум перпетум мобиле четвертого поколения. Но нет, смотреть было в буквальном смысле не на что: двигатель отсутствовал. Остальные владельцы тупо уставились на масляную тряпку, лежащую в подмоторном пространстве. Я тоже поглядел: действительно, прелесть что такое.

Между прочим, это был мой собственный носок, купленный в Италии и потерянный в прошлом году на пикнике. А машина тоже была моя, это я ее до такого состояния довел. Теперь ясно стало, почему меня так к ней влекло: преступников всегда тянет на место их преступления.

Подошли с обеда (у них все время обед) веселые арматурщики с ракетками: «Сейчас твой движок с профилактики

привезут, установим в момент. Все ништяк».

Вдруг на этой печальной сцене жизни появилось новое действующее лицо — правильно, кавказской национальности. Лицо заехало прямо с улицы в цех, что говорило о его высокой кредитоспособности и завидном клиентском статусе.

Определить марку и модель его сверкающего авто не представлялось возможным из-за огромного количества всяких автомобильных украшений и приспособлений. Вся буйная фантазия малограмотных кооператоров была воплощена в этой машине-концепции. Всякого рода крылья, антикрылья, сверхкрылья приятно оттеняли укрепленные снаружи и внутри пепельницы самых причудливых форм и расцветок. Щитки защищали, козырьки козыряли, шторки зашторивали и без того затемненные стекла, а количество антенн равнялось количеству кепок, приписываемому благодарным народом известной статуе Вождя (то есть — трем). Судя по некоторым надписям, марка машины была «Адидас», а модель — «Супер», хотя «Лада» все равно выпирала из всех щелей.

Работники, отбросив (на время) стаканы и ракетки, плотным кольцом окружили еле выбравшегося из норок и соболей, которыми был обит салон, полного лысоватого человека, пытавшегося переорать громовую музыку, несущуюся из-под соболей.

Вскоре выяснилось, что у него «взаду слева при торможении что-то гремит». Остальные работы на станции были приостановлены, а весь интеллектуальный потенциал брошен на устранение кавказского недостатка.

Я готов был побиться об заклад, что это антикрылья стучат по пепельницам, причем не «взаду слева», а по всему периметру, но бойкие арматурщики уже сняли заднее левое колесо и чегой-то там шуровали.

Толпа оторопевших владельцев, как ущербная стайка наших туристов в Лувре, покорно следовала за шустрым южанином, покровительственно указывающим шариковой ручкой на особенно уродливые приспособления своего механического «чуда».

Когда я подошел, он как раз демонстрировал оригинальную двухступенчатую охранную сигнализацию, для чего разгреб мездру у «бардачка» и что-то там включил.

Машина покряхтела и неприятным высоким голосом с сильным кавказским акцентом провозгласила: «Ай, нэхороший чэловэк! Зачэм в мэна лэзешь, э?!» Оказывается, уже двое известных автоворов слегли с инфарктом после знакомства с этим тольяттинским Франкенштейном из Сухуми.

Если первая ступень не срабатывала, в ход шел шприц, укрепленный под передним сиденьем. Шприц содержал жидкость, за которую легко продали бы душу своему африканскому дьяволу бегемотоловы далекой Кении.

Здесь я хочу сделать небольшое лирическое отступление, дать немного передохнуть себе и другим, а то уж больно круто действие развивается. Отступление минут на пять, не больше, типа «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА».

Мне эта косноязыкая сигнализация идею интересную подала, которую я потом осуществил, а сейчас дарю всем владельцам машин и магнитол, читающим это эссе.

Вы приглашаете знакомую девушку с приятным голосом и просите ее начитать на кассету заранее приготовленный текст с паузами для ответов (чем вы будете заниматься с девушкой после записи, не интересует никого). Далее вы вставляете кассету в автомобильный магнитофон, незаметно его включаете и… остальное зависит от вашего артистизма и изобретательности. Но главное — правильно рассчитать паузы. У меня это выглядело приблизительно так:

Я сажусь в машину с двумя друзьями, которым предварительно желательно наврать, что машина с компьютером, и на которых и рассчитан весь спектакль. Специально неплотно прикрываю водительскую дверь, вставляю и поворачиваю ключ (одновременно включается магнитофон), и машина как бы говорит:

— Здравствуйте, дорогой Максим Владимирович! Ваша машина МКЛ 92–94 сердечно вас приветствует на своем борту. Московское время…

Я (*злобно*): Не твое дело.

ОНА: Ну вот, вечно вы ругаетесь, хоть друзей бы постеснялись. (Друзья, предупрежденные, что машина якобы с компьютером, в шоке.)

Я: Ты бы вместо того, чтобы ворчать, лучше бы за маслом присматривала.

ОНА: Масло-то маслом, а вот вы левую дверцу неплотно прикрыли.

Я (*со злобой, закрывая дверь*): На, на! Ты совсем меня уже достала. Мы поедем сегодня или нет? (Друзья все еще в шоке.)

ОНА: Конечно, поедем. А кто поведет? Вы или я?

Я: Ясное дело — ты. Я устал. (*Друзья в шоке разинули рты*.)

ОНА: Какую музычку на дорожку предпочитаете, как всегда, «битлов»?

Я: Нет, давай сегодня блюз «Шанхай».

ОНА: Слушаю и повинуюсь. Для вас поет Е. Маргулис.

(*Звучит заранее записанный «Шанхай».*) Счастливого пути! (*Друзья в шоке выпрыгивают из машины.*)

Занавес (*так обычно пишут в конце пьесы*).

Вот, видите, как замечательно! А сценарий можете придумать сами. Главное — хорошая идея. Побольше фантазии — и ваша машина заговорит, а не очень нужные в этот момент друзья выпрыгнут.

Пока мы с вами с приколами разбирались, работа на станции шла своим чередом, то есть чинилась кавказская машина. Я плюнул и пошел с главным мастером в подвал играть в теннис. Я уныло перебрасывал мячик, следя за тем, чтобы, избави бог, не выиграть. Это было трудно: мастер играл очень плохо.

Время от времени к нему, как к Наполеону в разгар Бородинского сражения, подбегали нарочные и сообщали последние новости с поля битвы. Новости были неутешительные: уже два раза безрезультатно снималось заднее левое колесо, потом подозрение падало на всякие другие части, но грохот при торможении не исчезал. Я знал хороший способ навсегда избавиться от любых посторонних звуков в машине: увеличить в два раза громкость магнитофона, но из вредности подсказывать не стал: пусть сами разбираются.

Лицо Главного все мрачнело и мрачнело, он даже два раза подряд удачно подал подачу: «Неужели придется Комта звать», — бормотал он, пересчитывая имевшиеся при нем деньги.

Наконец последний запыхавшийся гонец, по-военному отрубая слова, сообщил: «Плохо дело, Мастер: бунт на корабле. Надо Комта. Иначе — пиздец».

Выяснилось, что потерявшие всякое терпение клиенты грозятся выкинуть ЛИЦО со станции вместе с его кулибинским дивом, а потом разобраться с элитой авторемонта.

— Спокойно, Франтишек, без пены, — попытался охладить пыл гонца мастер, но сам вдруг затрясся, как отбойный молоток, и заорал ужасным голосом: — Аврал, свистать всех наверх! Комта звать! — и, бросив ракетку на стол, побежал по лестнице. И уже откуда-то сверху прозвучало: — Счет 12:8 — в мою.

Вслед за ним я вышел в цех. Плотная толпа возбужденных мужчин обступила новенькую «шестерку». Без своих украшений она выглядела какой-то голой, «босой». Ее хозяин бегал вокруг и восстанавливал роскошные аксессуары, снятые, видимо, для проверки «на стук».

Откуда-то из внутренних покоев привели невысокого парня с бородкой и в ватнике. На голове у него красовалась кепочка с козырьком, как у американского теннисиста Андре Огасси. Она сидела на нем совершенно нормально, но он все равно

беспрерывно поправлял ее правой рукой. Парень мельком взглянул на машину, выслушал краткую подобострастную информацию, где стучит, лениво улыбнулся, правой рукой поправил шапочку, а левую засунул за обшивку багажника и вытащил оттуда громадную ледяную глыбу, которую и бросил к ногам изумленных зрителей. Затем он скромно отошел в сторонку и стал как можно шире держать карман, в который Главный мастер что-то виртуозно сунул — по-моему, «бабки».

Остальные «стахановцы» стояли, виновато потупившись, и ковыряли кафель своими «адидасами». Мне даже думать не хотелось, сколько шкур они сдерут с незадачливого владельца передвижного мехового салона.

Парень тем временем достал сигареты, ловко прикурил левой рукой, а правой опять поправил кепочку. Это был Пионер.

Я узнал его почти сразу. Его знаменитая рука по-прежнему находилась в положении общего салюта, он и шапочку-то, наверное, завел, чтобы руку занять, когда вышел из «пионерского» возраста.

Я бросился к нему, облил слезами и сдавил в своих могучих объятиях.

— Пионер! — кричал я. — Пионерище, какими судьбами, здорово!

— Хай, Капитан, — с достоинством проговорил он, мягко высвобождаясь, — вообще-то, я теперь Комт. Ну, что тут непонятного? Время-то идет: сначала был «Пионером», потом — «Комсомольцем», а сейчас — «Коммунист», сокращенно — Комт. Да и ты, наверное, уже не Капитан, а какой-нибудь там Генерал или Адмирал.

— Да какое там! Ну ты-то как? Как рука? Гипс-то снял?

— Гипс снял. Но недавно — все времени не было. А рука подсохла, видишь, не гнется, но пальцы хорошо шевелятся, — и он пошевелил своими худыми пальцами, в которых мне почудился обрывок веревочного аксельбанта.

— Боже мой. Пионер, — я все никак не мог опомниться, — но что такое отвратительное место, как это, делает вокруг такого потрясающего фрукта, как ты?

— Ну, ну уж! Отвратительное, — передразнил он меня, — ты приезжай ко мне на дачу в субботу, я тебе телефончик оставлю. Кстати, нет ли у тебя знакомых — пару шкур медвежьих достать. Мне на третий этаж — в каминную, только белых, а то у меня от бурых аллергия.

Пионер поправил кепочку и оглянулся — за его спиной уже минуты три топтался какой-то вахлак, безуспешно стараясь привлечь к себе внимание.

— Там, это, как ево… — Он пошмыгал носом.

Новоявленный Комт вздохнул и поманил меня к стоявшему неподалеку «жигуленку», около которого маячили растерянные электрики. Там нужно было подключить выпавший провод, для чего, в силу особенно удачной конструкторской компоновки, пришлось бы разбирать полдвигателя. Пионер лег под машину и ловко, нахрапом взял проводок, внутрь его пропустил тонкой рукою в один-два этапа и быстро, надежно его закрепил.

— А так вам полдня бы пришлось проработать, мозги б встали «раком» у вас в голове, всегда вы на помощь зовете кого-то, — поучал он их, принимая «лаве». — Понимаешь, — говорил мне Пионер, — я здесь основной по всем вопросам. Последняя инстанция. Ты, правда, приезжай ко мне в субботу. Анашу покурим — помнишь Пшикера? А то девчонок возьмем, у меня есть.

— Ах ты мой дорогой Пионерчик, — у меня прямо язык не поднимался этим противным и гадким словом «Комт» его называть, он для меня был и навсегда останется Пионером, — да бог с ними, с девчонками. Вон у тебя уже борода седеть начала. Так посидим.

— При чем тут борода, — сказал он и правой рукой приподнял козырек, чтобы я мог видеть его хитрые глаза, а левой жестом фокусника достал из-за пазухи два рентгеновских снимка.

Похоже, что это была «пионерская» грудная клетка. Снимки просто поражали шикарным качеством, и мучительно хотелось воспользоваться старинной полузабытой технологией и записать на них «Twist again» или «Rock around o,clock».

Я посмотрел их на просвет: с правой стороны из третьего ребра сверху высовывался хорошо различимый бес.

— Комтик, милый, выручай, — наперебой загнусавили новые просители, — четвертый час холостые обороты убавить не можем, винт — до отказа, а он ревет как черт.

— Коврики поменяйте, уроды, — задумчиво сказал Пионер, пряча деньги.

— Видишь, Капитан, как поскакали! Они, идиоты, машину помыли перед ремонтом, а потом коврики перепутали: левый с правым, а правый с левым, — вот резина на педаль газа и давит.

Я только руками развел, а в каждой руке по снимку. Тут за мной прибегают: «Кошелек, твоя лайба готова».

— Ладно, — Пионер потянулся, как кот, поправил кепочку и забрал у меня снимки, — устал я сегодня. Давай, до субботы. Вот тебе мои телефоны, — он подал мне визитную карточку с золотым обрезом, а хочешь — я за тобой «тачку» пришлю.

Совершенно оглушенный, я поплюхал домой, все еще не веря,

что машина у меня едет и работает. Было уже совсем темно. Недалеко от дома, под фонарем, стоял какой-то автомобиль с открытым капотом. Я остановился, вылез и полчаса стоял, тупо глядя в покрытые ржавчиной железки.

В общем, «Взвейтесь кострами, синие ночи!..»

Обознатушки-перепрятушки

После ухода двух монтеров, чинивших в детском саду электричество, дети начали жутко ругаться матом. Устроили дознание. Монтеры категорически отрицали какое-либо ругание при детях.

«Я держал стремянку, на которой тов. Петров паял электропроводку, — писал один из них в объяснительной записке, — и тов. Петров ненарочно все время лил мне на голову раскаленное олово, а я говорил: «Товарищ Петров! Перестаньте, пожалуйста, лить мне на голову раскаленное олово».

(Анекдот)

Это место на Гарден-ринг называется Туф-сквер.

Когда-то очень давно посередине проезжей части были высажены деревья, образовавшие со временем тенистую аллею, где горожане, работавшие в деловом центре, любили отдыхать во время обеденного перерыва. Большинство офисов находилось не далее пяти минут ходьбы, и служащие со своими бутербродами и термосами с удовольствием устраивались на старинных чугунных скамейках в тени больших деревьев.

Политические и военные бури уже отшумели, в стране царила стабильность. Внешняя и внутренняя угрозы еще только начинали вызревать в приграничных районах и на кухнях при плотно закрытых дверях.

Тогдашний глава государства пользовался любовью и уважением народа и имел крепкий международный авторитет.

Однажды усталый президент проезжал по Гарден-ринг в лимузине с задернутыми шторками. Следуя на очередное утомительное совещание, он изредка поглядывал в щелочку на беспокойную жизнь, кипящую вокруг. Машина шла без спецсопровождения, избегая лишнего внимания. Кроме самого президента в ней находились его личный секретарь и два референта, один из которых по совместительству являлся сотрудником Министерства безопасности и отвечал за охрану.

Лимузин остановился на перекрестке. Президент рассеянно посмотрел в окно. «Вот уже и осень, еще одна моя осень, — думал он, глядя в щелочку на детскую коляску, прислоненную к сухому дереву, — что-то рано в этом году, хотя на других деревьях листья еще зеленые».

— Сухие деревья надо бы убирать, — пробормотал президент и со вздохом переключился на текущие проблемы.

Референт привычно сделал пометку в блокноте и приготовился открыть дверцу: лимузин уже подъезжал.

На следующее утро старший советник Администрации забрал в секретариате уже распечатанные распоряжения и передал их по команде. Одно из них гласило: «В целях улучшения пропускной способности одной из основных транспортных магистралей города очистить ее от посадок и тем самым расширить и благоустроить проезжую часть Гарден-ринг…»

Заканчивалась первая половина уик-энда. Большинство автомобилей покинуло нагретый июньским полуденным зноем город. Редкие прохожие спешили пересечь открытое пространство Гарден-ринг и углубиться в прохладу узких переулков.

Полицейская машина стояла прямо посередине широкого асфальтового поля, над которым плавало плоское марево. Блюститель порядка, увешанный всеми необходимыми для поддержания авторитета и удобства причиндалами, поигрывая рацией, прогуливался перед своей машиной и контролировал движение сразу в обе стороны. Ему было очень, очень скучно.

Я двигался со стороны Крим-бридж и был замечен полицейским еще издали. Я бы благополучно так и проехал мимо, но опрометчиво взглянул на маячившую фигуру, и он меня остановил.

Никогда не смотрите из машины в глаза полицейскому: у него непроизвольно сократятся мышцы рук, и он вас остановит.

Итак, он лениво козырнул и, следя за птичкой, мелькавшей в развратном голубом небе, сказал: «Пожалуйста, ваши документы, сэр…»

Так бы я начал эту главу, если бы писал ее тогда, когда и произошли описываемые в ней события и встречи. Я бы перенес действие в какую-либо безликую, но обязательно западную страну и далее уже с удовольствием очернял ее действительность и порядки. В охотку и без зазрения совести.

Разумеется, я бы так поступил только в том случае, если бы очень хотел быть изданным.

Опытный читатель, конечно же, разобрался, что пресловутая Гарден-ринг — это Садовое кольцо в Москве, вырубленное по недоразумению в тридцатые годы, что Крим-бридж — это

Крымский мост, а Туф-сквер — Зубовская площадь. И конечно, ясно, что полицейский — это инспектор ГАИ, ну, а уж «я» — это я, с какой стороны не посмотри.

Сейчас, в эпоху развитой гласности и общего хамства, нет нужды маскировать наши сладкие дела под проклятый Запад, поэтому вернемся в 80-е годы на Зубовскую площадь.

…Итак, он лениво козырнул и, следя за птичкой, мелькавшей в низком сером небе, сказал: «Документы!»

Документы у меня были в порядке, машина работала как часы (я ехал из автосервиса), в кармане лежало около двадцати рублей, и самое главное, до четырех я был свободен как ветер. Правила игры были известны нам обоим, и комедия началась.

Младший лейтенант двумя пальцами, словно противную жабу, взял за уголок мои документы, понюхал и, видимо, удовлетворившись запахом (а у меня нет привычки хранить права на помойке), с ужасным подозрением воззрился на фотографию. Судя по выражению его лица, там был изображен по крайней мере семиглазый пришелец с ногой вместо носа.

— Чьи это права? — так грозно спросил инспектор, что я почувствовал, как пять рублей зашевелились в моем кармане, просясь наружу. Я согнул ногу и прижался джинсами к дверце, а левую руку, полезшую было за деньгами, остановил гигантским усилием воли, пообещав ей купить новые часы.

— До сегодняшнего дня были мои, — справившись с первым испугом, ответил я нагло.

— А где работаете, товарищ водитель? — осторожно осведомился инспектор, явно обескураженный моей независимостью.

Вот это уже загадка века. Почему одним из первых остановленному водителю задается вопрос о его месте работы? Какое это имеет отношение к допущенному нарушению (какового чаще всего и не было)?

И ведь наврать можно что угодно. Один мой знакомый говорил, что он — директор пивного бара «Жигули», и в доказательство хлопал себя по довольно толстому животу. Сотрудников ГАИ трудно заподозрить в легковерности — чего им только не приходится выслушивать, но почему-то именно в этом случае они легко «покупались», и страшно представить, какое их количество в штатском ломились вечерами без очереди в эти «Жигули» с требованием позвать директора.

Конечно, милиционеру приятнее разговаривать на своем языке с директором пивбара или заведующим складом. Из них можно спокойно душу вынуть, а вот какой-нибудь депутат или человек с предполагаемыми связями сам может нервы порядочно

помотать.

Вообще, люди с короткой прической всегда внушали гаишникам настороженность: никогда не знаешь, на кого нарвешься, поэтому я отрастил себе артистический «хвост», чтоб сразу было видно, с кем имеешь дело, а с нашего брата взятки не отличаются шероховатостью.

И дело тут не совсем во внешности — в поведении тоже. Другой мой знакомый, что-нибудь нарушив, выпучивал свои и без того «базедные» глаза и застывал за рулем с «чириком» в зубах. Уже известный вам толстый «директор пивбара» иногда взъерошивал волосы и выкатывался к ногам изумленного инспектора с криком: «Ну, ебни, ебни меня своей палкой по башке!» И пока тот, пряча жезл, дохохатывал, спокойно уезжал. Но тогда на Зубовской площади мы с лейтенантом играли совсем в другие игры.

— Так где вы, говорите, работаете? — переспросил он, хотя я еще ничего не сказал.

— В «Машине времени», музыкант, — поведал я ему, опуская «звукорежиссерские» подробности, взмахнул для убедительности «хвостом» и приготовился выслушать обычные в таких случаях вопросы: «Когда новая пластинка выйдет и правда ли, что Лещенко на Ротару женился?»

Реакция была неадекватная.

— А, проклятая «Машина»! Я вашего директора поймал без прав, дык он мне через 20 минут обещал билеты на ваш концерт привезти. Третий месяц уже стою, жду!

Я-то, конечно, знал, что это запросто мог быть наш Директор, но какого черта?! Получалось один-ноль в пользу милиции.

— Это высокий такой, светленький, на «Запорожце» ездит?

— Да нет, низкий, черный, на «Мерседесе».

— Ну, что вы, — говорю, — это вас обманули.

Мы некоторое время смотрели друг на друга, раскрыв рты, потом он продолжил:

— Ладно, а почему у тебя машина такая грязная? (Уже на «ты» — вот что «хвост» делает.)

— Да где же она грязная, когда чистая. Я только что с мойки еду.

— А я говорю: грязная — вот и вот, — и он указал на два небольших пятнышка.

— Я за то, что по дороге случилось, не отвечаю, а с мойки у меня даже квитанция сохранилась, видите, сегодняшним числом помечена.

Он повертел квитанцию так и сяк, поглядел ее на просвет и, не найдя там водяных знаков, кроме нескольких капель грязной

воды, в сердцах выбросил. Потом, засмеявшись от какой-то своей потаенной мысли, просиял и, чуть не пустившись в пляс, выложил, как мне показалось (о, как я плохо о нем думал), свой главный козырь:

— А огнетушитель у тебя есть?

— Есть. Вот, огнетушитель немецкий, автомобильный. Гасит все что ни попадя. Работает как зверь. Показать? — спросил я у него, направив огнетушитель чуть повыше портупеи.

— Не надо, не надо, и так верю, а вот скажи-ка мне, друг любезный, где у тебя знак аварийной остановки, а?

В это время за его спиной со страшным грохотом столкнулись два огромных «КамАЗа». Водители выскочили и, пользуясь техникой «кунг-фу», начали наносить друг другу по черепным коробкам тяжкие телесные повреждения. Приехала «Скорая», пожарные и ассенизаторы. А также проплыл океанский лайнер, прошли пионеры и пролетел космический корабль «Восток-2» с летчиком-космонавтом на борту.

Мой оппонент, естественно, на них на всех не отвлекался. Он правильно был приучен не распыляться по пустякам, а начав одно дело, довести его до конца и уж потом браться за другое. Поэтому, посмотрев знак аварийной остановки и проверив его на устойчивость в различных погодных условиях, он предложил мне продемонстрировать работу электрооборудования. Я с радостью согласился, тем более что уже была глубокая ночь. Я в обе руки моргал всеми фарами и лампочками, и моя «шестерка» была, наверное, издали похожа на новогоднюю елку, а он, как Снегурочка, бегал вокруг нее, приговаривая: «Вот, мать твою, работает, вот, мать твою!»

Не надо думать, что ГАИ существует только для того, чтобы пить кровь у несчастных водителей. Среди сотрудников попадаются милейшие люди, готовые войти в любое положение и не ранить при этом ни свою, ни чужую нежную душу.

Однажды наш барабанщик Валера Ефремов, человек серьезный и обстоятельный, попытался подъехать на своей машине к концертному залу «Россия», где мы тогда работали. Обилие «кирпичей» и других запрещающих знаков совершенно исключало возможность сделать это без нарушений. Конечно, Валера нарушил. Из-за угла вышел румяный, улыбающийся солнцу и всему белому свету милиционер и, засмеявшись, спросил: «Как настроение?»

Валерик тоже скупо улыбнулся и ответил: «Отличное!»

Милиционер засмеялся еще сильнее и поинтересовался: «Знак видели?»

Валерик, коротко хохотнув, кивнул головой. Милиционер

зашелся и прокричал: «Какие будут предложения?»

Валерик захохотал в голос и показал пять рублей. Милиционер упал и, забившись в гомерическом хохоте, прохрипел: «Предложение принимается».

Тем временем мой лейтенант успел заглянуть под капот, проверить сигнал, бензин в баке, метрику, «пирке», количество пломб на зубах, разрешение на провоз бесплатного багажа и направление на курсы повышения квалификации по всем вопросам.

Я, правда, частично отбился от него тем, что потребовал предъявить документ на право вечернего и ночного ментования и сделал в нем гвоздиком просечку. Наконец он вцепился в руль и стал его крутить в разные стороны и расшатывать.

— А-а-а-а-а-о-а, — вдруг закричал младшóй с диким торжеством, — да у тебя ЛЮФТ рулевого управления!

— Правильно, — попытался я остудить его пыл, доставая техническое описание, — вот написано: «Допускается отклонение до семи градусов». А я только что со станции — ровно семь градусов.

— Да у тебя — все одиннадцать!

— Нет, семь!

— Нет, одиннадцать!

— Нет, семь!

— Нет, одиннадцать, а ТРАНСПОРТИР у тебя есть?!

Я стал с ужасом вспоминать, что такое транспортир. Вспомнил! Это такая серенькая штучка — градусы мерить. Мы в школе ими здоровско кидались. Но он прав: с собой у меня его нет. Я поднял руки вверх и сдался на милость победителя.

— Будьте повнимательней, осуществляя движение! — злорадно крикнул он мне вслед, пряча в крагу мою «пятерку».

Ну где вы еще получите такое удовольствие за 5 рублей? Цирк отдыхает (по первому варианту).

Этот день вообще начался у меня по-уродски — со ссоры с хорошим человеком. Как началось, так дальше и покатило. Никогда не начинайте ваш день по-уродски — со ссоры с хорошим человеком.

Я с утра должен был заскочить в одно место к одному приятелю по одному делу. Только я уже собрался выходить, чтобы начать заскакивать, как он мне перезванивает:

— Ты еще не вышел? Хорошо. Тут вот какое дело… — и стал мне долго-долго и очень подробно объяснять простейшую, в сущности, ситуацию. Я забыл сказать, что приятель этот — известный неологист. У него прямо-таки природный дар к образованию новых слов — как пирожки печет: «Он повернулся

и АДМИНИСТРАТИВНО ушел», «Ты в ЕТИ ДЕРБИ-то не лезь», «Она ВВЕРГНУЛА его в ПЕПЛО разврата», «Тайны туманного АЛЬБИНОСА» и т. д.

Парень он хороший и водит дружбу с самыми знаменитыми людьми — с Аллой Пугачевой, Юрием Антоновым, А. Макаревичем и со мной.

Когда я выпутался из его многочисленных междометий и шквала слов, которых нет ни в одном словаре, выяснилось, что приехал Михаил Боярский и я с вокзала должен его подхватить и доставить к тому же приятелю. — Миша тебе сейчас наберет, я твой телефон дал. Вы стрелку по дороге забейте — и ко мне. Миша на съемки приехал, это явится ТРЕУГОЛЬНЫМ камнем в его творчестве.

Я, конечно, знал Боярского по фильмам, но лично знаком не был. Поэтому с нетерпением присел у телефона и принялся ждать, предвкушая интересное знакомство.

Буквально через две минуты в трубке раздался бархатный мужской голос:

— Здравствуйте, я сейчас на Трех вокзалах. Дойду пешечком до Садового кольца. Сколько это у меня займет времени? Минут, значит, пятнадцать. Так. Вы проедете метро «Лермонтовская», и метров через тридцать у вас справа будет милицейский «стакан», но сразу за ним останавливаться нельзя, тогда вы проедете еще метров двадцать пять…

Он говорил очень напористо, с этакой «мушкетерской» энергией, сам спрашивал и сам же отвечал. Я безуспешно пытался вставить хоть слово — поприветствовать Мишу на московской земле, но инструкции продолжались:

— Сколько от вас ехать до Кольца? Минут двадцать, итого… Какая у вас машина? Мне сказали: белая. Так. Все. Вы меня будете ждать на этом месте в… в… в десять сорок семь.

Ей-богу, без всякой задней мысли я у него спросил:

— А как я вас узнаю?

Возникла тяжелая ленинградская пауза, голос сник и стал объяснять:

— Ну, я в таком черном костюме, в черной водолазке, в черной шляпе, с усами. Сверху черное кожаное пальто… да, черт возьми! Найду-ка я лучше такси. — И телефон умолк.

Я так расстроился, что решил никуда не ездить. Тупо просидел сорок минут, глядя на телефон, потом решил все-таки поехать заправиться.

Так начался этот тягучий и странный день.

У бензоколонки выстроилась длинная очередь. Она двигалась очень медленно. То тут, то там возникали скандалы: большинство

желали пролезть вперед. Вокруг шуровали шустрые хлопцы, предлагающие бензин без очереди, но по невероятным ценам. Сразу за моей машиной пристроились две симпатичные девушки на аккуратной красной «пятерке». Презирая пожарные правила, своими ярко-красными ртами они беспрерывно курили длинные коричневые сигареты и нарочито громко хохотали. Судя по униформе, очень коротким черным платьям в обтяжку, их поведение можно было определить как не очень тяжелое. Девушки стреляли глазками, без крайней нужды высовывали из машины длинные ноги, но без очереди их все равно не пустили.

Где-то через час дошло дело и до меня. Я держал в правой руке шланг, по которому то жидкой струйкой, то со страшным напором подавался бензин. Лавируя между машинами, подшаркал какой-то мужик в домашних тапочках «ни шагу назад», видимо, из соседнего дома.

— Друг, порскни мне чуть-чуть — жена послала, — сказал он сиплым голосом, подавая майонезную баночку.

Я не сразу сообразил, что он имеет в виду бензин: меня сначала-то сбили с толку слово «порскни» и майонезная баночка, но все же джинсы расстегнуть я еще не успел.

Что ж, мне не жалко. Отжал рычаг, остановил струйку, перенес шланг в баночку и нажал снова.

Наверное, все насосы окрестных бензоколонок подключились в эту секунду к моему шлангу, потому что напор был такой, что меня окатило с ног до головы. Бензин попал в глаза, в рот, в нос, на одежду. Даже если бы я часа полтора нырял и плавал в чистом бензине, то не вымок бы сильнее. Единственное место, куда бензин не попал, так это в баночку.

Во рту стоял отвратительный привкус, глаза я просто не мог открыть: их жгло, как огнем. Если бы наши нефтеперерабатывающие заводы делали более чистый бензин, хотя бы как дешевый заграничный, мне бы так глаза не резало. Так что ко всем и без того болезненным и неприятным ощущениям у меня примешивалась за державу обида, поэтому я печально растопырился в полном отчаянии и со стороны, наверное, представлял из себя жалкое зрелище.

Все-таки наш народ в глубине души самый отзывчивый и сердобольный в мире. Почти никто не остался в стороне от моей беды: одни повыскакивали из машин и окружили, другие хохотали прямо из окон автомобилей — сволочи.

Только развеселые путаны из красной «пятерки» предприняли какие-то пусть хоть примитивные, но реальные действия: одна сунула мне в рот коричневую сигаретку, а другая все чиркала зажигалкой, которая почему-то не зажглась. Зажигалка была,

правда, иностранная, но заправлена, видимо, советским газом, пропади оно все пропадом.

Наконец из здания заправки вышла тетка с тряпкой (на ощупь — половой) и протерла мне гляделки так, что я смог увидеть свою избавительницу. Ничего особенно хорошего она из себя не представляла.

— Да сплюнь ты его, сплюнь — чего во рту держать? — говорила тетка, угадав мое подспудное желание.

— Тьфу, тьфу, тьфу, — расплевался я с удовольствием. И пока на всех на них не наплевал, домой не отправился.

У себя в ванной я измылил семь кусков мыла и исчистил три тюбика пасты, израсходовал две зубные щетки, измочалил четыре мочалки и дотерся до татуировки, которую сделал по молодой глупости в четырехлетнем возрасте.

Одежду пришлось выбросить, правда, рубашку и куртку мне месяцев через семь вернула милиция — отняли у местных токсикоманов, которые на ножах дрались, кому первому мою рубашку на бестолковку намотать и вдыхать, вдыхать.

Короче, сам-то я более-менее отмылся, а вот в машине запах держался стойкий, тяжелый. Решил я все окна открыть да прокатиться за городом с ветерком — пусть продует.

Выехал на Волоколамское шоссе, еду, радуюсь — ветерок прохладный обдувает, солнце клонится к закату, и вообще. Просвистел мимо одного поста ГАИ, да там все заняты были: кровь у какого-то «Мерседеса» пили, потом на горизонте еще один пост показался. Тут уж я решил судьбу не испытывать, а то деньги все в «бензиновых» штанах остались, налицо только шесть рублей. Крадусь, как свинья, в правом крайнем ряду — 60 км в час, а ОН все равно выходит.

Невысокий такой лейтенант, лицо улыбчивое, на щеках ямочки, около рта родинка, в общем, по всем приметам жуткий гад, должно быть.

— Как же это вы ТАК ездите? — говорит он с таким осуждением, будто я мимо него на метле промчался.

Интересно, как это я ТАК езжу? Хотел было раздуться, как колбаса, да закричать ужасным голосом, но вспомнил Зубовскую площадь.

— Извини, командир, — говорю, — бес попутал. — И подаю ему шесть рублей.

Очень такое мое уважительное отношение лейтенанту понравилось, он к деньгам потянулся, но сразу не взял, а родинку пощупал и заблеял:

— А кем рабо…

Я говорю:

— Музыкантом, музыкантом — все в порядке.

— Ладно, будь поосторожней, а то у нас дорога контролируется радарами и скрытыми вертолетами. Следующий раз так легко не отделаешься!

Еду я и думаю: «Ага, щас — радары, скрытые вертолеты! Я гаишный вертолет только по телику и видел, а в жизни — никогда. Хотя, может, и не видел потому, что они скрытые. Во всяком случае, что-то тут не так. Первый раз такое от инспектора слышу, надо будет держать ушки на макушке или по крайней мере одно ухо, но востро».

Проезжаю еще три километра, уже почти разворачиваться собрался — опять пост. И что самое невероятное — тот же лейтенант стоит, всеми своими ямочками лыбится. Меня никто по шоссе не обгонял, объехать он не мог, неужели верхом на каком-нибудь скрытом радаре или вертолете? В общем, я в полной растерянности, можно голыми руками брать.

— Я же тебя предупреждал, а ты опять ТАК едешь! Что делать будем? — Он уже приготовил правую руку, но тут я кое-что заметил (все-таки есть во мне божья искра) и говорю:

— Что-то я вас не совсем понимаю, я же первый раз вас вижу, представьтесь-ка по форме.

И не оттого я таким смелым был, что ушлый, а потому, что без денег. А он, правда, совсем, как говорят китайцы, «лицо потерял». Топчется, бормочет:

— Как же так?! Что такое?! Машина — белая «шестерка», ты как ты…

— Это вы, наверное, моего брата останавливали, он сзади едет. Мы с ним близнецы, и машины одинаковые.

Некоторое время мы молчали, потом он хмуро изрек:

— Ну будет, хватит уже — как догадался?

Я ни слова ему не сказал, только на щеку показываю.

— Ах ты черт, черт, черт! Говорил же мне Леха: нарисуй, нарисуй…

И так он, бедный, расстроился. Так уж мне его жалко стало, принялся утешать как мог:

— Не горюй, в следующий раз обязательно выйдет, а сейчас — все одно, денег у меня нет. Обознатушки-перепрятушки.

— Ну, ты хоть кассету мне какую дай, вон у тебя музыка орет, а то Леха с меня живого не слезет.

Дал я ему кассету «Здравствуйте, дорогой Максим Владимирович…» — пусть обслушается со своим Лехой, а он еще канючит:

— Больше ничего не дашь?

— Могу дать тебе «карт бланш».

— А вот насчет бланша мы еще посмотрим.

Я потом с ними подружился — неплохие ребята оказались. Вы уже поняли, наверное? Да, братья-близнецы. И оба лейтенанты: Вовка и Лешка. Пост одного находился в 12 км от другого. И делали они так: если из Москвы кто-то ехал, то Лешка его останавливал, штрафовал за что-нибудь (обычно за превышение скорости), пугал радарами и вертолетами и серьезно предупреждал о расплате за рецидив. Далее он говорил в рацию: «Операция БРАТ», — и сообщал Вовке приметы автомобиля и краткое содержание разговора. Через 12 км Вовка чертиком выскакивал на дорогу и глушил изумленного водителя по полной программе. Денежки они делили пополам — не чужие ведь.

Если кто-то ехал наоборот в Москву, то первым его останавливал Вовка. Как видите, вариант беспроигрышный. А расколол я их из-за родинки, которой у Вовки не было.

Обратно я поехал другой дорогой и подъезжал к Москве уже ночью. На въезде меня опять остановили — нет, не «мой» сегодня был день. Инспектор посветил фонариком мне в лицо и спросил:

— Сколько сегодня выпили?

Я возмутился:

— Да не пил я!

— А дыхнуть можете?

— Могу, — и я дунул на него, как Голова из «Руслана и Людмилы».

— Вот сволочи, — восхитился гаишник, — бензин начали жрать!

РАЗГОВОР С ГАИШНИКОМ

Прости меня за рядность, командир,
Я ехал, ни о чем плохом не думал,
Как ладно на тебе сидит мундир,
Примерно как на мне кроссовки «Пума».

Зачем писать собрался протокол,
Не стою я такого наказанья.
И спрячь назад свой страшный дырокол —
Не доводи клиента до отчаянья.

Товарищ главный милиционер!
У вас, конечно, дома плачут детки.

И старший уж, наверно, пионер,
Хорошие несет отцу отметки.

А бабе нужно новое пальто,
И младшенькому что-нибудь от сыпи,
И дочери к зиме справлять МЕНТО,
И самому в ГАИ с друзьями выпить.

Мы с вами оба люди, командир,
Прими пятьсот в знак нашей вечной дружбы.
Пусть между нами воцарится мир,
В восторге я от вашей трудной службы.

Ну, что же это?! Как же это так?!
Ведь я во многом с вами солидарен,
Не нужно номерной снимать мне знак,
Тем паче что он намертво приварен.

Зачем смотреть доверенность мою,
Конечно, у меня она в порядке,
Давайте я вам что-нибудь спою
Или вокруг поста пройдусь в присядке.
Да я на вас нажалуюсь, сержант,
Тебя со службы выгонят с позором,
Я никакой тебе не спекулянт,
Я — честный труженик, работаю лифтером.

И перестань совать мне трубку в рот,
И так признаюсь, что сегодня пьяный,
Я б в жисть не сделал этот поворот
К посту, где есть такой работник рьяный.

Оставь в покое ты багажник мой,
Что тут сказать, открыл его ты ловко,
Сейчас он, к сожаленью, не пустой,
Ну что ты, что ты роешься в коробках?!

Но-но — пожалуйста, без рук!
Чего вообще ко мне ты привязался?
Зачем кассет так много? Триста штук?
Подкладывать под шкаф, чтоб не шатался.

А джинсов разве много — сорок пар?
Себе с большим трудом достал на вырост,

Тут носа не подточит и комар,
Ну, я уже погнал? Договорились?

Короче, вот часы — себе купил,
А ты все до сих пор с пустой рукою,
Умерь теперь по-быстренькому пыл,
И разойдемся тихо мы с тобою.

* * *

Не раз судьба еще сводила нас,
Но я теперь уже в своей тарелке:
Привет, мужик, который нынче час?
Ну, будь, а то на Ленинском две стрелки.

Не победа, а участие

ХУНВЭЙБИНЫ — участники созданных во время «культурной революции» в Китае отрядов из учащихся средних школ и студентов для расправы с неугодными политическими деятелями.

(Малый энциклопедический словарь)

Он стоит, стоит за спиной десять минут, пятнадцать минут, потом замахнется, но не бьет (а лучше бы ударил).

— Это не работа, Хунвэйбин, а мудовые рыдания. У тебя под что руки заточены?!.

Потом он обычно отбирал напильник, давал вместо него другой, побольше.

— Вот тебе напильник «стахановский» по руке, и хуярь, а то знаешь как оно бывает!

Так говорил красавец-бригадир Пузырев своему молодому ученику слесарю Хунвэйбину.

Хунвэйбин работал на «почтовом ящике», каким-то боком связанном с космическим производством, но не напрямую, а косвенно, и еще учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ.

На работе он скрывал по возможности, что «на мента учится», а в университете не афишировал, что работает слесарем, а не в милиции или суде. Да и работал он только для того, чтобы не забрали в армию, потому как «ящик» давал броню.

Хунвэйбин носил сравнительно длинную прическу, на которую неодобрительно посматривали преподаватели, но ничего не говорили, возможно, считая, что это — один из секретов его службы. Зато на заводе реагировали не так демократично.

Относясь с извечной пролетарской ненавистью и подозрительностью к учащимся в институтах «волосатикам», администрация «ящика» чинила им всяческие препятствия: загружала сверхурочной работой и не отпускала на экзамены и зачеты, пускаясь в долгие демагогические рассуждения о том, что будущее принадлежит рабочему классу.

В доказательство приводилась выдержка из доклада Брежнева: «На ближайшие 60 лет будущее будет принадлежать

рабочему классу».

Как ни странно, находились индивидуумы, которые смотрели вперед дальше, чем на шестьдесят лет, и, собираясь все-таки шестьдесят лет проработать рабочими, на шестьдесят первом перед смертью хотели побыть инженерами, адвокатами и другими малопочитаемыми людьми.

Хунвэйбин, похоже, относился к их числу и мало осознавал, что, работая вот уже полгода, имеет впереди пятьдесят девять с половиной лет для того, чтобы проверить правоту Леонида Ильича.

На заводе волевым решением какого-то козла был принят порядок не выдавать молодежи зарплату, если длина их волос превышала четыре сантиметра, а у нашего героя было аж шесть. Стричься он никак не хотел и вот уже седьмой месяц денег не получал, видимо, собираясь в один прекрасный день побриться наголо, забрать с «депонента» все свои бабки и стать мультимиллионером.

Остальные рабочие его бригады, во главе с бригадиром Пузыревым, считали его чокнутым бессребреником и за предполагаемую бедность прозвали китайским Хунвэйбином, или сокращенно — Бином.

На самом деле единственное, что связывало Бина с Китаем, — это был дорогой китайский халат, в котором в свободное от пролетарского самоусовершенствования время он разгуливал по своей убогой четырехкомнатной квартирке.

За рутиной и ежедневными заданиями все быстро забыли настоящее его имя и фамилию, и полковники в отделе кадров перенесли ударение в слове Хунвэйбин на букву «э», моментально превратив этого светловолосого и голубоглазого парня в татарина.

У себя в бригаде Бин намекнул, что учится в строительном институте, а по мнению работяг, строители если и ушли от рабочих, то очень недалеко. Поэтому откровенной ненависти к нему никто не испытывал и Бину удавалось пока сохранять свое странное инкогнито, тем более что отдел кадров, где все-таки о нем кое-что знали, находился совсем в другом районе Москвы.

Кроме того, что будущее принадлежит рабочему классу, Бин узнал на заводе еще очень много нового.

Так, например, обыкновенную резку уплотняющей резины бригадир Пузырев с нездоровым бригадирским пафосом именовал «резонансом», а стряхивание металлической стружки с рабочего верстака — «стряхнином».

Работа самого Пузырева называлась «стахановской», а неумелого Бина — «мудовыми рыданиями» или «хуем груш

околачиванием». Короче, век живи — век учись.

Несмотря на короткий стаж и потенциальное высшее образование, Хунвэйбин в цеховых кругах пользовался некоторым уважением как изучающий иностранный язык и разные другие науки, поэтому в качестве третейского судьи часто привлекался как последняя инстанция в самых невероятных спорах.

Слесари вели жизнь насыщенную, диапазон их интересов был широк, а предмет спора мог варьироваться от счета в завтрашнем хоккейном матче до точной формулы рибонуклеиновой кислоты.

Однажды, после полуторачасовых криков, включающих в себя упоминания родственников и щедрые обещания исправить при помощи железного кулака ошибку матери-природы, к верстаку Бина подошли в сопровождении сочувствующих пятеро спорщиков.

— Слышь, Хунвэйбин, ты ж в языках образованный.

После долгого сумбурного объяснения, чуть было не перешедшего в исправление ошибок природы, выяснилось, что двое из пятерых готовы поклясться на напильниках, что испанский лозунг «Но пасаран» переводится как «Родина или смерть!». Трое же других знатоков республиканского движения с молоком матери впитали, что «Но пасаран» — это «Все — на баррикады!».

Причем более удачливые испановеды получали в награду хорошую бутылку водки, которую проигравшая команда должна была купить во время приближающегося уже обеда.

Бин был смущен. Еще со школы он помнил, что смелый лозунг «Но пасаран» означает: «Они не пройдут», — так говорили, подняв кулак, республиканцы в 1937 году, имея в виду фашистов. О чем он и сообщил изумленной и растерянной публике.

Но обед был близок, а выпить хотелось очень, поэтому, немного посовещавшись, обе партии приступили к Хунвэйбину с требованием отдать предпочтение одной из версий.

— Нам выпить-то надо, — говорили они с надрывом, — к чему все-таки ближе: к «баррикадам» или к «смерть Родине»?

И те, и другие при этом делали Бину доверительные знаки, косвенно обещавшие в случае именно их победы присоединить «судью» к призовой бутылке.

Бин и вообще-то был далеко не дурак, а выпить — особенно, поэтому надо ли объяснять, что после недолгих подсчетов лозунг «Родина или смерть» показался ему наиболее точной интерпретацией оригинала.

В другой раз предметом спора стало изготовление новогоднего номера стенной газеты.

Уже лет семь по крайней мере мастер Тепляков рассказывал

направо и налево о том, какую шикарную и остроумную стенгазету он сделал в свое время в пионерлагере.

Наконец бригадир Пузырев не выдержал и при всех объявил, что он тоже как-то был в *лагере* и поэтому забьет Теплякова по всем статьям, включая стенгазету.

Шел декабрь, и было решено, что спорщики удалятся в две разные комнаты на три часа и вынесут оттуда по готовому экземпляру новогодней газеты, после чего все тот же Бин определит, чья наиболее новогодняя.

Наградой в соревновании должна была стать… ну да вы сами понимаете.

Через три часа конкурсанты представили на суд свои готовые работы.

И у того, и у другого передовица была от руки неграмотно переписана из «Правды», зато отдел юмора и сатиры был решен в разном ключе.

Первым защищал свой проект Тепляков.

— Я долго думал, в смысле юмора, — объяснял он зрителям, — и решил поместить как бы кому что на Новый год снится, только, боюсь, не слишком ли оригинально.

1. Иванову снится, как бы в столовой очутиться, — декламировал Тепляков, имея в виду известного обжору Иванова.

2. Кулакову снится, как бы в магазине очутиться, — намек на пьянство Кулакова, радостно принятый окружающими, для которых слово «магазин» имело только одно значение.

3. Фонареву снится, как бы со своей женой очутиться (от него недавно ушла жена).

4. Пузыреву снится, — тут Тепляков сделал эффектную райкинскую паузу, поклонился в сторону Пузырева и с сардонической ухмылкой закончил, — как бы без своих кальсонов очутиться (Пузырев собирался закаляться).

Пока Тепляков пожимал руки и принимал поздравления от своих сторонников, уверенных в его убедительной победе, Пузырев, нисколько не обескураженный эпатажем мастера, произнес небольшую речь, в которой коснулся пошлости жизненной позиции Теплякова и беспочвенности его литературных амбиций.

— Идея о снах на Новый год, конечно, хороша. Мне она самому в голову пришла, но исполнение… — Пузырев безысходно развел руками, как бы показывая, что рожденный ползать летать не может, затем поглядел уничтожающе на всех и прочитал свой вариант:

— 1. Иванову снится сон, будто в столовой он.

— 2. Кулакову снится сон, будто в магазине он.

— 3. Фонареву снится сон, будто с женой он.

— 4. Теплякову снится сон: всю зиму ходит без кальсон. (А здесь он имел в виду, что Тепляков — просто осел.)

Бин только диву давался, глядя на разбитных стенгазетчиков. В очередной раз он был поставлен перед трудным выбором. Оба шедевра были чудо как хороши, но Пузырев был вот он, а Тепляков как мастер обретался где-то в верхах, и Бин отдал победу Пузыреву. Тем более что его последний опус про кальсоны был действительно значительно лучше. С точки зрения большой поэзии.

Пузырев расчувствовался и временно перевел арбитра на легкий, но, в принципе, очень ответственный участок труда.

И вот уже третий день Хунвэйбин «сидел на резонансе». Работа была несложная, и Бин, совершив очередной «стряхнин» готовых резиновых полосок в специальный ящик, размечал и надрезал следующий кусок.

Глядя на ровную резиновую ленту, выходящую из-под его ножа, он думал, что, наверное, скоро это его нехитрое изделие полетит в космос, и какой-нибудь бровастый космонавт помянет его крепким космонавтским словом. И еще, будучи человеком спокойным и разумным, он тихо радовался, что «резонанс» с работами по металлу тесно не связан, потому что потребовал бы привлечения работников сварочного цеха, а это была бы уже сугубая специфика, свойственная только этой отдельно взятой стране.

Сварочный цех, находящийся на первом этаже, трудился по давно уже устоявшемуся странному графику, узнав о котором, любой японский рабочий, задавленный капиталистическим гнетом, сразу же сделал бы себе харакири, забыв даже принять сакэ.

Дело было в том, что сварщики во время обеденного перерыва имели пагубную привычку тешить свои вкусовые сосочки в ротовой полости резиновым клеем, применяемым для уплотнения стыковочных узлов прецизных вакуумных трубопроводов, служащих для рефрижерирования и постепенной тепловой отдачи реакторных блоков народнохозяйственного, а может быть, и тактико-стратегического значения, направленного на улучшение общей экологической ситуации и разрешение межнациональных и административно-территориальных конфликтов, развязанных продажными политиканами вопреки здоровой воле всего прогрессивного человечества, ввергнутого силами реакции во все продолжающееся глобальное сокращение рождаемости, о коем еще в XIX веке писал выдающийся, далеко опередивший свое время Коломб эль Мокамбо — предок в

третьем колене знаменитого Мануэля Родригеса Мокамбо, по вполне проверенным данным, никогда не употреблявшего резиновый клей.

Одним словом, после обеда трудоспособность сварочного цеха бывала несколько подорвана той мутной спиртообразной жидкостью, которая оставалась после взбалтывания и процеживания через марлю вышеупомянутого спецклея.

А другим словом, после обеда сварщики просто спали на ватниках в верстаках, и добудиться их не было никакой возможности, так как тонкий расчет потребления (на один килограмм живого веса), сделанный умельцами, позволял продлять мертвый сварочный сон до самого конца рабочего дня.

Года три назад «ящик» получил госзаказ на партию вакуумных трубопроводов, служащих для рефрижерирования и постепенной тепловой отдачи, и прочая, и прочая…

Заказ потом, как водится, отдали другому предприятию, но кошмарное количество клея, завезенное ретивыми военными снабженцами, так и осело на складе, ожидая своего «сварочного» часа.

Далее один сварщик, забредший в гости к своему другу-кладовщику, по достоинству оценил великолепные вкусооздоровительные качества клея и от души порекомендовал своим дружкам для приема перорально.

Слесари, работающие на четвертом, слесарном, этаже, были вынуждены ставить свой технологический процесс в зависимость от начала работы склада № 2, где, собственно, и хранился клей.

Склад открывался в двенадцать часов, и даже страшно подумать, что бы было, если б клей выдавался с самого утра. Все, что нужно было сварить, надо было делать только ДО обеда. Таким образом, между первым и четвертым этажами существовала как бы разница во времени — 4 часа, как между Москвой и Ташкентом.

Довольно быстро выяснилось, что потребление клея ведет к прогрессирующей слепоте. Сварщик Ларионов, бывший во время службы в армии фельдшером и считающийся по этому поводу непререкаемым медицинским авторитетом в сварочных кругах, послал в Международную организацию здравоохранения образец клея и запрос на предмет полезности его для организма. Ответ пришел однозначный: слепота в скором времени действительно накроет сварочный цех, как Оле Лукойе своим пестрым зонтиком — детские кроватки. Сварщики собрали собрание (до обеда), результатом которого стала организация в цеху дообеденного самодеятельного кружка слепого чтения по методу Брайля и изготовление на будущее легких и изящных тросточек для

«слепохождения».

Также была проведена скрупулезная инвентаризация клея на складе и точный подсчет его запасов. Ко всеобщей радости выяснилось, что при умеренном расходе клея должно хватить примерно на те самые шестьдесят лет, о которых так тепло отозвался Леонид Ильич. Правда, ходили упорные слухи, что наоборот, опираясь именно на «клеевые» цифры, референты Брежнева подготовили его знаменитый доклад о будущем.

А по большому счету, для народа было совершенно неважно, где причина, а где следствие. Главное в таком деле — результаты. А результаты были отличные!

И уж само собой, организация кружка и изготовление тросточек тут же заставили прикусить языки некоторых безответственных сварочных жен, огульно обвинявших своих мужей в том, что они не заботятся о завтрашнем дне.

И вообще, не надо думать, что сварщики во время обеда просто так брали и хлестали клей. Нет! Считая себя элитой рабочего класса и хорошо осознавая, что на ближайшие шестьдесят лет будущее — за ними, они придали потреблению клея ритуальный характер, пышно обставив процесс спецатрибутикой и сопровождая его виртуозной игрой в домино.

В качестве доминошного стола использовалась трехметровая труба квадратного сечения, любовно сваренная в коммунистический субботник специально для игры (склад № 2 был закрыт).

Косточки домино, изготовленные из космической стали в другой субботник, вколачивались в поверхность стола с таким грохотом, что слесари на четвертом этаже, пораженные в который раз акустическими особенностями доминошного стола, дружно давились жениными бутербродами.

Проигравшая пара с кряхтением опускалась на колени и, зажимая уши, лезла в трубу, а радостные зрители изо всех сил колотили по ней обрезками космических кораблей и специально приготовленными кувалдами.

Сварщики играли великолепно, у них был огромный опыт — лишь только ощутив в руках пупырышки, сделанные на косточках в расчете на будущую слепоту, они, моментально прикинув шансы, объявляли «козлов». «Козлы» покорно лезли в трубу, а за стол уже усаживалась новая пара.

Таким образом, «проходимость» трубы была такова, что за один обед сквозь «глушилку» пролезали все 26 сварщиков, а некоторые аж по два раза.

Каждым новоиспеченным «козлам» тут же подносили по стаканчику свежего и ароматного клея, а ко второй половине

обеда трубу подвигали, приноравливая каждый раз к очередному верстаку таким образом, что проигравшие из трубы попадали прямо на свое спальное место, где и укладывались усталые, но довольные.

Представить себе слуховые ощущения человека, пролезающего враскоряку через трубу, по которой молотят железом два с лишним десятка идиотов, очень трудно, но было доподлинно известно, что многие сварщики всерьез подумывали об организации кружка по изучению глухо-немецкого языка.

А в общем, сварочный цех был удивительно просторным и светлым, а что касается чистоты, то после обеда, когда сами сварщики, являющиеся тут основной и единственной грязью, уже уютно похрапывали в верстаках, цех можно было фотографировать для рекламных проспектов по научной организации труда.

Большие окна, опрятные рабочие места, аккуратно расставленные вдоль стен порожние бидоны из-под клея иногда привлекали делегации начальства с параллельных предприятий.

Хорошо изолируемые ватниками верстаки поглощали храп сварщиков, и возникала полная иллюзия безлюдности, вызвавшая как-то у одного из посетителей резонный вопрос: «А где же люди?»

Короткий ответ «На работе» его полностью удовлетворил.

«Как много, друг Горацио, на свете вещей, во что мы не врубаемся ваще!» — думал образованный Бин, вспоминая историю с клеем.

В это время через его верстак, как на другой берег Синая, перевесился сливообразный нос.

Это был Мишка Гранович — может быть, единственный в мире еврей-слесарь. Он был сыном известного кинорежиссера и популярной актрисы, вот уже два года аккуратно заваливал экзамены во ВГИК и так же, как и сам Бин, скрывался тут от армии. Тем не менее работали оба на совесть, но Мишкин конфликт с окружающей действительностью выражался в слишком КОРОТКОЙ прическе, и он, зная о кампании, развязанной администрацией против длинных волос, серьезно подумывал, не пойти ли в местком оформить дополнительную компенсацию за короткие. Одним словом, Мишка, в отличие от Бина, деньги получал, и получал их с удовольствием.

Ребята быстро подружились и находили в общении друг с другом отдушину, через которую, правда, вылетала часть производительности труда, хотя и небольшая.

У них было много общего, в частности: возраст, автомобили одной и той же марки, на которых они никогда не приезжали на

работу, а также любимая группа «Битлз», о которой они знали все, что только можно узнать, работая на военном заводе.

Сейчас Мишка как раз и явился для общения и обмена новостями.

— Слышал последнюю хохму? Мать после спектакля рассказала, — говорил он, жуя резинку. — Знаешь, кто такой невротик? Ха-ха-ха!

— Мужчина, не признающий оральный секс, — буркнул Бин.

— То-очно. Ты, наверное, знал, — разочарованно протянул Мишка и стал уговаривать пойти покурить, левой рукой размахивая «Примой», а правой показывая из-под халата красно-белый краешек «Марльборо».

И Мишка, и Бин со свойственной двадцатитрехлетним слесарям мудростью прикидывались на работе «вещмешками» и избегали травмировать пролетарское самосознание окружающих дорогой одеждой и чистыми шеями. Мишка даже наврал, что его отец — бедный часовой мастер, и слесаря четвертого и пятого разрядов жалели его, любовно называя «наш перековавшийся француз».

Мишка с Бином прошли по длинному коридору к курилке. Там в густых, осязаемых клубах почти черного дыма уже отдыхали человек двадцать ударников коммунистического труда. По громкому крику, каким обычно разговаривают глухие, опытный Мишка определил в тумане присутствие пары гостящих сварщиков, околачивающихся в ожидании открытия склада. Им не терпелось объединиться в единое целое с двумя-тремя комками чудо-клея.

Из особенно густого облака торчала худая голова электрика Гены, прозванного, естественно, Крокодилом. Он погружал голову в дым, делал несколько больших хлебков, и снова его ушастый череп торчал над средним уровнем задымленности. Как всегда, Крокодил экономил на сигаретах.

Он вообще-то был пришлым и, работая на третьем — «электрическом» — этаже, приходил сюда проведывать своего закадычного друга Фонарева — Фонаря, с которым дружил вот уже двенадцать лет.

Все свое рабочее время друзья тратили на розыгрыши друг друга, коим велся внимательный счет, наподобие баскетбольного. Компетентное жюри, составленное из особо уважаемых людей, учитывало качество розыгрыша, его последствия, другие важные факторы и присуждало нужное количество баллов за артистизм, технику и т. д.

Долгое время по очкам лидировал Фонарь, но Крокодил предпринял смелую атаку и наврал ему, что в столовой торгуют

вразвес сардельками — между прочим, любимым лакомством Фонаря.

Сопровождаемый улюлюканьем трудящихся, свесившихся из окон, несчастный Фонарь под проливным дождем поскакал через обширный двор занимать очередь, а важный Крокодил принимал поздравления зрителей.

Учитывая беспрецедентный по задумке и из ряда вон выходящий по юмору номер с сардельками, жюри единодушно присудило Крокодилу сразу двенадцать очков, чем вывело его вперед. Счет стал 236 на 232 в пользу электрика.

Фонарев недолго ходил в аутсайдерах. Сбегав в малярный цех, он разжился там некоторым количеством черной несмываемой маркировочной краски и густо намазал ею трубку одного из этажных телефонов. Затем, разыскав Крокодила в курилке, наплел бедняге, что только что звонила его жена и будет перезванивать через пять минут по такому-то телефону. Крокодил свою крокодилиху уважал и боялся, поэтому сейчас же встал на страже у аппарата в полутемной комнате, где предусмотрительный Фонарь заменил яркую лампочку на тусклую.

Фонарев позвонил из соседней комнаты, и взволнованный Крокодил сразу же схватил трубку.

— Але, ктойта? Ничего не слышу!

— Бу-бу-бу, — сказал Фонарь. — Послушай лучше другим ухом.

Крокодил послушно измазал другое ухо и другую руку, внезапно «врубился в тюлю» и заорал:

— Ах, ты чертов Фонарь! Ты где?

— В туалете, на манде! — последовал резонный ответ. Слегка ошалевший земноводный, не оценив ситуации, ломанулся в туалет через курилку, на ходу разгоняя дым черными ушами.

В туалете занятой оказалась только одна кабинка, и Крокодил вцепился в ручку дверцы своей страшной черной рукой. Шпингалеты, ранее установленные на внутренних сторонах дверец, давно уже «отдыхали», осев на кухнях и в ванных трудящихся, и то, что Крокодилу не удалось с налету открыть дверь, говорило о том, что с той стороны ее кто-то крепко держит.

Черноухий надежно уперся левой ногой в косяк, добавил к первой руке вторую, сильно напрягся и выдернул, как репку, на осклизлый кафельный пол начальника цеха Горелова.

Горелов, как говорится, «пришел на четыре точки» и со своими спущенными штанами являл собою роскошную иллюстрацию к классической коленно-локтевой позе, не раз

воспетой в древнеиндийских трактатах о любви.

Вбежавшие вместе с Фонарем «хозяева ближайшего будущего» обступили невольного поклонника «Камасутры» и предались горячему спору о том, засчитывать Фонареву номер с Гореловым или нет. Ведь совершенно ясно, что Фонарь не мог так точно все рассчитать, и надо начислить ему очки только за черные уши и руки Крокодила. Другая половина требовала приравнять происшедшее к случайному шару на бильярде, а такой шар в народе зовется «дураком». Но обычно бильярдисты перед игрой договариваются: считать «дураков» или нет, — а вылет начальника цеха из кабинки не подходит под категорию запланированного «дурака», поэтому…

Горелов тупо стоял на карачках и никак не мог понять, какой он дурак: запланированный или просто так, по жизни, — когда возбужденный нахальными претензиями Фонаря на лишние очки Крокодил протянул начальнику черную руку, предлагая подняться. Их рукопожатие так и просилось на плакат, направленный против расовой сегрегации.

В общем, жюри не зачло Фонарю «дурака Горелова», но все-таки присудило шестнадцать баллов. Счет стал 248 на 236.

Все это случилось около двух недель назад. Почивший на лаврах Фонарь решил не искушать судьбу и взял под видом бюллетеня тайм-аут, бесчестно бросив неотомщенного Крокодила переживать поражение. И напрасно тот чуть не каждый день звонил Фонарю домой, пытаясь подделать начальственный или милицейский голос: Фонарь неизменно его разоблачал и безжалостно «сыпал соль» на черные уши.

Как Белый Клык, брошенный хозяином, Крокодил уныло слонялся по курилке и туалету в поисках Фонаря, и вот сегодня прошел верный слух, что его кореша видели на этаже и он вот-вот должен появиться на своем рабочем месте, то есть в курилке или туалете.

Уверенно ориентируясь в табачном тумане по отбитым плиткам. Мишка с Бином, задержав дыхание, вынырнули на светлый простор туалета. Здесь работяги курить почему-то не любили, и можно было спокойно насладиться американскими сигаретами, не боясь, что застукают.

Очень давно на месте современного туалета была какая-то лаборатория, впоследствии заброшенная, и рабочие с удовольствием ходили туда, так сказать, «до ветра», предпочитая бывшую лабораторию маленькому, тесному туалетику, расположенному вообще в другом крыле.

Но лет шесть назад Горелов, будучи еще простым бригадиром, угодил в составе рабочей делегации в Румынию, где

с большой пользой провел две с половиной недели. Приехал он поздоровевший, румяный от обмена опытом и был переполнен самыми фантастическими идеями и проектами. Он так был раскален своим собственным энтузиазмом, что от него можно было прикуривать.

— У них ведь, в Бухаресте, как? — говорил Горелов, размахивая руками. — Около нового дома газон засеют, потом осенью посмотрят, где народ тропинки протоптал, и только в тех местах дорожки асфальтированные и прокладывают. Все для народа, Европа! Ну, ничего, мы у себя тоже так сделаем.

От Горелова веяло свежим ветром перемен, и только законченный дурак мог не назначить его тут же начальником цеха.

Дураков в тот момент, к сожалению, не нашлось, и Горелов был моментально назначен начальником вместо выпертого срочно на пенсию Клокова, который в Румынии никогда не был.

Первым, последним и поэтому самым любимым детищем нового начальника цеха стало обустройство туалета по румынскому принципу.

Неважно, что помещение бывшей лаборатории было слишком велико — государство никогда не жалело средств на нужды народа, а тем более на нужды в буквальном смысле этого слова. Да и тропинка была протоптана — и работа закипела.

За каких-то семь месяцев силами работников слесарного цеха и добровольцев с других этажей, выговоривших себе заранее возможность будущих посещений, был отремонтирован зал и возведены кабинки. Просторно раскинулся (особая гордость Горелова) красавец латунный желоб, сверкающий в лучах ярчайших галогеновых ламп, без которых на время задержался запуск орбитальной станции «Родина 243», что не принесло ощутимого вреда, поскольку и так в течение семи месяцев вся космическая программа была заморожена по вышеупомянутой причине.

Писсуарный желоб мягко охватывал три стены «Дворца отправлений» и имел сложнейший готический профиль, рассчитанный на электронно-вычислительной машине и позволяющий чувствовать себя вольготно мужчинам любого роста и телосложения. При непосредственном использовании желоб издавал нежнейший серебряный звук, ласкавший даже отсутствующий слух иногда забредавших сюда сварщиков. Правда, сами они способствовать появлению звука не могли, ибо все естественные жидкости их организма уже давно превратились в вязкую клееобразную массу, поэтому они делали вид, что наслаждаются звуком, и то издали.

А в общем и целом, туалет напоминал вестибюль станции метро «Маяковская».

Бин с «французом» стояли посреди «вестибюля», когда туда скользящей походкой вошли Крокодил и, почти сразу за ним, Фонарь и Горелов.

Раньше Бин, увидев тут начальника, сильно удивлялся: ведь у того в кабинете было роскошное отхожее место с мощным, специально изготовленным шпингалетом, но, узнав историю румыно-туалетного проекта, понял, что преступника всегда тянет на место преступления.

Тем временем Крокодил, обменявшись с Фонарем безразличным приветствием (как будто не он, Крокодил, лил здесь две недели свои крокодиловые слезы), подошел к желобу и расстегнул халат, как бы приглашая последовать его примеру.

Горелов, ни в чьем приглашении не нуждаясь, — начальник все-таки, пристроился к желобу, поднял глаза к потолку, и раздался характерный колокольчиковый звук:

— Дзи-и-и-и-н-н-нь!

— И-и-и-и-ю-ю-ю-у-у-у, — а это пищал, выпучив глаза, уже сам Горелов.

— О-о-о-е-э-э-е-о-о-о, — почти пел, дергаясь рядом с ним, Фонарев.

— А-о-а-а! Едрена мать, едрена мать! — вопил, приплясывая в восторге, электрик Крокодил.

Он не зря околачивался в туалете почти две недели, не зря, проявив чудеса фантазии и смекалки, подключил к желобу 12 вольт самого постоянного в мире тока и не зря в тоскливые дни без Фонаря монтировал и маскировал выключатель, чтобы все это устройство врубить.

Приятный вокальный дуэт «Горелов — Фонарев» тешил обостренный двухнедельным ожиданием слух Крокодила еще секунд десять-двенадцать и наконец умолк на раскатистом «до» второй октавы.

Крокодил удовлетворенно улыбнулся, потому что основным достижением его технической мысли было гениальное предположение о том, что экзекуцию невозможно будет прервать самовольно. Процесс мог закончиться только естественным путем: вместе с последней каплей лишней жидкости.

Жюри только руками разводило. Как известно, снаряд в одну воронку два раза не падает. И если Горелов два раза подряд встрял в розыгрыш (неважно, на чьей стороне), то «дураком» его считать могли только особенно бесчестные и беспринципные люди. Поэтому единодушное присуждение Крокодилу двадцати очков было встречено коллективом с энтузиазмом и одобрением.

Надо сказать, что и Горелов повел себя как настоящий мужчина. Вместо того чтобы расколотить Крокодилу или хотя бы тому же Фонарю всю морду, он за двадцать минут виртуозно отремонтировал не работающий уже три года автомат для газированной воды, далее с помощью этих же двух орлов установил его перед самой курилкой и насильно подносил всем и каждому по два-три стакана, и из туалета беспрерывно неслось:

— А-а-а-а-о-о-о-е-е-е-е-е-е-ббббббть!

Счет стал 256 на 248. Крокодил мощным рывком вырвался вперед. Но не в этом была суть, потому что даже сварщики знают: главное — не победа, а участие.

2
Во всем виноваты «Битлз»

Памяти моего сына Лаврика посвящается

Предисловие автора

То, что вы сейчас собираетесь читать, от той части книги, которую вы только что закончили, отделяет ровно десять лет. День в день. Много всего за это время произошло и грустного, и забавного. В общем, как у всех.

Судьба книжки «Все очень непросто», вышедшей прямо к 25-летию «Машины времени» в 1994 году, получилась и впрямь очень непростой. А точнее, и судьбы-то никакой не было. Как потенциального литератора и просто веселого человека меня знали только мои друзья и знакомые — широкому кругу читателей моя фамилия ничего не говорила (но сейчас, конечно, все изменится). Книжка провалялась на прилавках какое-то время, пока ее не списали на склад, где тираж пылился еще несколько лет. Потом владелец склада проиграл его в карты человеку, которому нужен был не склад, а помещение под офисы. Тираж перевезли в какой-то сарай, который в 1997 году благополучно сгорел вместе со всем содержимым.

Но еще Булгаков заметил, что рукописи не горят — я разыскал одно место, где по недосмотру осталось триста экземпляров, один из которых в уже другом оформлении вы только что прочитали, перевез книжки домой и составил из них библиотеку. Не каждый писатель может похвастаться тем, что библиотека у него состоит исключительно из собственных произведений.

С тех пор мне случилось побыть главным редактором многотиражного журнала, муниципальным советником районного собрания, редактором на Четвертом канале телевидения и прокрутиться годика три, давая объявления в газете «Из рук в руки» — «Интеллектуальная помощь по всем вопросам».

После книжки «Все очень непросто», которая была написана в пару книге Андрея Макаревича «Все очень просто», я сделал вывод, что описывать ситуации, где кроме тебя самого присутствуют люди известные и самолюбивые, следует очень осторожно. Не раз потом ко мне подходили некоторые персонажи и указывали на всякие неточности типа: а вот в восемьдесят шестом я не в зеленом пиджаке за столом сидел, а в синем. Я извинялся — память ведь не капкан — и обещал в следующем издании дать развернутые опровержения.

Были и хорошие отзывы. Один мой приятель рассказал, что как-то ночью проснулся часа в четыре от странных звуков на кухне. Когда он в трусах и ужасе туда прибежал, то застал за столом свою 74-летнюю маму, которая в очках и халате, тоненько

хихикая, читала главу «Обознатушки-перепрятушки».

Даже небольшой успех развращает, и в 95-м я сел за следующую книгу, которую, чтобы никто за локти не держал, решил полностью выдумать. Так родился роман «Будни волшебника» — очень, на мой взгляд, интересная тема: живет в современной Москве молодой человек, по сути являющийся волшебником. Типа «Гарри Поттера», только для взрослых. Готовый роман очень быстро приняло к печати одно крупное издательство — в уме я уже начал считать себя известным и состоятельным литератором, но грянул черный 98-й, издательство рухнуло, а рукопись пополнила мою домашнюю библиотеку моих же произведений (299 тех книжек + «Будни»). Правда, еще не вечер! Ну, посмотрим.

А то, что вы сейчас начнете читать, — есть продукт удивительных фортелей непредсказуемой судьбы, которая опять по непонятной доброте душевной предоставила мне, неблагодарному, шанс. На этот раз на ниве кинематографии. А разработка этой нивы сопровождалась такими любопытными событиями и встречами, что не отразить это дело на бумаге было бы преступлением против человечества.

И еще одно. Просматривая в начале работы первые страницы этой книги, я обратил внимание, что автоматически продолжал почти везде писать букву «ё», хотя в современной печати она давно уже не встречается. Я привык доверять своим рукам, поэтому ничего менять не буду. Кто-то ведь ее придумал, эту букву. А то читаешь «еж»! А он вовсе даже «ёж»! Как-то неприятно.

«Beatles», джинсы и будущее России

22 мая 2003 года около 16 часов личный самолет Пола Маккартни приземлился в питерском аэропорту «Пулково». С молодой женой Хизер сэр Пол разместился в комфортабельном президентском номере 152 гостиницы «Европа», а в 18 часов в Государственной консерватории Санкт-Петербурга состоялось торжественное вручение гостю почетного диплома профессора музыки. Диплом Полу Маккартни вручила полномочный представитель президента в Петербурге Валентина Матвиенко. На следующий день сэр Пол участвовал в торжественном открытии детского благотворительного фонда, а вечером в сопровождении директора Эрмитажа М.Б. Пиотровского осматривал сокровища Зимнего дворца, после чего вылетел в Москву.

Что знаменитый музыкант делал с 20 часов до полуночи 22 мая, не знает никто. Многочисленные журналисты и хозяева города потеряли сэра Пола на целых четыре часа. Все это время миссис Маккартни спокойно провела в номере. Есть основания полагать, что она знает больше, чем говорит.

Скорее всего посвящены в эту тайну были только сами супруги…

(Интернет-сайт, освещавший пребывание Пола Маккартни в России. 24 мая 2003 года)

На самом деле в эту «жуткую» тайну был посвящен и личный телохранитель Пола Маккартни темнокожий здоровяк Чарльз Бэйфилд. И еще одна очень пожилая ленинградка Ольга Станиславовна Белецкая, чудом удержавшаяся в смутные времена в громадной старинной квартире на Васильевском острове. И еще один бывший питерец (а ныне москвич) — писатель не писатель, которому здорово повезло.

Все началось, как у какого-нибудь Пушкина, — на балу. В декабре 2001 года в московском заведении «Форте» группа товарищей устроила приватную вечеринку под условным названием «Бал пятидесятилетних».

Играли хорошие музыканты, водка лилась рекой, молодые люди среднего возраста трясли седоватыми прическами и вспоминали танцы и моду семидесятых.

Я подошел к столику, где сидели двое моих старых знакомых — ныне очень известные и влиятельные люди. В неофициальной полутьме, в обществе своих ровесников — пусть не достигших таких впечатляющих успехов, Банкир и Композитор расслабились по крайней мере по возрастному признаку. Одеты были просто и удобно, как уже давно не одевались. Оба с женами: Банкир со своей, а Композитор тоже со своей, но бывшей. Нет, ничего такого — она приехала на несколько дней из-за границы, и экс, которому его нынешняя супруга позволила показать бывшей жене вечернюю Москву, привел ее сюда.

Мы обменялись комплиментами типа «ты что законсервировался?!» и обсудили нагулянную с годами полноту веселящихся знакомых, отметив неизменную молодежную стройность дам за нашим столом. Потом пошло-поехало: «А помнишь то, а помнишь это? А джинсы-шмынсы! А диски-миски?!»

— Короче, Макс, надо снимать документальный телесериал о семидесятых, давай пиши, а мы поможем, — сказал Банкир, блестя глазами, — а то скоро будет не для кого!

И я бросился писать. В смысле домой за компьютер.

В общем и целом сценарий был написан за семь-восемь месяцев. Начались бесконечные *хождения* и *звонения*. Я показывал и рассказывал о проекте всем знакомым и незнакомым, которые по возрасту могли быть современниками и участниками тех событий. Даже тем, от кого будущее фильма уж никак не могло зависеть. И — удивительное дело: как, оказывается, могут растрогать народ воспоминания о джинсовости и волосатости, о фарцовке и бизнесе (тогда говорили: «спекуляция»), о герлах, френдах, хипповости и, конечно же, о битловости.

И Володя Матецкий, и Андрей Макаревич, и Коля Расторгуев, и множество других людей, ставших кто финансистами, кто правительственными чиновниками, а кто просто счастливыми или не очень жителями, с удовольствием пополнили своими воспоминаниями создававшиеся хроники тех удивительных лет.

По поводу телевизионных потенций удалось даже поговорить с самим Константином Львовичем Эрнстом. Результат был более чем положительный. Появились надежды, что кино, может быть, покажут по Первому каналу. Только вдруг загвоздка обозначилась. Стандартная — деньги. То есть все были согласны дать средства: и банки, и телевидение, — только никак не могли определиться, кто первый.

В сценарии выдвигалась смелая, но подтвержденная (как мне кажется) рядом веских доказательств гипотеза о том, что в конце шестидесятых — в начале семидесятых существование

английской группы «Битлз» серьезно повлияло на развитие культуры, а значит и на всю жизнь в Советском Союзе. С гипотезой целиком или частично были согласны почти все возможные спонсоры, но денег на всякий случай пока не давали.

Тогда у творческой группы (ко мне к тому времени примкнули еще два симпатичных киношных человека) возникла идея реанимировать как-то уже озвученное предложение наградить битлов каким-нибудь российским орденом. За вклад в отечественную культуру.

В предвыборный период для Власти это могло бы стать достаточно сильным политическим ходом, и проект автоматически бы въехал в производство как на лыжах. Но история с награждением как-то быстро заглохла, затерявшись в бюрократических коридорах, освежив, впрочем, интерес к единственному действующему ныне битлу — Полу Маккартни. Результатом чего (процентов на пять) и стал состоявшийся 24 мая 2003 года на Красной площади шикарный концерт, которого тысячи людей ждали почти сорок лет.

Месяца за два до приезда сэра Пола я начал носиться с сумасшедшей идеей перевести сценарий на английский и как-нибудь подсунуть Маккартни, чтобы он прознал, как у нас его любили и любят и как мы вообще жили в те времена. Что произойдет после этого, я представлял себе плохо. То ли на Красной площади Пол объявит принародно, что я хороший человек, то ли выдернет потом как репку в Англию — не знаю. Но продвижению проекта это как-то должно было способствовать. Короче, темпераментный гундосый человек Леня шикарно перевел весь текст, а я распечатал его дома на принтере на роскошной желтой бумаге. Вопрос был в том, как передать идолу.

Где-то 20 мая Банк вдруг предложил сделать маленький видео-фильм о пребывании Маккартни в России. По слухам, перед Москвой Пол должен был на пару дней заехать в Петербург, готовящийся к своему трехсотлетию, и двадцать первого поздно вечером мы с моим молодым партнером, сценарием сериала и разумной суммой денег выехали в Питер на встречу с событием, которое сильно изменило мою жизнь.

Как я читал сценарий (первая серия)

— Пятидесятилетними огромными усилиями нашей чудесной партии и правительства в Советском Союзе Идея Бога была почти полностью вытеснена из сознания масс трудовым энтузиазмом и верою в Светлое будущее. Закрылись церкви, под знаменем атеизма многонациональный советский народ освободился от религиозных пут и направил все свои усилия на строительство нового общества. К концу пятидесятых годов под словом «духовность» могла подразумеваться лишь верность принципам марксизма-ленинизма. Вряд ли кто мог себе представить, что в это же время, в портовом Ливерпуле в лице четырех еще не знакомых друг с другом мальчиков вызревала новая, доселе не известная религия для всех. Религия, способная объединить христиан и иудеев, мусульман и буддистов. Светлая любовь, не насаждаемая извне, ничего взамен не требующая, а потому радостно принятая миллионами людей, чьи души и сердца, опустошенные пропагандой, были широко открыты для этого.

Тут я поймал себя на мысли, что от волнения крою прямо какими-то высокопарными штампами — помесью «Правды» с листовками адвентистов седьмого дня. Взглянул на гостей — надо же: сидят и слушают внимательно, как своего продюсера лет сорок назад. Потом дошло до меня — Ольга Станиславовна! Она синхронно выкладывала по-английски мои русские слова, бесстрастно придавая им красивую литературную форму. У меня при себе был и печатный английский вариант, который я намеревался дать Маккартни с собой, но очное выступление (с моей выразительной мимикой) — есть очное выступление.

С Ольгой, закадычной подругой моей бабушки, я созвонился сегодня часа в три. Напугался сначала долгих длинных гудков (даме-то по моим подсчетам сейчас должно быть далеко за восемьдесят), уже хотел трубку класть, но наконец услышал энергичное старопитерское «У аппарата!». С облегчением поздоровался, передал привет от мамы, сказал, что приехал по душу одного англичанина. Не был уверен, что Ольга знает битлов.

— Маккартни, что ли?! — снасмешничала дама. — Так он будет у Юры жить.

Юрий Сергеевич — это младший сын Белецкой. Ему за полтинник, и он почти что олигарх. Теневой совладелец двух гостиниц в центре Питера.

Расчет был на авантюрный склад характера Пола, и против всех ожиданий расчет этот оправдался. Для встречи Ольга

предложила свою квартиру, в которой я в последний раз был лет тридцать назад. Она помнилась мне просто огромной. Такою, как оказалось, и осталась.

Хозяйка, когда мы договаривались, задала только один вопрос: «С чем печь пирожки?»

— С вегетарианством, — ответил я.

И сейчас, слушая ее безукоризненное произношение и изысканные формулировки, я против воли ловил умопомрачительный полузабытый запах из-под вышитой салфетки, накрывавшей старинное блюдо в центре стола. И от аромата этого совсем успокоился и продолжил уже без особых красивостей.

— В чем была загадка «Битлз»? — Я солидно встал и начал расхаживать по ковру. — Чем до сих пор ваша музыка так цепляет? Не знаю, как объяснить, но вы в корне изменили жизнь целого поколения или даже пары поколений, пустив реку нашей истории по совершенно другому руслу. Сейчас это хорошо видно из нового века, в котором мы уже все живем, но давайте я вам расскажу поподробнее, вернемся лет на тридцать с лишним назад.

Я опять прервался, но на этот раз взглянул сразу на Ольгу. Она поощрила меня кивком головы: мол, давай-давай, — все равно это вроде как торжественная часть — вступление.

Я поехал дальше и прямо почти видел то, о чем говорил:

— К тому времени на Западе битломания уже несколько лет бушевала в полный рост. Как ураган пронеслись ваши гастроли по Америке. Визжали на концертах девушки Европы и Азии, но наша страна внешне, как всегда, оставалась этаким неприступным бастионом традиционной музыкальной культуры и оплотом насажденной сверху лубочной эстетики.

В идеологическом смысле времена тогда определялись как довольно тяжелые, но свежий ветерок перемен уже давно витал в умах и в кухонных разговорах продвинутой части общества.

Короче говоря, почва была благодатная, и ливерпульские семена, попавшие в нее волею случая, быстро пустили корни и дали всходы, заметно прогнувшие уже давно начавший ржаветь железный занавес. На фоне постоянных запретов и почти полного отсутствия информации создалась уникальная ситуация, при которой у нас в СССР образовалась многомиллионная армия поклонников «Beatles», *ни разу не видевших своих кумиров* ни живьем, ни на экране в действии. И, судя по железобетонной крепости устоев Советского строя, шансов когда-либо побывать на концерте и увидеть вашу команду живьем у отечественных поклонников не было никаких.

Эта удивительная безответная любовь на расстоянии, переросшая у людей в желание перестать выглядеть как положено, перестать быть такими, как все, взволновала власть, заставила ее бороться с новой напастью всеми возможными средствами. Тягаться с основным источником зла — извините, с самими вами — было невозможно, а вот потрепать собственных граждан, поставить их на место казалось легче легкого. Да и опыт в этом плане имелся вполне приличный.

А вообще, по-человечески, реакция «совка» (я опять напугался, что Ольга переведет в буквальном смысле как совок для мусора — «scoop», — но она ограничилась «reaction of our Government») напоминала самую настоящую ревность. Как это так? — обхаживали, обхаживали народ, как невесту — то карточки отменят, то светлое будущее посулят, а невеста эта, продолжая равнодушно лузгать семечки, вдруг изменила и стала оказывать знаки внимания совершенно заезжему молодцу. И не какому-то там родному славянскому чеху или на самый худой конец югославу, а вовсе чужеродному туманному альбионцу, после которого по вредности могли идти только поклонники желтого дьявола — американцы. Причем альбионец этот о возникшем чувстве не знал и пышными формами невесты совершенно не интересовался. На Руси такие вопросы всегда решали с помощью кольев или дубины, а для этого конкретного случая из огромного арсенала дубин была выбрана самая подходящая — сатирическая. Не можешь добраться с колом до соперника — надо обсмеять его на всю деревню.

В очередной раз наша страна начала доказывать себе и всему миру, что идет она особым путем и умом ее не объять.

Пол *сам* сходил на кухню и вернулся с каким-то особенным соком, который привез с собой. Потом взял пирожок с морковью и прикусил, а его телохранитель достал сигару, но не закурил, а продолжал держать в руках, время от времени нюхая. При виде такой замечательной картины я забился от страсти, как холодильник «Юрюзань», имея в виду невозможность их сфотографировать, но уговор дороже денег (моих по крайней мере). И продолжил:

— В течение трех-четырех лет в прессе и по телевидению ваше название категорически не упоминалось. Будто бы такого ансамбля и не существует. Вас попросту обмолчали. Потом стали появляться редкие публикации, но исключительно в сатирическом ключе. В них «Битлз» называли «колорадскими жуками» или еще более остроумно — навозными. Карикатуристы изображали вас на помойке, а куплетисты предлагали морить дустом: «В Новогодней их программе весь экран забит жуками,

вот бы им подсыпать дуста, чтобы выправить искусство!» Активно эксплуатировались сочетания типа: «Битлз» — быдлз.

Я не расслышал, как старушка перевела последнюю, на мой взгляд, непереводимую фразу, но гости переглянулись и весело рассмеялись. Похоже было, что Ольга вышла на настоящий рабочий режим. Переводчики старой закалки веников не вяжут.

— Потом по стране стали раскатывать артисты, под музыку этих самых «Быдлос» с едкой сатирой демонстрирующие, до какой степени эстетического падения можно порой дойти, не имея под собой твердой идеологической почвы. Но чаще всего такие выступления давали обратный эффект.

В мае 1970 года неудавшаяся цирковая гимнастка Оля Твердянкина, выступавшая тогда в некоем дамском дуэте, по оплошности забеременела от нижнего акробата и уехала рожать к матери в родной Ростов-на-Дону.

Эта романтическая история нанесла непоправимый вред и привела к полному развалу большой концертной программы, в составе которой Ольга с партнершей с неизменным успехом бомбила Дворцы спорта больших и средних городов Советского Союза.

Вы знаете, господа, у меня тут есть интервью с Сергеем Валентиновичем Макаровым, министром медицинской промышленности, тогда просто студентом. Он в Саранске в те времена посещал именно такой концерт, — и я зачитал:

«Где-то в середине первого отделения между одноколесными велосипедистами и актуальными куплетами разбитной конферансье, кривясь от отвращения, объявлял: «А вот сейчас к нам приехали «Би́тлы», а вернее, — «Патлы». На сцену выскакивали две женщины в лохматых париках и клешах. Они размахивали фанерными гитарами и пародировали манеры западных артистов.

Но при этом из динамиков неслась хотя и некачественная, но достаточно громкая фонограмма песни «Beatles» «Хад дэйз найт». Мы с друзьями были уже не на одной такой программе, поэтому специально садились далеко — где-то в пятидесятом ряду, чтобы, прищурив глаза, представить себя на настоящем концерте «Beatles». С такой громкостью и в большом зале их музыку тогда больше нигде нельзя было послушать».

Короче, ходил народ на двух с половиной часовое представление исключительно ради номера «Патлы».

— А что, эти дамы были действительно на них похожи? — спросил ради вежливости Чарльз.

— Ну, бутлег, — понимаешь? — перебил его нетерпеливо Пол. — Таких потом много было!

— Так что же они, прямо под вашу песню?!!

— Да это же Россия, причем тогда. Все равно приятно. Я-то вообще в то время считал, что СССР на другом полушарии находится.

Я понял почти все, что они говорили, но не стал объяснять тонкости про эффект присутствия якобы на настоящем их концерте, а начал просто вслух вспоминать об их бешеной популярности, несмотря на дефицит информации.

— В молодежных массах не знать о «Битлз» считалось очень позорным. Когда кто-то в компании, слушая на тогдашнем триумфе отечественного магнитофоностроения «Айдасе» некую музыку, например малоизвестный израильский дуэт «Сестры Бери» и желая проверить своего приятеля, спрашивал: «Кто это?», ответ «Beatles» удовлетворял всех. Важно было, что человек просто знал о существовании вашей группы.

В течение какого-то времени в большинстве своем никто у нас даже толком не представлял, как вы выглядите. Позже с затертых вырезок из иностранных журналов умельцы стали ретушировать и увеличивать ваши портреты. Самодельно многократно переснятые, они вешались на стенки квартир, школьники украшали изображениями ливерпульской четверки дневники и учебники, а юные счастливцы, имевшие свою комнату, в «красном» ее углу оборудовали настоящие иконостасы с фотками и пластилиновыми фигурками музыкантов. Народ посолиднее украшал собственную кожу замысловатыми татуировками, варьирующими название группы, или простой аббревиатурой «ДПДР» — «Джон, Пол, Джордж, Ринго», вызывавшей у правоохранительных органов нездоровые ассоциации с подпольными запрещенными партиями, а значит и с опасностью для существующего строя. «ДеПеДеэР» ников активно хомутали.

Тут Ольга как-то слегка заплуталась с переводом, и я не поленился в качестве иллюстрации изобразить «ДПДР» у себя на руке синей шариковой ручкой. Оба гостя долго смотрели на мою руку, но, по-моему, не очень поняли, почему из-за безобидной татуировки полиция задерживала модную молодежь.

— По столице ходили слухи, что какой-то студент МГУ привез с заграничной практики узкопленочную бобину с фильмом, где «Beatles» играют аж четыре главные роли. Студент вроде бы установил у себя дома проектор и за пару литров портвейна устраивал просмотры. Милиция *очень* распрашивала длинноволосых, а городские продвинутые девушки на всякий случай стали оказывать повышенное внимание *всем* студентам МГУ. Через несколько лет по советским кинотеатрам прокатил

документальный фильм «Спорт, спорт!» или «Спорт, спорт, спорт!» — в общем, о спорте, где секунд шесть-семь показывали вашу команду. В какой связи — сейчас уже никто не помнит, но ходил народ на этот документальный шедевр раз по десять-пятнадцать, исключительно из-за вас, причем с каждым разом эпизодик становился все короче и короче, — видимо киномеханик вырезал кадрики, делал из них фотографии и продавал. А уж когда пошел мультик «Yellow submarine», то люди начинали верить своему счастью, только уже сидя в зале и видя первые кадры. А до последнего момента все думали, что обман, что ничего не будет, что просто совпадение названия. Но все это было значительно позже.

А вообще, играя замечательную музыку, вы наделяли поклонников не только виртуальным счастьем. В течение десяти лет всем молодым людям до тридцати мода на «Битлз» приносила вполне ощутимую материальную пользу: народ имел возможность экономить на пиджаках! Достаточно было взять старый папин лапсердак, отрезать у него воротник, отгладить лацканы, пришить еще одну пуговицу и… получалась вполне сносная *битловка*. Ну, как у вас на пластинке «Meet the Beatles». А если еще у мамаши или бабушки модника хватало времени и мастерства, чтобы оторочить воротник бархатом или сатином, то человек становился центром компании на период от нескольких часов до нескольких лет. Но это было уже наше родное ноу-хау. Менты, кстати, называли такие пиджачки *быдловками*, с высоты своего интеллекта имея в виду, что носить их может только быдло. А брюки… Кстати, когда у вас начали носить расклешенные брюки?

— Ну, начинали-то мы, конечно не в клешеных, — Пол покровительственно взглянул на Чарли и продолжал с мечтательным выражением, — а в узких таких коротковатых брючках, открывавших остроносые сапожки на скошенных каблучках.

— Ой, знаю, у нас их еще называли «битловскими». А на Западе, кажется, такую форму обуви и тогда, и сейчас именуют «козак». Ведь и аттракцион с рельсовыми спусками у нас зовется «американскими горками», а в Штатах — «русскими».

— Так вот, клешеные брюки мы, как и весь мир, надели где-то в середине шестидесятых.

— Надо же! А у нас первые ваши изображения в широких штанах появились только с пластинками «Клуб одиноких сердец Сержанта Пеппера» и «Эби роуд». Наши все сразу оделись в клеши, или, как говорили с пафосом — «клеша́». Но что для русских умельцев какие-то каноны! Гражданами тут же были

распороты старые (да и новые!) брюки, туда вставлены бархатные (ситцевые, атласные и т. д.) клинья, образовывавшие так называемые *бантовые* складки. Для укрепления носкости получившиеся брюки отделывались на концах молниями или согнутыми копеечками, а для освещения темных танцплощадок в «бантовые» складки помещались цветные лампочки. Плоские батарейки «КБС» держали в карманах. Там же находились и выключатели. Компактных автоматических размыкателей китайцы еще не изобрели, и руки танцующих, засунутые в карманы, были постоянно заняты включением-выключением «иллюминации». Драк на танцах стало значительно меньше.

Вот про вас говорят, что это вы придумали длинные прически. Говорят — ваш первый продюсер Брайан Эпштейн разработал такой запоминающийся и шокирующий поначалу имидж.

— Астрид Кир… Киршнер ту девицу-фотографа звали. Это в Гамбурге было, она дружила с нашим другом и придумала причесывать нам волосы от макушки вперед. Но они вовсе не были такими уж длинными.

— Вот-вот, а у нас в СССР ваши, в общем-то, пристойные по нынешним меркам челки с гневом называли «патлами». В этих прическах начальству виделась чуждая идеология, некий протест и власть начала бороться с ними всеми возможными и невозможными средствами.

Кажущаяся сейчас даже нам чудовищной система отлова на улицах длинноволосых юнцов с последующей насильственной стрижкой в милиции — в семидесятые годы в Союзе была обычной практикой.

И как всегда в России случалось, на местах палку многократно перегибали. По улицам районных центров специальные люди гонялись с ножницами для металла за длинными галстуками и остроносыми ботинками, превращая их в тупоносые босоножки. Румяные комсомольские оперотрядовцы с удовольствием раздирали по швам широкие штаны всем встречным и поперечным, за исключением действующих матросов.

Пока Ольга объясняла английским мужчинам, что такое комсомол и почему надо было его бояться, я вспомнил о своей заводской юности.

— На многих предприятиях руководство не выплачивало молодым рабочим зарплату, если длина их волос превышала 4–5 сантиметров. Прямо от кассы заворачивали и отсылали в парикмахерскую. Находились, правда, ребята, отказывавшиеся стричься в порядке протеста. Их деньги бухгалтерия откладывала

на депонент, как это делалось с тяжелобольными, месяцами бюллетенящими трудящимися.

Поступить в институт, имея «битловскую» прическу, было нереально, разве что в ПТУ. Нельзя также было быть длинноволосым комсомольцем, если у тебя прическа не «вверх», а «вниз». Везло, знаете ли, только молодым людям с курчавыми жесткими волосами — нестрижение в течение шести месяцев делало их похожими на международную страдалицу Анжелу Дэвис, что не поощрялось, но уж по крайней мере и не запрещалось, как пресловутые «волосы вниз». Помните, кстати, Анжелу? Нет? Ну ладно, проехали. Находились также битлоподобные орлы, отбивавшиеся от комсомольских собраний липовыми справками: мол, снимаются на «Мосфильме» в исторической эпопее. Им все завидовали. В общем, волосы не отращивали только ленивые. Даже лишенные воображения и незамысловатые солдаты, готовясь к «неминуемому, как крах международного империализма дембелю», мечтательно говорили друг другу: «Вот приеду домой, *в оброст* пойду!»

Ни милиция с ножницами, ни комсомол, ни партийная политика не могли убить в человеке тягу к прекрасному.

Сначала послушать вашу музыку можно было только по приемнику. Причем даже не на коротких волнах, на которых активно работали разные клевещущие «голоса», а на длинных и средних. Вас много крутили чехи, поляки и наши братья-болгары. Позже тонкими сруйками такая музыка стала просачиваться в дырочки, образованные тогдашними скандальными радиопередачами типа «Запишите на ваши магнитофоны». Ночной бархатный голос Виктора Татарского до сих пор с замиранием сердца вспоминают наши меломаны семидесятых.

С появлением во всесоюзной продаже коротковолновых «Спидол» и «Туристов» где-то на двадцати пяти метрах любой мог поймать склеенную в кольцо вашу песню «Любовь за деньги не купишь» — я имею в виду «Мани кэнт бай ми лав». Говорили, что это *радиомаяк* не то для самолетов, не то еще для чего. В магазине при покупке приемника спрашивали: «Маяк берет?» — и это имелась в виду вовсе не широко известная московская радиостанция.

Во дворах и подъездах русскоязычный вариант «маяка» звучал так: «В ливерпульском ресторане шум и тарарах, там четыре мальчика с гитарами в руках. Кэнт бай ми лов — любят нас, битлов».

Еще одной прорехой, в которую раз или два в год всякие растлевающие мелодии устремлялись к нам в Союз, было «Интервидение», а конкретно какие-нибудь масштабные

соревнования по фигурному катанию. Народ задолго до трансляции подготавливал магнитофоны и писал подряд музыкальное сопровождение всех иностранных фигуристов. Причем большинство телевизоров не имело специального выхода для записи. Умельцы телики вскрывали и с риском для жизни подсоединяли проводки, идущие на вход магнитофона. Так вот, в музсопровождении к танцам на льду легко могла попасться ваша свежая песня или тех же «Rolling Stones» — цензурировать не решались даже самые оголтелые сторонники телевизионной нравственной чистоты. Лишь несколько раз, когда какая-нибудь Габи Зайферт или Патрик Пера́ во время показательных выступлений отрывались в совсем уже искрометном рок-н-ролле, передачу просто прерывали — «Просим извинить за технические помехи за пределами Советского Союза!»

Кстати, очень показательна в этом смысле история первого и единственного на протяжении многих лет появления на наших голубых экранах настоящей бит-группы — английского трио «Кристи». Среди медовых песенок Сопотского фестиваля где-то между монстрами социалистической эстрады Карелом Готтом и Лили́ Ива́новой на сцену вдруг выскочила троица длинноволосых пареньков и грянула нечто совсем уже фестивалю неподобающее. Это была в общем-то совершенно невинная песнюшка «Yellow river» (Желтая река), впоследствии прославившаяся у нас как «Толстый Карлсон».

Элеонора Беляева — симпатичная ведущая единственной на телевидении в своем роде программы «Музыкальный киоск», комментировавшая в Сопоте прямую трансляцию, в ужасе от происходящего попыталась громким текстом забить звук лихих «Кристи». Поставленная в безвыходное положение, она бормотала о неаккуратном внешнем виде исполнителей, нескромных движениях, нечесаных волосах, накладывая этот комментарий прямо на несчастную «Желтую реку», лишь бы телезрители не слышали самих музыкантов. Получился локальный телевизионный скандал, только добавивший будущей популярности незамысловатой «Желтой речке».

А телезрителям, находящимся в культурном шоке оттого, что им дали все-таки хоть что-то подсмотреть, и в голову не пришло звонить или писать злобные письма. Все понимали: спасибо и на этом.

Вот так на советском телеэкране впервые появилась живая *группа*, а вас, вас я лично первый раз увидел с унитазными кругами на шее — спасибо им. Кругам в смысле. А то б вообще не показали.

— Я тоже тогда смотрела, — скромно добавила Ольга, — но я

понимаю. Надо было эпатировать, да? — Гости кивнули, а Чарлик сказал:

— А я никого из ваших даже с кругами никогда не видел!.

— Ты и по-русски не знаешь ни слова!

— А ты сам-то знаешь?!

— А вот и знаю, — из шестидесятилетнего солидного дяди Пола как будто высунулся семнадцатилетний паренек, — priviet, spasibo, na zdorovie. Мы с Джоном даже намеревались один куплет написать по-русски.

Очень мне хотелось им сказать: «Не надо ссориться, горячие английские головы!» Но я интеллигентно продолжил, следуя этой новой теме:

— А у нас, в смысле языкознания, повальное увлечение «Beatles» неожиданно породило интерес к английскому языку как к таковому. Все ходили со словарями, старались переводить любимые песни и, пародируя Маяковского, говорили так: «Я английский бы выучил только за то, что им разговаривал Леннон!»

Самодеятельные музыканты, с некачественных пленок разучивавшие ваши песни на слух, через некоторое время с изумлением начинали понимать, что они уже могут почти свободно объясняться на этом доселе не знакомом им языке.

Проникло ваше творчество и в разговорный язык. И если до поры до времени бойких, не чуравшихся продвинутого отдыха девиц именовали подругами или чувихами, то после выхода известной песни «Герл» все они в одночасье стали называться *герлами*.

«Давай *побитлуем*!» — говорили в компаниях, и это означало приятное времяпрепровождение герлов с френдами при разумном употреблении некрепких алкогольных напитков. Под музыку сами понимаете чью. Под ваши песни заводились знакомства, зачинались дети, и нет, наверное, ни одного человека среднего возраста, которому та или иная ваша композиция не напоминала какую-нибудь романтическую историю. С вашей группой ассоциировались только положительные эмоции: «Заебитлз!» — говорили про что-то очень хорошее, и это была высшая оценка.

Ольга покосилась на меня по поводу «заебитлз» — и я махнул рукой, соглашаясь, что это непереводимая игра слов. Но Пол, уловив заминку, переспросил: «What did you mean — «They are Beatles»?

Я сначала показал большой палец, а потом, соединив его с указательным, воспроизвел всем понятный знак «окей». Пол удовлетворенно кивнул.

— В какой-то момент у нас появилась ваша пластинка «Клуб

одиноких сердец сержанта Пеппера», или просто «Сержант» — как ее называли посвященные. Пластинка была оформлена в невиданном доселе у нас хипповом стиле, так же, как и вышедший позже мультфильм «Желтая подводная лодка». Помните? Там на развороте диска вы надели красивые разноцветные мундиры, еще более отрастили волосы и все четверо украсились вислыми украинскими усами. Мы потом узнали, что вы упали с велосипеда… (Пол поправил: «С мопеда!») …повредили губу и, чтобы замаскировать шрамчик, отрастили усы. Глядя на вас, обзавелся усами и Джон. А затем и остальные. Но это узналось потом. А тогда, после выхода «Сержанта» советский народ от любви мгновенно также оброс усищами, с которыми заинтересованные организации тотчас повели непримиримую борьбу. В проходных заводов висели плакаты типа: «Отрастил усы — поменяй фотографию на пропуске!» — трудящиеся не утруждались перефотографированием, а по-ретушерски научились подрисовывать усы на фотографиях простым карандашом. После сбривания настоящих нарисованные стирались ластиком.

— А какими слухами оброс тот ваш знаменитый единственный концерт в Москве?!! Ну, когда ваша группа летела не то в Японию, не то, наоборот, из Индии домой. Якобы по неведомым причинам самолет посадили в Шереметьево, и в Театре эстрады в обстановке строжайшей секретности вы дали концерт для всей нашей партийной верхушки во главе с самим Политбюро. Вроде бы здравомыслящие люди, которые, по идее, могут найтись в любой — даже коммунистической — партии, убедили Брежнева посмотреть группу.

И суток трое молодежь дежурила у всех входов-выходов запертого театра, где в те дни действительно не было объявлено официальных мероприятий, что только подкрепляло предположения фанатов. Все мечтали уж если не послушать, то, по крайней мере, хоть одним глазком взглянуть на выходящих из служебного входа легендарных «Битлз». Правда, вскоре осаду пришлось снять. Безликие люди в штатском, проявив небывалый демократизм, вежливо объяснили, что вас уже давно увезли через подземный ход «Дома на набережной» — ну, того правительственного дома, где этот театр. В народе говорили также, что Леониду Ильичу и другим функционерам концерт понравился, и кто-то очень крутой — кажется Подгорный — вроде бы сказал: «Вот видите! И ничего страшного!»

У всех появилась почва для радужных надежд на культурное обновление.

До сих пор у нас можно найти людей, которые, если уж сами

тогда в зале не присутствовали, то имеют близких друзей, побывавших, лицезревших, аплодировавших. А есть и такие, кто лично был и даже брал автографы. Недаром же вы песню потом выпустили «Бэк ин де ЮЭсЭсА»! Значит, было дело, лед тронулся и должно было бы потом все стать очень хорошо, но опять некие сволочи подгадили. Так для кого вы тогда все-таки играли — для партийцев или для целинников?

Последние несколько фраз я проговорил на подъеме и довольно быстро. Да еще и руками махал, как ветряная мельница: разволновался, вспомнил, как сам к Театру эстрады ходил, но на концерт, конечно, не попал. Ольга за мною явно не поспевала и тормознулась где-то на «Подгорном», объясняя, кто это и что это. Я ждал ответа, а у сэра Пола глаза заблестели, он склонил голову набок и говорит этак проникновенно:

— Эх, как жаль, что я до сих пор так и не побывал в вашей замечательной стране!.

(Что такое?! Значит, не было никакого концерта?! А чего же я к Театру эстрады ходил?!)

— А уж как нам всем жаль! Вы ведь, Пол, из группы у нас всегда были самым популярным…

— После Ричарда Старки, — вроде как пошутил Чарли, видимо знающий нечто мне недоступное.

— Это само собой, но про него таких слухов не было, — я заторопился, — а про Пола… Сразу после проникновения к нам «Сержанта» всех советских битломанов постигла кошмарная сердечная утрата: якобы после автокатастрофы или после тяжелой скоротечной наркотической болезни скончался самый веселый и симпатичный «жучок» — Пол Маккартни.

Продажные западные средства массовой информации молчали, да и сами музыканты, по-видимому «по рукам и ногам связанные античеловеческими контрактами», также вынуждены были скрывать от мировой общественности смерть своего бас-гитариста — соавтора музыки и слов почти всех их известных песен. Но обмануть они могли кого угодно — только не нас, советских людей!

Ведь каждый школьник у нас знал, что рука, простертая над головой несчастного Пола на фотографии с пластинки «Сержант», по шотландскому обычаю означала смерть. А нашивка на рукаве «OPD»? Разве это не аббревиатура надписи «Officially Pronounced Dead» (Официально признан мертвым). И сколько бы официальная пресса ни утверждала, что это нашивка **О**нтарийского **П**олицейского **Д**епартамента, поднаторевший на официальном вранье народ не верил ни в какую. Печальный факт подтверждала и ваша босоногость на

пластинке «Эби Роуд». А номер на «Фольксвагене» с этой же пластинки — «28-IF»?! (IF ведь по-английски — «если»). Разве не означало это, что *если* бы Пол не погиб, ему тогда как раз бы было 28?! И, наконец, если правильно потереть одно из ваших изображений на той же пластинке вазелином, то вполне мог обнаружиться предмет, также не особенно совместимый с жизнью, — череп. Вазелин тогда исчез из аптек, и страшно подумать — какое количество редких пластинок было тогда подпорчено.

На англичанах лица не было. Оба переглянулись, а пораженная Ольга осенила себя крестным знаменем.

— Почему вазелином-то? — тихо спросила она у меня.

— А согласно технологий и взглядов того времени!!! (Что еще я мог ей сказать?!)

— Тогда мало кто знал, что вы — левша. Поэтому предъявлявшаяся заинтересованными лицами нечеткая фотка с какого-то концерта также неоспоримо свидетельствовала об ужасной правде — мол, где-то в типографии Пола специально вывернули справа налево, давая, значит, всем *понять*. А чтобы не потерять имидж дружной четверки, ансамбль якобы нашел двойника — какого-то продавца рыбы или фруктов из Лондона. Наши грамотные любители, посмеиваясь, объясняли простакам: мол, — лажа, посмотрите на эту форму носа, а уши-то! Уши! — в общем не-по-хож!

Ну, а уж коли находились совсем дубоголовые скептики, не доверявшие даже таким убойным фактам, то они могли легко развеять все свои сомнения, прослушав задом наперед «Revolution number 9», где некий мужской голос (скорее всего ваш) четко провозглашает: «Ай эм дэд!», то есть «Я умер». Кстати, вы же знаете, что по-американски «дэд» означает еще и «отец», каковым вы, Пол, впоследствии делались не раз и не два. Уже двое из четверых покинули этот мир, а вы, сэр Пол Маккартни, наоборот недавно женились на модели и отпраздновали свое шестидесятилетие, дай Бог вам здоровья! Вот уж воистину: похороненный молвою — дважды живет! А похороненный *советской* молвой, наверное, аж трижды.

Я взял тайм-аут на глоток минералки. А Ольга с гостями переговаривались с такой скоростью, что я вычленил только два слова: произнесенное с порицанием «superstition» (суеверие) и обозначенное с одобрением «alive» (живой).

— Знаете, очень нас всех удручало, что вот есть такая группа «The Beatles», гастролирует по всему миру, объявляет себя более популярной, чем Иисус Христос, а ни про наши родные березки, ни про красавицу Москву-столицу, ни про другие успехи на

поприщах не поет. И знать нас вроде бы даже не очень-то и хочет.

Нет, была, конечно, песня «Революшн», которую при желании с известным натягом можно было трактовать как призыв к Великой Октябрьской Социалистической революции во всем мире. Была также и уже упоминавшаяся песня «Назад в СССР». Про нее сначала говорили, что вот, мол, побывали битлы у нас тайно, да так прикололись, что только и мечтают вернуться, чтоб осесть. Когда стали доступны точные слова, текст «Back in the USSR» был со словарем буквально разложен нашими битломанами на запчасти. Ничем там таким и не пахло. И от этого всем какое-то время было очень грустно.

Но все же раз вы нашу национальную гордость потешили, не забыли! В песенке «Желтая подводная лодка», если прислушаться, можно четко расслышать фразу на нашем «великом и могучем» — «Русские, на пересадку!». Куда собирались «Beatles» нас пересадить, да и собирались ли, — непонятно, зато хорошо известно, что ни марокканцев, ни исландцев, ни бушменов вы в своих песнях не упоминали вообще, так что мы радовались и этому!

— ?!!

— Ну, конечно, я иронизирую, но в этой песне действительно есть кусочек, похожий на русскую фразу. Желающий услышать — да услышит!

Широко обсуждалась у нас национальная принадлежность группы. Живя в нерушимом союзе республик свободных, представить себе, что только одна маленькая страна могла породить таких гениев, было невозможно. Все знали, что вы — шотландец, Харрисон — англичанин, у Леннона (особенно после женитьбы на Йоко Оно) — азиатские корни, а Ринго — прости господи — чуть ли не еврей. С годок побытовала версия, что привычная впоследствии подпись под песнями — «Леннон-Маккартни» обозначает *одного* человека — самородного музыкально неграмотного одинокого пастуха Леннона Маккартни, которого битлы раскопали в шотландских горах, аранжировали и исполняют ко всеобщему удовольствию. Наших очень грела тема, что вы как творческий коллектив не отрываетесь от исторических корней и альбионской фольклорности.

Продвинутая молодежь говорила: пол Маккартни и пол Леннона составляют одно целое — «Битлз».

А в самых средних школах Союза все были уверены в том, что «Битлз» — это четыре брата, рано оставшиеся без отца и матери. Спорили только о том, как в условиях капиталистического гнета сироты смогли пробиться на музыкальный Олимп.

Позже мы все ревновали Джона к разлучнице Йоко Оно. Звучало так: пол у Маккартни — мужской, а у Леннона — онский. (Ольга Станиславовна после короткой заминки последнюю фразу опустила. Опять непереводимость!)

Очень всех наших интересовало, как битлы живут в быту.

Сначала-то в прессе об этом совсем мало писали. Неизвестно было, как у вас дела обстоят на семейном фронте. Что вы едите, что пьете. Немного нам глаза приоткрыл фильм «Help!». Там вы все вместе единой коммуной в одном доме проживаете, только двери разные. Нам такое общежитское житье — по сердцу. Вон, какие богатые да известные, а живут скромно, как мы. Ничто человеческое им не чуждо: и пьют, и курят, и вообще… С наркотиками, правда, неясность присутствовала, но только до песни «Люси ин де Скай вид Даймондз». И ежу было понятно, что Люси, Скай, Даймондз образуют аббревиатуру «ЛСД».

Все знали, что ЛСД — это вообще-то сильный галлюциногенный наркотик, — в СССР вас полюбили еще больше.

Любовь и всеобъемлющая вера в гениальность «Битлз» заставляли любителей каждый удачный проект приписывать только вам. Когда до советской страны дошли слухи о состоявшемся в Вудстоке фестивале, наши, привычные к тому, что если уж есть фестиваль, то на нем обязательно должны распределяться места, долго считали, что команда Леннона… (увидев дернувшуюся щеку Пола, я тут же добавил: «Маккартни») стала лауреатом самой первой премии.

Выстрелившая, как первомайский салют, опера «Jesus Christ Superstar» какое-то время давала почву для ожесточенных споров — кто из битлов поет арию Иуды, а кто — Марию Магдалену.

Первые серьезные произведения «Роллингов» также долго считались удачными экзерсисами «Битлз», как известно, активно экспериментировавшими с новыми ритмами и текстами.

Что же касается настоящих ваших родных песен, то об официальном исполнении их на эстраде и речи быть не могло. В те времена вообще играть на концертах можно было только опусы советских композиторов. Если какой «запад» и проскакивал, то исключительно под соусом пародий или «песен протеста». И приходилось доходчиво объяснять чиновникам от культуры про ужасную жизнь леди Мадонны, отягощенной большим количеством детей и еле-еле сводящей концы с концами. «Вы «про тесто» что поете?» — спрашивали официальные эстрадные музыканты друг у друга. — Да про налоговый гнет, про тяжелое бремя! — и все понимали, что в виду имеется «Тэксмэн» — ваша песенка о сборщике налогов. Кстати, лет десять народ думал, что песня эта про шофера такси.

Заезжие польские и югославские ансамбли порой позволяли себе подкинуть советскому зрителю какую-нибудь битловскую или роллинговскую свежую клубничку — тогда в программке просто писали искаженный перевод названия без указания авторства, например: «Вчерашние хлопоты» или «Ночь после тяжелого *рабочего* дня», а увесистая песня «Роллингов» «Сатисфэкшн» в исполнении польского ВИА «Сине-черные» в Театре эстрады однажды была стыдливо проименована: «Быстрый танец».

Иногда хорошие музыканты, будучи не в силах бороться с чиновниками от культуры и выдумывать песни про это самое «тесто», аранжировали отечественные произведения, виртуозно вставляя туда битловские цитаты. Так сделали, например, на своем большом концерте питерские «Поющие гитары». Красивую советскую песню «Летите голуби, летите!» они закончили цитатой из начала вашей известной композиции «Something». Тот концерт транслировали по Центральному телевидению, и битломаны по всей стране несколько дней обсуждали это удивительное событие.

Официально на всесоюзный простор битлы вырвались сначала одной песенкой на сборной пластинке, а потом гибким голубым квадратиком — приложением к журналу «Кругозор». Это была песня «Герл» — *английская народная*, как там было написано.

А по советскому радио впервые нам дали послушать «Битлз» только третьего января 1971 года. Уже после того, как группа перестала существовать. Это была смелая для своего времени радиопередача «Запишите на ваши магнитофоны». А песня — «Let it be». На радио пришло несколько сотен тысяч благодарственных писем. Народ подумал, что если уж «Битлз» стали крутить по радио, значит в стране действительно что-то кардинально изменилось. Но рано обрадовались!

Конечно, ваше существование, новые песни и разные проблемы волновали не всех в Союзе. Всего лишь четыре-пять процентов советских людей, но вы ведь слышали про теорию единого информационного поля? Так вот, одновременное излучение положительных флюидов каких-то десяти-двенадцати миллионов из двухсот тридцатимиллионного населения страны, вне всякого сомнения, оказало сильное влияние на рождение ваших ста девяноста двух песен, официально вышедших на больших пластинках. Плюс еще около сотни — записанных, но не обнародованных.

Жаль, что вы сами тогда об этом не знали. Но еще не вечер! Теперь знаете!

Двое мужчин и седая дама глядели на меня, разинув рты.

Потом не сговариваясь посмотрели на часы: Чарльз на левую руку, Пол на правую, а Ольга Станиславовна на напольные «Roi de Paris» в углу. Было без двадцати трех 24.

Все засобирались. Ольга с кухни принесла в коробочке еще штук десять пирожков. Сверкнув своими выразительными глазами, их забрал Чарльз. Пол кивнул на оставшуюся стопку желтых страниц на столе, о которой я, честно говоря, забыл: «А это про что?!»

— Про нашу последующую интересную жизнь.

— Thanks a lot, *they are Beatles* (заебитлз)! We must go, to my regret. Can I get it? — и, не дожидаясь ответа, подхватил пачку, на ходу пробуя на вкус незнакомые буквы заглавия, продублированные потом по-английски, прочитал название следующей серии:

Джинсы (вторая серия)

За всю многовековую историю человечества ни в одной стране мира ни один предмет одежды не был таким вожделенным и труднодоступным, как грубые американские рабочие штаны в семидесятые годы в Советском Союзе.

Когда 20 мая 1874 года американский коммерсант с семитскими корнями Леви Страусс выпустил в продажу первую партию синих проклепанных ковбойско-старательских брюк из плотной ткани «деним», ему и в голову не могло прийти, что в будущем здоровое желание советских людей приобщиться к хипповому заджинсованному стилю приведет к развитию новых рыночных отношений. А потом и к формированию современной экономики в далекой от Штатов заснеженной России.

Было бы преувеличением утверждать, что именно «Битлз» познакомили нашу молодежь с джинсовой модой. Но так уж исторически сложилось, что пацифистские идеи, идеи хиппи, проповедуемые ливерпульской четверкой, отождествлялись у нас с определенным имиджем, основу которого составляли джинсы.

Джинсы в семидесятые годы стали символом, опознавательным знаком, неким паролем, по которому можно было легко узнать своих. «Левые» люди джинсов не носят!» — так констатировали ситуацию на «Психодроме» (в садике перед старым зданием МГУ на Манежной), на «Маяке» (площади Маяковского) и в метрошном переходе станции «Проспект Маркса», то есть в «трубе».

Впервые тоненькие джинсовые ручейки стали собираться в ощутимый поток при помощи наших польских братьев. Поляки всегда славились своей предприимчивостью, вот и потянулись из Польши по железной дороге с проводниками или со специальными гонцами, которых лет через двадцать назовут челноками, тючки и упаковочки с поддельными и «родными» джинсовыми красотами. На границе вопросы решались легко: пара блоков сигарет, бутылка виски — и джинсам присваивалась категория рабочей одежды, так необходимой на всесоюзных ударных стройках. Но «недолго музыка играла»: очень скоро ежесуточный приход польского экспресса «Полонез» превратился в персональный профессиональный праздник правоохранительных органов. Бывали случаи, когда милиция снимала на вокзале более тысячи штук штанов с одного поезда. Гонцов даже не задерживали — просто все отбирали.

В свободной продаже конфискованные джинсы в то время ни разу не появились. Собирать отобранное в кучи и сжигать

наподобие наркотиков компетентные органы еще не додумались, — и что милиция делала с польским конфискатом — уму непостижимо!

До сих пор точно не установлено, по какой причине скорый поезд Варшава — Москва особенно замедлял свой ход как раз в этом месте — за 2–3 километра до Белорусского вокзала. Может быть, на это порою влияли некие незначительные денежные суммы, стимулирующие машинистов, но скорее всего состав просто планово снижал скорость в черте города на подходе к вокзалу. Факт остается фактом: до конкретного перрона Белорусского вокзала джинсы доезжать перестали. Все выбрасывалось из вагонных окон в районе платформы Беговая.

Наряду с еще новой тогда профессией *гонец* появилась не менее уникальная — *ловец*.

Тюки со штанами еще в Варшаве стали паковать в соответствии с так называемым *беговым стандартом*: ширина до метра, длина значения не имела, а вот толщина не должна была быть более 24 см, иначе тюки не проходили в вагонную форточку.

В тюк обычно укладывали 10–15 пар штанов среднего размера, оборачивали толстой коричневой почтовой бумагой и очень плотно завязывали. К каждому тюку приделывался *прицеп* — отдельная пачка с одной парой джинсов ходового размера. Это был сувенир для куратора из МВД. Почти каждый ловец имел куратора, который являлся к приходу скорого Варшава — Москва как на работу.

Ловцы располагались вдоль железнодорожного полотна, каждый знал нужный ему вагон и сам имел опознавательный знак, если лично не был знаком с гонцом. Зимой, когда рано темнело, иногда происходили инциденты — ловцы ловили не свое. Но очень скоро три мощных прожектора, не горевших чуть ли не с войны, осветили темный участок «джинсового перегона».

Железнодорожное начальство терялось в догадках.

Чтобы не возить далеко и не таскаться по Москве с товаром, предприниматели начали снимать квартиры и комнаты для хранения вещей в непосредственной близости от места сброса. Туда же позже стали подтягиваться и перекупщики. Так образовался «всесоюзный джинсовый магазин» — *Беговая*.

Но в таком, можно сказать, промышленном масштабе джинсовые поступления наладились уже позже. Сначала Россию одевала фарцовка. Как ни странно, но общий язык с интуристами в этом смысле первыми нашли не представители сильной половины советского человечества, а продвинутые городские девчонки, мечтавшие приодеться и быстро выучившие одну и ту же фразу на разных наречиях.

Иле то коштуе? Кванте косто? Комбьен са? Ви дас костен? Хау мач? Наконец — сколько стоит? — спрашивали у *пшеков* (поляков), *алюр* (итальянцев), *френчей* (французов), *бундесов* (не и *стейтсов* (редко попадавшихся американцев).

Чаще всего вопрос носил формальный характер — денег у девчонок не было, да и коли нашлись бы, фирмачам совершенно не на что было бы их потратить. Заграничные шмотки менялись на разную русскую экзотику — чаще на безобидную икру, матрешек, пуховые платки, ушанки, хохлому; реже — на более криминальный русский антиквариат или иконы, прочно вошедшие в моду на Западе. Предлагать в качестве продукта обмена свои молодые крепкие тела девчонки еще не решались: дело это в те годы было трудоемкое, связанное с проходом в интуристовские гостиницы, тогда как поменять баночку икры на двадцать шелковых платков можно было и на улице.

К середине семидесятых годов в Москве функционировало несколько основных мест, *около* которых можно было приобрести нафарцованные или привезенные джинсы и другие товары заграничного потребления: комиссионный (или как говорили — «комок») у Планетария, комок на Комсомольском проспекте, на самой Беговой, а также какое-то количество так называемых *точек* вроде Уголка — пятачка перед музыкальным магазином на Неглинной.

Уголок этот начинался как единственное в Москве место, где можно было купить приличные музыкальные инструменты и аппаратуру. Позже предлагаемый ассортимент расширился до того, что там стало возможным купить ВСЕ. С утра до вечера перед магазином клубилась небольшая толпа продавцов и покупателей. Рядом находился удобный теплый подъезд, где принесенный на продажу товар можно было рассмотреть и опробовать. Контингент продавцов на Уголке отличался завидным постоянством, чужаков не очень-то пускали, все знали друг друга в лицо. Знали в лицо и постоянных кураторов от милиции. И те, и другие нагуливали благосостояние от своей взаимности, мирно сосуществовали и старились вместе на Уголке на протяжении лет двадцати. Иногда, правда, какой-нибудь зарвавшийся продавец выпадал из процесса годика на полтора, но неизменно возвращался на точку, поумневший и с восстановленным чувством почтения к кураторам.

Канули в Лету времена дефицита, и надобность в точках отпала, но люди с памятью, проходя иногда мимо Уголка, могут наблюдать пару-тройку постаревших спекулянтов, забредающих на старое место работы постоять и обменяться новостями.

Говорили так: «Уголок напоит, Уголок накормит!»

Еще одна знаменитая точка — женский общественный туалет на углу той же Неглинной и Кузнецкого Моста, где в основном продавались вещи сугубо *нафарцованные*, еще с утра украшавшие тела заезжих иностранцев.

Одна из шестнадцати кабинок — четвертая от входа — на протяжении лет двенадцати ни разу не была использована по своему прямому назначению. Около нее постоянно толпилась очередь из желающих примерить на себя какую-нибудь из предлагаемых ушлыми девицами-фарцовщицами шмоток.

Девушки обычно подъезжали к крупным интуристовским гостиницам часам к восьми утра, когда туристы после завтрака выходили к «Икарусам», чтобы податься по достопримечательностям, присматривали ходовые фасоны и размеры и «снимали» вещи с фирмачей в час дня, когда тех привозили обедать. Говорили так: «Чтобы продать джинсы с рук, их надо снять с ног!» Успеть с ворохом одежды домой — постирать, подлатать, прогладить, перешить *лейбола* и вернуться в туалет к самому торговому времени — часам к шести — было невозможно. Но успевали. Это точно.

Туалет этот в семидесятых так и называли — Туалет (с большой буквы). Девчонки договаривались между собой или с ребятами: «завтра в три в Туалете или около» — и никто ни разу не разминулся.

Примерить вещь в кабинке, кстати, удобно оснащенной зеркалом и вешалкой, можно было, вручив пятьдесят копеек бабе Гале, проработавшей там безвылазно уборщицей лет пятнадцать. А за рубль баба Галя пускала девчонок в кладовку, где они могли комфортабельно пересидеть облаву. Учитывая высокую проходимость клиенток и умение бабы Гали ладить с правоохранительными органами, ее благосостоянию мог бы позавидовать любой завскладом или цеховик-теневик того времени.

В каком-то семьдесят первом году отечественные производители спохватились или указание такое вышло от начальства — надо бы противопоставить безыдейным заграничным штанам что-нибудь родное, близкое советскому человеку. Так родились брюки-техасы. Черного цвета и под названием «Ну, погоди!», правда, воспроизведенные не из знаменитой джинсовой ткани «деним», а черт знает из чего. Успеха не имели.

К чести нашей сказать, первые американские черные джинсы в больших количествах (да и то изготовленные по новой тогда японской технологии «stonewash») появились на прилавках Америки только в середине восьмидесятых.

Неожиданно на станки и вооружение, отсылаемое Советским Союзом в далекую и загадочную Индию, последняя откликнулась не только обычными орехами кешью, но и огромной партией весьма похожих на джинсы штанов «Miltons», естественно, тут же окрещенных у нас «Мильтонами». «Мильтоны» были не так плохи, но заменить в сознании поколений какие-нибудь «Левис» или «Ранглер» никак не могли.

Сильные мира того, правда, попытались отвлечь внимание самой передовой части советской молодежи — студентов — от западных штучек устойчивым слухом о планируемой в самое ближайшее время раздаче студенческой целинной формы (якобы очень похожей на джинсовую). Форма оказалась любимого защитного цвета и с предметом нашего разговора ничего общего не имела. Чуда не произошло.

Конечно, вместе с джинсами в страну проникли и другие модные предметы одежды (клоуза) и аксессуары: рубашки «батн-даун» и «снапдап», майки «тишорт», шузы типа «плэй-бой» или «инспектор с разговорами», брюки «трузера́» с косыми «хулиганскими» карманами, ремни-белты. Цвета назывались также с английским уклоном: рэдовый, блэковый, вайтовый, а нечто полосатое — страйповым. В большом ходу тогда же были недорогие броские бусы, которые носили и ребята, и девушки, а также значки величиной с десертную тарелку с антивоенными или забавными надписями типа: «I am an alcoholic — in a case of emergency, buy me a beer!» (Я алкоголик — в крайнем случа купите мне пива!)

Кстати, рубашку «батн-даун» (воротничок на пуговках) не надо путать с батником. У последнего воротник был намного длиннее и образовывал так называемые «сопли», которые в свою очередь делились на острые и круглые. На груди и на спине присутствовала кокетка, а штуки четыре вытачки по бокам придавали фигуре бешеную приталенность. В Штатах батники носили театральные ковбои, к нам в оригинальном виде они практически не попадали и воспроизводились самопально на бабушкиных «Зингерах», пока постепенно не стали чисто дамской прерогативой.

Кстати о пуговках: пуговицы на иностранной одежде почти всегда были с четырьмя дырочками, а наши — с двумя. Особенные модники и модницы езили со всех концов Москвы в Сокольники в мастерскую к «пуговичнику» Селиванову. Этот Селиванов не делал пуговицы, нет. Просто он соорудил некое приспособление, позволяющее аккуратно зажимать пуговицы любого размера в тиски и через опять же сконструированные им шаблоны досверливать на отечественной пуговице недостающие

два отверстия. Что моментально превращало ее в закордонную. Далее, какую бы кривую дрянь вы ни сшили, четырехдырочные пуговицы просто-таки кричали о заграничном происхождении вещи. По тем же самым причинам фирменные пуговицы и лейблы *никогда* не выбрасывались. Их аккуратно спарывали с превратившейся в ветошь иностранной рубашки и перешивали на отечественную, мгновенно повышая ее стоимость раз в пять.

В солнечное время, да и ночами молодежь носила темные очки. Достать этот аксессуар было ОЧЕНЬ трудно. Признавались ведь только две модели: круглые очки типа «Джон Леннон» и каплевидные более солидного разлива — «Макнамара».

Короче говоря, существовало множество тонкостей в прикиде, по которым «системного психодромного» *гая* — парня (не путать с геем) или *герлу* отличали от лоховидной урлы.

Любопытно было понаблюдать и послушать, как в каком-нибудь подъезде двое центровых понимающих людей лениво обсуждали продающиеся джинсы.

Продавец говорил: «Лукни, какой ка́тон уматной, стоячий! А зипер — родной зипо́вый! За сотку — просто даром!»

Покупатель: «А чего строчка на шленках кривая? Я тебе таких самопалов за тэно́к пять штук настро́каю!»

Продавец: «Да какой самострок, у стейтса́ вчера брал?! Вон, каскад лейболо́в!»

Покупатель: «Чувачок! Лейбола́ не греют!»

И расходились довольные друг другом.

Власти с фарцовкой боролись довольно вяло. Экономического вреда она не приносила, но в идеологическом смысле постоянно доказывала, что нафарцованные товары заграничного потребления намного лучше и качественнее не только наших отечественных, но и редкого официального импорта, поступавшего, как правило, из стран народной демократии. Хотя об этом и так все знали, и никакие «Знаки качества» и лозунги типа «Советское — значит отличное!» потребителя переубедить не могли.

В народе говорили так: «Загнивает сильно Запад, но какой приятный запах!»

Кроме всего прочего, с точки зрения закона обмен матрешек на, например, джинсы ничего криминального не содержал. Конечно, придумана была какая-то мутная, ничего общего со статьей не имевшая тема — «Приставание к иностранцам». По идее за это могли упечь на 15 суток. И упекали. Но очень редко. Когда наверху кто-то спохватывался, то проводилась блиц-кампания по отлавливанию — как они сами себя называли — фарц-мажоров. В результате таких мероприятий в милицию

обычно доставлялись несколько пьяниц. Настоящих, случайно задержанных фарцовщиков *теряли* где-то по дороге к отделению, после чего сами оперативники и их жены щеголяли перед знакомыми в самых шикарных западных шмотках. «А чего?! Муж с работы принес! Так все делают!»

Столь нынче популярный в политическом смысле Петербург, будучи еще в девичестве Ленинградом, сильно обскакал по фарцовой теме и Москву, и многие другие города. Сказывалось преимущество географического положения: у питерцев под боком были финны.

О финнах особо: называли их у нас турмолаями (в переводе с финляндского — лесорубы). Если и существует в мире какая-нибудь нация, способная хотя бы приблизиться к русским по здоровому хлебанию водки, то это — те самые лесорубы. А в тогдашние годы у них был вообще сухой закон, еще покруче, чем позже у нас в горбачевские времена. Ленинградские власти не могли спокойно смотреть на мучения, в общем-то, довольно безобидных финнов, вот и открыли границы области. Но в одностороннем, конечно, порядке.

На выходные город заполоняли сотни автобусов с мучимыми понятной жаждой «лесорубами». Причем ввозить на обратном пути алкоголь в Лесорубию им родные таможенники не позволяли, приходилось отпиваться на месте и про запас. Короче, если в воскресенье вечером вам было совершенно нечего делать, вы могли подойти к какой-нибудь интуристовской гостинице поприсутствовать при обратной погрузке турмолаев в автобусы. Было, ох было на что посмотреть!

Оборотистые ленинградские ребята останавливали автобусы с финнами прямо на шоссе между Выборгом и Питером. Устраивали на обочине летучий пикничок минут на тридцать с водкой и шашлыками и потрошили иностранцев по самое покорнейше благодарю. Те охотно меняли привезенный товар (плащи-болоньи, мохеровые свитера и кримпленовые брюки) на традиционную жидкую валюту. Принимались турмолаями и деревянные — ведь на них тоже можно было купить водку.

Так что, пока московская фарца еще ходила в коротких штанишках и выпрашивала у заграничных дяденек жвачку в обмен на значок Ленина, питерцы уже полностью владели вопросом и бомбили лесорубов по-взрослому. С дальним прицелом закладывая фундамент нынешней популярности бывшей колыбели революции.

Безусловно, в семидесятых существовал еще один источник отоварки, к которому при сильном желании мог припасть советский человек. Но желание должно было быть достаточно

сильным, потому что речь идет опять-таки о махинациях.

Валюта на территории Союза, конечно, не ходила. Даже за хранение ее можно было надолго загреметь куда положено. Тем счастливцам, кому удавалось поработать за границей, государство обменивало их валюту на специальные чеки (сертификаты). А отоварить эти чеки было возможно опять-таки только в специальных магазинах с фирменным названием «Березка» — народ говорил: «Береза». «Березки» делились на промтоварные, продуктовые и аппаратурные. Существовали еще и запредельные валютные, но к ним неиностранец даже близко подойти не мог.

Товары, продающиеся в «Березах», были по-настоящему заграничные: никаких тебе болгарий (кроме дубленок) и никаких чехословакий (кроме богемского стекла). А так все Бельгия да ФРГ. В общем, очень привлекательно.

И, конечно же, чеками начали приторговывать оборотистые люди. Цена и покупательская способность чека зависели от цвета и наличия полосы: так себе, не очень — с желтой полосой, больмень нормальные — с синей, а уж совсем мечта, отвал башки — вообще без полосы. Бесполосые! Некоторые вещи можно было приобрести ТОЛЬКО на чеки какой-то одной категории, поэтому и покупал народ эту странную валюту под определенный, появившийся недавно в продаже товар. Например, под дубленку особого фасона, продающуюся только за «желтую полосу», или под магнитофон — за «синюю». Кстати, логики в этом не было никакой.

А приобретались чеки у спекулянтов, отирающихся около «Берез». Назывались они *чекистами* или *подберезовиками* — кому как больше нравилось.

Появились девушки, одаривающие своим вниманием только за чеки — *чекистки*. Как завещал Феликс Эдмундович, головы у них были холодные, сердца горячие, а руки и ноги — относительно чистые.

Позволить себе полностью, с ног до головы одеться в вышеперечисленный клоуз, кроме профессиональных фарцовщиков, не мог практически никто, поэтому молодежь, исповедовавшая хипповый пацифизм и битловскую музыку, чаще всего ограничивалась длинными волосами, джинсами да маечкой, купленной по случаю. Кстати, красивую майку с броской непереводимой надписью надыбать было еще сложнее, чем штаны. Поэтому майки берегли, стирали аккуратно, а то и вовсе не стирали, штопали, подшивали, и они служили годами, надолго, а то и на всю жизнь давая клички своим хозяевам. По Психодрому лет пять шлялся Вовка-Омнибус, на майке которого

когда-то было изображено нечто вроде высокого двухэтажного автобуса, а по Калининскому гордо разгуливал Серега Дебил, года три демонстрируя майку с канадской выставки деревообрабатывающих станков «De Bille».

Сильный фурор однажды произвела джинсовая рубашка, на изнанке которой кто-то внимательный разглядел маленькую этикетку с надписью «prison № 34» (тюрьма № 34). То ли действительно к нам неведомыми путями попала рубашка американского заключенного, то ли пошита она была в этой тюрьме, только поглядеть на раритет на Психодром приезжали из отдаленных районов.

Конечно, молодежь, не постоянно думающая о строительстве коммунизма, а отвлекающаяся на всяких там битлов-роллингов очень раздражала власти. Длинноволосые заджинсованные юнцы настолько выбивались из румяного плакатного ряда мордастых бамовских комсомольцев, что только законченный ангел вроде Матери Терезы не начал бы их тут же *хомутать* по полной программе. Но Матери Терезы в семидесятых в Союзе водились в очень ограниченном количестве.

«Хомутать» — это тоже слово из тех времен. Преступника или хулигана милиция могла задержать, арестовать или в крайнем случае повязать, но уж никак не *захомутать*. Ведь хомутали обычно не менты, а какие-то мутные структуры вроде комсомольских оперотрядов, сросшихся со спецотделами КГБ по делам молодежи.

Для самих хомутов «захомутать» означало под любым предлогом забрать несколько волосатиков в опорный пункт народной дружины, поиздеваться там над ними всласть, при удаче избить, а при санкции постричь тупыми ножницами для металла.

В какой-то момент в самодеятельной продаже на точках вдруг появились штаны с американским флажком на заднем кармане. Как ни странно — «мэйд ин Югославия». Джинсы были качественные и шли нарасхват, но наличие на них символики в лице флага самого махрового антикоммунистического государства делало попавшихся хомутам носителей очень уязвимыми для обвинения в пропаганде капиталистического образа жизни.

Самые умные и хитрые серьезно отбрехивались: «Так ведь это же на жопе!»

Порою это выручало.

В любом случае, захомутанные, как правило, за отсутствием состава настоящего преступления к вечеру отпускались и плелись домой под одеяло «зализывать раны» и отращивать волосы до

следующего раза.

Ну, никак ребята, уделявшие своей внешности такое внимание, государство устроить не могли. А зря! Из волосатиков потом много хороших людей повырастало, да и Пушкин в свое время писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей!».

Для девчонок, у которых был физический недостаток — косолапие, настал звездный час. Держать ступни под углом шестьдесят-семьдесят градусов стало так же модно, как носить короткие юбки ВООБЩЕ. Трудно сказать, откуда взялась такая манера — наверное, ее выдумали девицы со слегка кривоватыми ножками. То, что раньше маскировалось юбками средней длины, с вхождением в моду «супермини» стало невозможным. Пришлось прибегать к особенным ухищрениям. И заинтересованные молодые дамы к подобному ухищрению прибежали. Конечно, с модным косолапием большие проблемы возникали у юных балерин, но с другой стороны, кривоногих танцовщиц не так уж часто берут в балет.

Белые короткие носочки, также мгновенно вошедшие в моду вкупе с косолапием придавали девчонкам небывалую сексуальность, с успехом накладывавшуюся на общий принцип свободной любви под лозунгом «Make love, not war!» — буквально «Делайте любовь, а не войну!»

Естественно, войну у нас никто делать не хотел, зато любовь делали с удовольствием и совершенно замечательно.

Официально джинсы считались одеждой антисоциальной. На первом, втором и третьем этапе в них не пускали в кафе и в рестораны. Тем не менее все, кому было положено настаивать на идеологическом вреде джинсовости, после работы с удовольствием напяливали американские штаны и отдыхали в них от черных глухих костюмов.

Как ни странно, первые шаги по публичному признанию джинсов выходной одеждой сделал комсомол. Комсомольские деятели средней руки стали появляться на молодежных мероприятиях в джинсах и… пиджаках с галстуками. Таким образом, верх функционера с непременной кожаной папочкой олицетворял официальность мероприятия, а низ — крайний демократизм и близость к народу.

Жаль, что об этом не знали «Роллинги» — Джаггер и Ричард, через несколько лет наповал убившие публику, появившись на светском приеме в джинсах и гражданских пиджаках.

Правда, надеть еще и галстуки на ум им не пришло.

Цитата из БСЭ:

Международный день защиты детей (1 июня) — день мобилизации межд. общественного мнения на борьбу и защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за осуществление их воспитания и образования…

Установлен в 1949 г. Проводится с 1950…

Когда 2-й Московский конгресс Международной федерации женщин в нечеловеческих муках родил этот праздник, предполагалось, что все последующее время уж кто-кто, а советские дети будут надежно защищены и всяко-разно обеспечены. Но провидению в лице определенных структур было угодно, чтобы тысячи детей, родившихся именно в год первого проведения Дня их защиты, через двадцать лет возненавидели эту дату, перевернувшую и исковеркавшую их молодые жизни.

30 мая 1971 года на Психодром, где вечерами на скамейках собиралась джинсовая молодежь, негромко пела под гитару битловские песни и обменивалась новостями, пришли два молодых человека. Их внешность и манеры разительно отличались от хипповых образцов. Более того — почти одинаковые стереотипные костюмы и прически навевали подозрения… да нет — не вызывали сомнений в их причастности к Конторе. К вящему ужасу в общем-то совершенно безобидных «детей цветов» мóлодцы предъявили удостоверения сотрудников КГБ и завели с обалдевшими хиппи специальные разговоры. Содержание беседы было такое: «…вот, мол, вы — наверняка все хорошие ребята, настроены за мир против войн, жалко, правда, что не комсомольцы, но это дело поправимое. Короче, вместо того, чтобы коптить небо и нервировать и так загруженные по самые уши Органы, почему бы не принести ощутимую политическую пользу и продемонстрировать свое отношение к грязной войне, развязанной американцами во Вьетнаме. В общем: послезавтра в День защиты детей все дружно с плакатами и убеждениями собираемся здесь и на Пушкинской в 12. И вперед к американскому посольству — гнезду и рассаднику сами знаете чего. Автобусы предоставим!»

Постоянные посетители Психодрома, неоднократно уже битые дружинниками и стриженные оперотрядами, впервые видя такую открытость и благожелательность, в себя не могли прийти от радости. Неужели государство наконец перестало видеть в них скрытых врагов и тунеядцев и, наоборот, разглядело здоровые молодые силы, способные содействовать мирным инициативам? И все сразу бросились звонить друзьям и знакомым. Благородный порыв не смогли даже омрачить несколько матерых комсомольцев, побывавших на следующий день в местах

скопления молодежи. Комсомольцы, видимо, владели какой-то секретной информацией, потому что в один голос отговаривали «системных» выходить 1-го числа на демонстрацию.

— Мудаки, всех повяжут, мы точно знаем! — У них, похоже, проснулось нечто вроде совести.

Но как в известной истории про мальчика, который после неоднократных лживых призывов «Волки, волки!» попытался поднять настоящую тревогу, комсомольцам никто не поверил. А зря!

Первого июня в садике собралось около полутысячи противников войны. Над толпой возвышалось несколько самодеятельных плакатов с «куриной лапкой» — пацифистской эмблемой и пара надписей на английском, утверждавших приоритет любви перед войной. Настроение у всех было праздничное, как у мирной демонстрации под предводительством попа Гапона в 1905-м. Наконец распахнулись никогда не открывавшиеся ранее двое чугунных ворот — это въехали обещанные автобусы. Ворота закрылись, но закрылись и обе калитки, выходившие на Манежную площадь. Народ под присмотром плечистых комсомольских ребят стал организованно садиться в автобусы. У нескольких автобусов возникли заминки: человек десять студентов юрфака МГУ, пришедших сдавать зачеты и приостановившихся покурить и посмотреть, что происходит, почему-то никак не соглашались садиться в предоставленный транспорт. Разными способами их убедили. Одним из этих убежденных студентов был я.

То же самое происходило на Пушкинской площади и на Маяке — площади Маяковского.

Далеко автобусы не поехали, распределив «пассажиров» в штаб оперотряда «Березка» на площади Свободы (!) и по обезьянникам ближайших отделений милиции. Там их уже ждали как участников *самой массовой за всю московскую историю антисоветской демонстрации.*

Милицейские допросы шли весь день и всю ночь. Особенно возились с теми, у кого были с собой документы. Чем больше справок с места работы, комсомольских билетов, паспортов люди с собой в этот раз прихватили, тем дольше их держали и подробнее допрашивали. Тема была такая: хорошо же ты, гад, замаскировался!

В руке я держал портфель, половина которого была занята разными документами. Кроме перечисленных, там находились: зачетка, студбилет, членбилет стройотряда, удостоверение донора, проездной и еще какие-то — уж не упомню — справки. А одет и причесан я был скромнее рядового провинциального

комсомольца, мечтающего пролезть в бюро. Каждый элемент моего имиджа и экипировки только что не кричал: я — свой, позитивный, надежный, советский! Это-то и было самым подозрительным.

Наконец, отсняв всех в фас и в профиль, запугав по самое не́куда, вызвав пролетарских родителей с ремнями, большинство участников «антисоветской» демонстрации органы все-таки отпустили по домам. Но самых «отъявленных и замаскировавшихся» после ночного, уже кагэбешного допроса, виртуозно проведенного специально подъехавшими сотрудниками, направили поутру в суд по обвинению «в умышленном препятствовании движению пассажирского транспорта на площади 50-летия Октября». Мне лично немного повезло: при помощи — как-никак юрфак, — юридических уголовностей (типа: нет в садике дома № 18 никакого движения) все-таки отбился. Они не настаивали: извините, ошибочка вышла — фотки сожжем, протоколы порвем. Не ударили, правда, ни разу. Даже пальцем не тронули.

А многие пошли на пятнадцать суток с последующим выгоном с работы и т. д. и т. п.

Через полгодика вызывают в ментуру: «Являетесь ли действительным членом организации так называемых ХИ-ПИ (в их бумаге так и было написано: через черточку и с одним «п») и разделяете ли их взгляды?»

— Какого черта?!

— Да или нет?

— Нет, конечно…

— Вот форменная бумага: не являюсь, не разделяю, — фамилию свою впишите и подпишитесь.

— Какого черта?!

— Так вы являлись?!!!

— Нет!

— Значит, разделяете?

— Да нет же!

— Так подпишите!!!

И так сорок минут. Не выдержал, подписал.

В мае вызвали в военкомат. Несмотря на вечерний МГУ и «почтовый ящик», где за бронь слесарем работал, поздравили и призвали.

Подергался немножко, попытался правду найти — куда там! Опомнился уже в Ил-18, летевшем к китайцам на Дальний Восток. Со мною в лайнере еще 168 человек москвичей. Почти все знакомы друг с другом. Многих забрали вчера, а еще позавчера они гуляли на про́водах своих несчастных внезапно призванных

друзей. В самолете встретились.

Оказывается, скоро должен был приехать президент Никсон, а неформальный предводитель московских хиппи Юрка Бураков по прозвищу Солнышко, агентами подслушанный, якобы заявил: «Мы докажем господину Никсону, что мы есть!» Вот и запихали всех, кто был так или иначе замазан в прошлогодней «антисоветской» демонстрации (не то он украл, не то у него украли) — кого в тюрьму, кого в дурдом, а кого и в Советскую армию и Военно-морской флот.

Меня-то — как раз в армию.

Я и до этого не шибко думал о защите международных детей, а уж *после* — совсем в целесообразности разуверился.

Не так давно выяснилось, что в память о той печально знаменитой «вязке» 71-го, каждый год 1 июня в Царицинском парке Москвы собирается молодежь. Поют, танцуют, играют на гитарах и тамбуринах. Пьют пиво или легкое винцо. Я побывал. Удивился количеству народа и тому, что сборище очень лояльно охраняет милиция.

Но это молодежь. Беспамятная. На вопросы, почему собираются именно 1 июня, отвечают, что по случаю первого дня лета. Или: «А хрен его знает!» Или: «Кого-то защищать. Детей вроде».

Но если отойти в сторонку — к лавочкам, то можно заметить человек двадцать «старичков». Они все помнят. И каждый год, встретившись, после слова «Здравствуй!» обмениваются печальными новостями: «Гусь умер! Тишорт умер! Умер Миша-красноштанник!»

Для будущего фильма я попытался разыскать тех людей, которые попались в лапы дезориентированной милиции именно тогда в 1971-м. Первого июня на Психодроме. Но даже с помощью всезнающих завсегдатаев Царицинского парка (плюс их многочисленные знакомые) нашлось только пять человек. Да и из этих пяти только трое согласились дать интервью! Два человека наотрез отказались. Не хотят вспоминать. Вычеркнули тот проклятый день из памяти.

Пять человек! А что ж так мало-то? Где остальные? Канули!

Конечно, люди уходят. Возраст и болезни берут свое. Но не смогли проверить этот постулат на себе ошельмованные, выгнанные из института и доведенные до самоубийства Света Барабаш (Офелия), Володя Некрасов, Костя Норкин. Покинули этот мир замученные аминазином в психушках Алик Савицкий, Миша Дымшиц и десятки ребят, фамилии которых не удалось установить. Отдали на горячей китайской границе свои молодые студенческие жизни Толик Грачевский и Сережа Мазун.

И все, все они родились примерно в годы первого проведения Дня защиты детей.

Но самое главное: мы — и те, кто случайно попал, и кто действительно (пусть наивно, но от чистого сердца) хотел вьетнамских детей защитить — сделать этого не смогли. Ни чужих уберечь, ни себя! Кому это все было надо?!

Этот кусочек я приписал 8 июня 2005 года. После посещения и разговоров в Царицыно. Так что в «маккартниевскую» рукопись 2003-го он, естественно, не вошел. Ну и хорошо, это ведь наши внутренние дела. Простите, что испортил вам и себе настроение, но тут уж ничего не поделаешь.

Группы (третья серия)

К началу 1970-х годов битломания в СССР перешла в иную фазу. Нашлись смельчаки, которые не только заслушивались любимыми песнями, но и стали подбирать их на гитарах и пробовать непривычные к английскому тексту голоса.

Появились новые, ранее небывалые социально-бытовые структуры — рок-группы. Ведь это подумать только! В стране развитого социализма возникают некие устойчивые объединения по интересам. Четверо-пятеро совсем молодых людей с разными характерами, образованием, материальным достатком четверть своей проходящей жизни вдруг начинают проводить вместе. Они как в браке делят поровну радости и печали, иногда тянут в разные стороны, ссорятся «навсегда», но тем не менее сохраняют друг другу музыкальную верность по десять, двадцать, а некоторые и по тридцать лет. В отечественной истории дело небывалое! Феномен! И это при полном отсутствии материально-технической базы.

К появлению в стране любительских групп отечественная промышленность как всегда оказалась не готова. Не было буквально ничего — ни инструментов, ни аппаратуры. Любителям приходилось изыскивать внутренние резервы.

Модельный ряд производимых тогда заводами усилителей был представлен всего двумя чудовищными порождениями электронной мысли: «УМ-50» и «ТУ-100» соответственно, усилитель мощности пятидесятиваттный и стоваттный. Предназначенные для сельских клубов, они подключались к «колокольчику», висящему на столбе. Ни о каких таких частотах или тонкой коррекции звука и речи не было. На передней панели кроме тумблера включения присутствовала всего пара ручек. Если звук оказывался плохой, то при помощи этих ручек с некоторым трудом можно было добиться звука ужасного.

Тем не менее долгое время качество ансамбля определялось количеством имевшихся у него на вооружении усилителей.

Говорили так:

— Вот завтра «Миражи» играют, идешь?

— А сколько у них уэмов? Пять?! Ну, нормально, пойдем!

Максимальная мощность динамиков, продававшихся тогда в радиомагазинах, не превышала четырех ватт, для того, чтобы хоть как-то загрузить все тот же «УМ-50», их требовалось не меньше 12–14 штук. Колонки делались самими музыкантами, и любой старый рокер до сих пор с ужасом вспоминает процесс прорезывания в пятнадцатимиллиметровой авиационной фанере

четырнадцати круглых отверстий величиной с чайное блюдце.

Гораздо проще было решить вопрос с басовой колонкой. Для баса отлично подходили большие динамики «А-32», использовавшиеся в кинотеатрах. Нередки стали случаи ночного проникновения в кинозалы с последующим вырыванием из стен искомых динамиков. Но такая практика была скорее исключением, чем правилом. Большинство законопослушных любителей старалось все-таки договориться с киномехаником.

Зрители недоумевали, почему звук в кино стал значительно тише — раздобревшие кинщики лениво ссылались на новый ГОСТ.

Сейчас уже невозможно установить, кому пришла в голову мысль производить совершенно непригодную для своего прямого назначения вещь — четырнадцатирублевую подставку для вывешивания ученических схем и карт, но этому гениальному человеку отечественная рок-музыка обязана почти так же, как и родоначальникам жанра — битлам.

Подставки эти продавались в специальных скучных магазинах «Учколлектор». Продавались вместе с досками, мелом, партами, тетрадками и т. д. Но повезло только подставкам: небольшое усилие — изгиб — и в умелых самодеятельных руках получалась приличная стойка для микрофона. «Учколлекторы» переживали небывалый бум. Магазины перевыполняли план по подставкам, и производители, не задумываясь, увеличили производство этих незамысловатых устройств в несколько раз. Предложение уже значительно превысило спрос, количество подставок перевалило за все мыслимое количество карт и схем, зато сотни групп при помощи синей изоляции уже аккуратно развесили на них ортодоксальные трамвайно-троллейбусные микрофоны «МД-44» (типа: следующая остановка — «Никитские ворота»).

Микрофоны эти выдавали такой скрипучий характерный звук, что только после 1989 года ведущие мировые фирмы, специализирующиеся на космических музыкальных нюансах, смогли добиться похожего качества всего по семьсот долларов за отдельно взятый блок эффектов.

Но это были «МД-44»! А вот более, казалось бы, подходящая для сцены модель «МД-48» даже такого специфического звука издать не могла: просто выдавала ровный ватный первомайский звук на всем частотном диапазоне. Иностранные производители эффектов, пытаясь скопировать частоты «MD-48», хватались, хватались за голову, пока окончательно не сели в лужу. Зато у нас музыкантская творческая мысль на месте не стояла. В те годы в большом ходу у населения, почувствовавшего вкус к западной эстраде, была дешевая магнитофонная приставка (56 рублей).

Она представляла из себя только механическую часть — моторчик и лентопротяжный механизм, подключалась для звука к какому-нибудь приемнику или проигрывателю и получался полноценный магнитофон. Называлась приставка очень забористо и по-музыкальному — «Нота».

Так вот, с появлением на прилавках этой приставки групповики моментально приспособили ее под голосовой спецэффект. Для этого достаточно было впаять в «Ноту» дополнительную головку, добавить пару проводов, переклеить в другом порядке пластмассовые буковки названия, и получался совершенно замечательный, почти фирменный ревербератор «Нато».

После произнесения в микрофон сакраментального «РАЗ», «Нато» на выходе послушно давал ласкающее слух затухающее «РАЗ, РАЗ, раз, раз…».

Более мирного применения для реакционного блока «Нато» и придумать было нельзя.

Барабаны в те времена музыканты своими руками делать еще не умели, поэтому при удачном стечении обстоятельств пользовались отечественными ударными установками. Производили их только в одном месте — на рижском заводе имени Энгельса. Злые языки утверждали, что ранее это предприятие производило кастрюли и кровати. Поиграв на «энгельсе» пять минут, с таким утверждением приходилось согласиться. На барабанах была натянута кожа неизвестного происхождения, реагирующая на влажную погоду полным обвисанием, и те же злые языки муссировали историю о том, как однажды на одном из барабанов была замечена татуировка в виде якоря и надпись «Не забуду мать родную и отца-духарика!»

Сказать по правде, в витрине главного музыкального магазина Москвы на углу Неглинной и Кузнецкого Моста (на Уголке) еще с конца 60-х годов лет восемь подряд красовалась непонятно как туда попавшая английская ударная установка фирмы «Премьер». Время от времени начинающие барабанщики приезжали на Неглинку полюбоваться на это сверкающее чудо, но и только. Стоило оно совсем запредельных денег — 1150 рублей и было по карману разве что какой богатой организации. А ведь известно: чем богаче организация, тем меньше она испытывает жгучую потребность в приобретении английской установки «Премьер», — вот и пылились барабанчики года до семьдесят шестого, когда магазин наконец ограбили. Вместе с тридцатирублевыми гитарами пропал и «Премьер».

А более-менее современные и доступные ударные появились в виде импорта из соцстран. Гэдээровские установки «Трова» (по

прозвищу *дрова*) и чешские барабаны «Амати», которые за сносное качество тут же стали предметом спекуляции на знаменитом Уголке. Правда, у «Амати» были очень слабые тарелки, и заинтересованные люди старались от них отделаться и подкупить какие-нибудь хорошие.

В любом случае среди первых советских рокеров находились такие самородки, в чьих руках вдруг начинали звучать и «энгельс», и «дрова».

Говорили так: «Не имей «Амати», а умей играти!»

С гитарами дело обстояло более благополучно. В магазине с обратной стороны ГУМа долго продавались вполне вменяемые инструменты немецкой фирмы «Музима»: ритм-гитары «Элгита» (180 р.) и соло-гитары «Этерна» (230 р.), позже появились чешская «Торнадо» и болгарский «Орфей».

Но желание играть групповую музыку все равно намного обгоняло материальные возможности, поэтому самопальные гитары в семидесятых не делал только ленивый. Многие достигли в этом неимоверно сложном специфическом деле большого мастерства, и неказистые, плохо покрашенные «обрубки» порою звучали нисколько не хуже хваленых «Фрамусов» и «Фендеров».

Со струнами, правда, была полная засада. Сначала в магазинах вообще нельзя было найти струн для электрогитар. Попадались наборы для классических семиструнок, тогда самая толстая струна выбрасывалась, а остальные устанавливались в том порядке, который предусматривался шестиструнным «электрическим» строем. Делать пальцами левой руки вибрато или подтягивать ноты, как это умудрялись выполнять Джимми Хендрикс и Джонни Винтер, на таких струнах было невозможно. Люди безуспешно рвали себе руки в кровь. Настали черные времена для авиамоделистов.

Тончайшая стальная проволока — «корд», на которой они раскручивали свои трескучие модельки, напрочь пропала с прилавков магазина «Пионер». «Корд» стал первой струной вновь обновленного гитарного строя. И хотя толстым шестым струнам опять не повезло — их снова выбросили, хендриксовское и винтеровское «мяу» наконец полновесно зазвучало из-под заживших пальцев счастливых гитаристов.

Вдруг начали появляться фотографии западных музыкантов, судя по которым за кордоном придумали какие-то совершенно замечательные провода к гитарам. Они были витые, как телефонные, — удобно растягивались ровно настолько, насколько нужно, и не путались под ногами. Первой реакцией наших гитаристов было тут же оторвать провода у домашних телефонов и перепаять под гитары. Кое-кто попробовал, и сразу выяснилось,

что а) шнур получается короткий и б) дико фонит, так как не экранирован. Внешнее сходство не искупалось внутренним содержанием.

Тогда гитарным Кулибиным пришло на ум делать витые провода из обычных. Провод туго наматывался виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра. Концы закреплялись, и конструкция помещалась в духовку на 1–10 часов.

Иногда выходило довольно похоже, только соседи с удивлением принюхивались — кто это печет пироги из пластмассы и резины.

Клавишные инструменты, конечно, сами не делали. Долго-долго в группах обретались единственные советские электроорга́ны «Юность» и «Юность-М». «М» в данном случае означало — модернизированный: чего-то там производители напридумали и добавили, чтобы стало еще гаже. Обозначился такой мерзкий *съезжающий* звук, на основе которого обтяпана вся закадровая музыка к фильму «Человек-амфибия». Помните? — «Ихтиандр, сын мой, ты где?» — аа — аа — аа (это как раз тот звук) — «Я здесь, отец!» — и поплыл.

Кстати, в быту все клавишные назывались *органолами* или, что совсем уж непонятно — *йониками*. Как бы то ни было, а композиции группы «Doors» и «Animals» у хороших музыкантов на органолах «Юностях» звучали неплохо.

Не имей «Амати»…

Спрос рождает предложение, и хотя уже появилась — нет, не в свободной, конечно, продаже, а на Уголке с рук, — вполне ликвидная импортная аппаратура «Регент», «Вермона», «Биг», по всей стране умельцы начали клепать недорогой, но вполне прилично звучащий самопал. Называлась такая аппаратура *заказная*, и обеспечивала звуком небогатые начинающие коллективы.

Власти сразу разглядели в этих делах непорядок и стали вяло сажать кустарей в тюрьму. То есть если ты спаял себе усилитель и играешь на нем, то это еще ничего, а вот уж когда отмучился и решил продать товарищу — частное предпринимательство со всеми вытекающими. Так пострадал в свое время известный и популярный ныне бард Александр Новиков. Много он что-то отсидел, чуть не десять лет, но до последнего времени в некоторых ресторанах Дальнего Востока еще встречались его усилители. Музыканты говорили с гордостью: «Вот, еще сам Новиков делал!»

Фирменные аппараты типа «Регент» попадали на музрынок через немецкий магазин «Лейпциг», что на Ленинском проспекте.

Не было в Москве рабочего места слаще, чем место продавца (не говоря уже о заведующем) музыкального отдела «Лейпцига». За десять-пятнадцать лет тысячи комплектов аппаратуры отправила в Союз трудолюбивая Германия, и *ни разу* не лежал товар открыто на прилавках. В день продажи с утра выстраивалась небольшая очередь из своих, постоянных, заранее предупрежденных клиентов, и партия разбиралась влет. Каждый брал по пять-десять комплектов, которые через несколько дней всплывали на Уголке почему-то значительно подорожавшие.

Продавцы «Лейпцига» жили очень хорошо, но довольно часто менялись. По разным причинам.

Рано или поздно в жизни каждой группы наступал такой этап, когда после бренчания дома на простых гитарах под портвейн она упаковывалась инструментами и обзаводилась более-менее постоянным составом. Пора было подыскивать репетиционную базу. Тут на передний план выходили начальники ЖЭКов, инженеры-эксплуатационники и другие, до этого мало востребованные персонажи. Обычная схема была такова: «Здрасте, мы будем у вас в агитпункте репетировать. Тихо-тихо! (На самом деле ни фига!) А за это на все праздники бесплатно играть для проживающих граждан. А это вот бутылка за беспокойство».

За счет прознавшей молодежи посещаемость жэковских мероприятий неизмеримо возрастала, и так продолжалось, пока оглохшие соседи не устраивали вооруженное восстание.

Редко кому из самодеятельных битлов удавалось устроиться в настоящий клуб, где можно было греметь по полной программе. Клубы обычно волосатых чурались, а привечали, наоборот, каких-нибудь чтецов и народников, которые по большому счету в таких условиях и не нуждались. Исключение представлял широко известный в узких кругах клуб «Энергетик», находящийся на той стороне реки напротив гостиницы «Россия». Там в свое время занимались несколько впоследствии ставших очень популярными групп. Был составлен определенный график, каждому коллективу выделено два раза в неделю по два-три часа. Но этого времени катастрофически не хватало. Аппаратура была дохлая — где-то час уходил на подключение и настройку, потом что-то обязательно ломалось, а в конце около часа надо было потратить, чтобы все собрать и очистить помещение. Можно по идее было засидеться до поздней ночи, но являлась «баушка» со шваброй на предмет выгона. Баушки попадались разные, но непременно жутко коррумпированные. Кто за шоколадку, кто за стакан портвейна, а кто и просто за рубль — они откладывали момент выгона минут на сорок, и это было счастье.

Зато после репетиции, идя по набережной к метро, можно

было остановиться, покурить, спокойно обсудить репертуар и строить грандиозные планы на будущее часов до двух ночи. И никакая баушка со шваброй уже ничего не могла предпринять.

Как-то после репетиции собрали мы с барабанщиком параллельной группы «Скоморохи» по семь рублей и пошли в ресторан «Балчуг». Взяли бутылку водки и поесть. Сидим разговариваем о музыке. Юра Фокин — колоритный: длинноволосый и пучеглазый, страстный фанат барабанов. Я говорю: «Юр! А вот если триоли играть через бочку, с акцентом на открытый хэт?» Он посмотрел на меня своими «базедками»: «Чувак, давай возьмем еще одну бутылку водки!»

Денег никто не считал. На общее дело давали кто сколько может, а уж из дома тащилось все, что могло хоть как-то пригодиться для группы. Игровой энтузиазм был так высок, что порой не хватало времени на девушек. Зато в коллективе нежно любили друг друга так, что пользовались любой возможностью, чтобы встретиться даже без инструментов. Даже по телефону. Это были *словесные* репетиции, на которых рождались новые идеи, новые песни, новое будущее. Мечтали поехать куда-нибудь в далекое безлюдное место и там репетировать полгода, а потом вернуться и всех убить качеством, или съехаться и дружно жить вместе, как битлы в фильме «Help!».

Сказать про кого-то: «Я его знаю, я с ним играл!» — считалось синонимом полной проверенности. Типа: «Я с ним сидел» или «Я с ним воевал». В общем, очень, очень напоминали отношения в группах брак. И так же, как в браке, не всегда все бывало безоблачно: и ссорились, и не разговаривали неделями, но любовь к музыке и к человечеству была сильнее — мирились со слезами, каялись и клялись в вечной дружбе.

Случались, конечно, и исключения из правил.

Подающая большие надежды группа «Затворники» разжилась как-то приличной аппаратурой. Ребята сидели и крепко обмывали приобретение. Кто-то сказал: «Если мы развалимся, я заберу голосовой усилитель!». Ему возразили. Он им. И они развалились.

Среди молодежи популярность ребят, играющих на электрогитарах, была огромна. Увидев на улице молодого человека с плоской гитарой в самодельном чехле, интересующиеся останавливались и долго провожали его взглядами. Вполне допустимо было подойти и спросить, в какой группе он лабает, когда концерт, где? Или, в крайнем случае, напроситься на репетицию.

Ну а уж девушки торчали от рокеров покруче, чем от киноартистов. Очень престижно было иметь бойфренда музыканта. Девчонки вышивали на майках имена любимых

гитаристов и со знанием дела обсуждали преимущества черепаховых медиаторов перед простыми пластмассовыми. Я вот был барабанщиком, так моя подруга везде носила с собой мои палочки. Перед концертом при всех гордо подходила и подавала с уважением. Ей так нравилось. Мне тоже.

Вообще за группами ходили толпы поклонников, помогали таскать аппаратуру, оказывали всякую посильную помощь по всем вопросам. Правда, и музыканты были более чем доступны — такого чванства, как сейчас, еще не наросло.

Государство в лице средств массовой информации упорно делало вид, что никакой такой рок-музыки в стране не существует. На телевидение групповиков не пускали, а если уж и отваживались в кои-то веки под Новый год, то не с основным репертуаром, а с какой-нибудь бесполой «влесуродиласьелочкой». Уважающие себя рокеры на такое дело не шли из принципа. В народе говорили так: «Хорошую группу по телевизору не покажут!» А видеть-то хотелось, поэтому любые разговоры, новости или слухи, если они хоть как-то касались известных в то время групп или группменов, вызывали повышенное внимание и даже некоторый ажиотаж.

Известная в семидесятых группа «Сокол» каким-то образом записала песенку к мультику «Фильм, фильм, фильм», — так вся Москва бегала по кинотеатрам, лишь бы только своими глазами увидеть в титрах любимое название.

А фильм «Афоня» (1975 г.)?! Несколько секунд живой «Машины времени»!!! Правда, с песней Юрия Шахназарова из «Скоморохов», но все равно…

А «Романс о влюбленных» (1974)?! Герой пел голосом А. Градского!

Все перечисленные фильмы были сами по себе хороши, но все же процентов семьдесят молодежи приходили на них исключительно для того, чтобы посмотреть да послушать так неожиданно пролезших в официальный советский кинематограф любимцев. Воспринималось это как чудо.

При здоровом желании создать группу не последнее место занимал выбор названия. Для этого существовало несколько технологий, к которым прибегали в том случае, если кто-то из участников будущего коллектива еще с раннего детства не вынашивал какое-нибудь забористое, политое потом и кровью названьице типа «Лошади Пржевальского».

Чаще всего брали энциклопедический словарь и выписывали оттуда штук сто малопонятных, но броских слов типа «Конгломерат» или «Престидижитация», спорили потом до хрипоты и через неделю-другую успокаивались на каком-нибудь

«Альянсе» или «Форуме».

Названия делились на две категории: *что-то значащие* и *ничего не значащие*.

Что-то значащие обычно содержали некий намек на:

а) самоценность, лихость, величие — «Атланты», «Соколы», «Удачное приобретение»;

б) временны́е категории — «Високосное лето», «Времена года», «Сентябрь» (причем сентябрь мог еще и иметь цвет, например — черный);

в) родоплеменную привязанность, посконность — «Скоморохи», «Славяне», «Русь»;

г) некоторую ущербность и мизераблеобразность — «Дрова», «Осколки Сикорского», «Затворники», «В пальто»;

д) колебания воздуха — «Второе дыхание», «Ветры перемен», «Бриз»;

е) скрытые фрейдистские подкомплексы — «Автоматические самоудовлетворители», «Нерукотворный оргазм»;

ж) родственно-юридические дела — «Братья», «Наследники», «Казус» и так далее и тому подобное.

Ничего не значащие — как правило, эксплуатировали неожиданные, но дивные сочетания вроде «Хрустальный кактус», «Рубиновая атака», «Деревянный пирог».

Была еще в Москве загадочная группа «Бобры»: к какой категории отнести их — сказать трудно.

Едва появившись, группы одним своим существованием породили постоянный и нескончаемый конфликт с Советской властью. Причем сами музыканты по поводу сложившейся ситуации пребывали в полном неведении. Но это до поры до времени.

В горкомах и обкомах схватились за головы. Откуда взялась эта напасть?! Еще недавно все было так хорошо: джазисты разогнаны по углам, стиляги высмеяны и уничтожены как класс. И тут — на́ тебе: и волосы, и джинсы, и музыка эта — «Сегодня он играет блюз, а завтра покинет Советский Союз!».

А группы?! Под какое определение их подвести? Художественная самодеятельность? Так она должна быть при предприятиях. А тут собираются кто откуда и несут в массы черт-те что без разрешения. Главное, что без разрешения! И молодежь вокруг них кучкуется, отвлекается от созидания и строительства светлого будущего. Надо бы постараться прихлопнуть.

Были и другие предложения — *возглавить*. Не вышло ни то, ни другое.

Тем не менее к середине семидесятых годов был уже выработан механизм, дающий возможность, если не совсем

разогнать конкретную группу, то создать ей в жизни значительные трудности.

Музыкант, как и любой человек искусства, не может существовать без аудитории. Он создан Богом для того, чтобы передавать свое мироощущение другим. Многомесячные репетиции, лишения, борьба с некачественной аппаратурой и баушками — все эти трудности преодолевались ради одной цели: публичного выступления. И власти ударили по самому больному месту — по возможности играть для зрителей.

Концерты как таковые для групп тогда были большой редкостью. В основном все играли на *вечерах*. Такие мероприятия устраивались в институтах и на предприятиях под многочисленные в те годы советские праздники. Студкомы и профкомы выделяли средства и приглашали какую-нибудь группу, которая после торжественной части играла в фойе на танцах.

Так вот, по всем крупным организациям Москвы распространили некий список ансамблей, приглашать которые на вечера было *не рекомендовано*. Где этот список родился — в недрах Министерства культуры или в трех троллейбусных остановках — на площади Дзержинского, — неважно, только самые продвинутые группы были лишены возможности выступать. Были попытки устраивать сейшены за пределами Москвы, где-нибудь в Тарасовке или Алабино. Фаны два часа добирались на перекладных в пургу и зной и… целовали закрытую дверь со свежей бумажкой «ремонт»: в последний момент менты прознавали и прихлопывали вечеринку, как полиция маевку в 1906 году.

Но худа без добра не бывает: «лишенцы» моментально приобретали статус групп подпольных, а лучшую рекламу, чем запрещенность, и за деньги не купишь.

Следующим шагом государства стало обвинение участников групп в частном предпринимательстве и нетрудовых доходах. Речь шла ни больше ни меньше как об уголовной статье.

Музыкантов начали таскать в ментуру и с пристрастием допрашивать о наворованных у народа деньгах.

На самом деле говорить о каких-то реальных заработках для групп в то время было просто смешно. Средняя цена полуторачасовой работы колебалась между пятьюдесятью и восемьюдесятью рублями. Из которых тридцать уходило на доставку аппаратуры. Обычно приходилось заранее выходить на улицу и ловить крытый грузовик, а лучше автобусик рижского автозавода с азербайджанским названием «рафик». Водитель, как правило, не мог ждать и после выгрузки уезжал. Часа через два

процедуру ловли транспорта для обратной дороги приходилось повторять. В этой связи голубой мечтой всех функционирующих музыкантов было приобретение «рафика» для группы в постоянное пользование. Микроавтобусы в частные руки, конечно, не продавались, но мечтать об этом не могло запретить даже Министерство культуры.

Так что особое богатство музыкантам тогда не грозило — в лучшем случае удавалось оправдать расходы и выкроить по пятерке на ночное такси домой. Зато эмоционального заряда от контакта со зрителями хватало надолго. Ради этого и работали, но объяснить такую позицию следователю, которому руководством уже поставлена конкретная задача, бывало нелегко, а порой и просто невозможно.

Несколько известных музыкантов попали в тюрьму. В их числе замечательный Леша Романов — лидер группы «Воскресенье».

Представить себе, что музыка может быть основным занятием человека, официальные органы не могли, и сакраментальный вопрос «Вот вы поете, там, играете, а работаете вы где?!» преследовал рок-музыкантов аж до конца восьмидесятых годов.

Часто общая генеральная установка по искоренению такой вредной «самодеятельности» смыкалась с личным мнением маленьких начальников на местах. Завучи и директора школ, клубные работники, комсомольские боги среднего звена могли запросто самолично прекратить «безобразие», выдернув центральный силовой шнур из розетки прямо посреди песни.

Милиция также время от времени позволяла себе приходить на концерт и арестовывать аппаратуру по подозрению, что она «ворованная». Причем молодые милиционеры, у которых при другом раскладе не бывало возможности послушать данную группу, часто шли на служебные проступки, давая музыкантам закончить программу, и набрасывались с арестом уже после последней песни и собственных бурных и продолжительных аплодисментов.

А описывая оборудование, могли одновременно и попросить автограф.

Еще одной возможностью попрактиковаться в музыке вдали от Минкульта для групп были выезды на пару летних месяцев в студенческие лагеря или молодежные дома отдыха. Желательно в черноморской стороне. Денег там не платили, просто давали помещение для сна и ставили на пищевое довольствие на общих основаниях. Называлась такая работа — «за будку и корыто». Не бог весть что, но практика получалась замечательная, а уж такой благодарной аудитории, как студенты на отдыхе, надо было

поискать.

Ежевечерне на танцах приходилось играть все: от разухабистой лезгинки до нежнейших блюзов Джонни Винтера. Нарабатывалась бешеная техника, которая потом в Москве давала возможность полностью реализовать известнейшую схему музыкантского совершенствования — «От простого к сложному, от сложного к простому!»

Так что игра на танцах была великолепной школой.

Кстати о танцах. В семидесятые годы кроме популярных среди молодежи твиста и некоего упрощенного рок-н-ролла, танцевали еще и более продвинутые джайв, джерк, «гоу-гоу». Но все же «королем» танцплощадок был шейк.

Существовали три разновидности шейка:

1) Собственно шейк (попеременное двойное касание пола носком то левой, то правой ноги);

2) Медленный шейк (любой небыстрый танец с обжиманием партнерши). Так прямо и говорили: «Ребята, сыграйте медленный шейк!»;

3) Шейк «с гвоздями» (то же, что и № 1, но гораздо более экспрессивный, желательно в пьяном виде, с подключением каблуков и выламыванием паркетных досок из пола).

Твист, конечно, тоже был популярен, но в заводских клубах его не жаловали. Может потому, что сильно портился пол?! Во всяком случае, в других городах во дворцах культуры частенько можно было увидеть строгое объявление: «Твистунов — на мороз!» И выкидывали. За милую душу. А вслед летело пальто с шапкой, чтобы уж не замерз. Вот не знаю, что с твистунами делали летом.

Вообще в местах, где мог быть хоть какой-то контроль, например в школах на выпускных вечерах, все эти танцы танцевать запрещали. Чуть что — сразу летела толстая завуч: «Пр-р-рекратить обезьянничать!»

В противовес западным кривляниям в нашей стране активно создавались свои танцы — советские. И названия давали соответствующие: например самопальный и довольно сложный для исполнения бальный танец — помесь летки-енки с вальсом — носил гордое название *террикон*. Если кто не знает, так террикон — это огромная куча пустой породы, шахтная отработка.

Придумано было также какое-то *спортивное танцевание* — тоже нечто среднее между спортом и танцами. Проводились по нему всероссийские конкурсы, но, слава богу, быстро прошло.

Одна из двух единственных в стране женщин-композиторш — Людмила Лядова написала песню, в которой призывала «людей всей земли танцевать новый танец ай-люли».

Ай-люли, ай-люли — это новый танец,
Ай-люли, ай-люли — он не иностранец.
Пусть танцуют этот танец люди всей земли,
Так давай станцуем вместе танец ай-люли.

К счастью, кроме как в авторском исполнении по телевидению больше нигде эти «ай-люли» не попадались и группам на танцах их играть не пришлось.

ВИА (четвертая серия)

Феномен «Битлз» породил еще одну любопытную форму музыкальной жизни — вокально-инструментальные ансамбли — ВИА. Разница между ВИА и группами заключалась в том, что виашники — в отличие от групповой «самодеятельности» — были структурой государственной, на иностранных языках не пели, собственных песен не сочиняли и стояли на крепкой идеологической платформе социалистических ценностей. И если уподобить ВИА кудрявому шаловливому ребенку, то матерью, которая его признавать не хотела и не собиралась, несомненно, являлась группа «Битлз», а вот уж отцом, отцом — Союз композиторов СССР.

Состав стандартного ВИА колебался от восьми до четырнадцати-пятнадцати человек и включал в себя двух-трех гитаристов, барабанщика, клавишника и духовую группу. В идеале все они должны были еще и одновременно петь. Ежели, а чаще всего так оно и бывало, инструменталисты петь не умели, то для достижения полной вокально-инструментальности добавлялись три-четыре освобожденных вокалиста, разбавленных для убедительности певицей приятных форм и наружности, как правило — женой руководителя.

С самого начала ВИ-ансамбли обязаны были петь только песни членов СК. Заполнялись специальные документы — *рапортички*, утверждалась худсоветом программа, и коллектив даже на гастролях в самых, как говорится, отдаленных уголках нашей необъятной не имел права отклониться от нее ни на йоту. Даже перестановка песен внутри программы не одобрялась. Даже если это было вызвано производственной необходимостью, например болезнью одного из участников. Такая практика давала возможность композиторам четко контролировать количество исполнений своих произведений, и *авторские* текли рекой. За ансамблями ездили инспекторы концертных организаций, растворялись среди местных зрителей, тайком сверяли соответствие и появлялись потом неожиданно, как контролер в троллейбусе.

Конечно, не все было тогда так плохо — большинство инспекторов все-таки совести и профессионализма не теряли: прямо с поезда с утра вламывались в «люкс» к руководителю коллектива и объявляли марку своего любимого коньяка, предпочитаемый цвет икры и желаемую степень прожаренности второго блюда. В общем, инспекторские волки оказывались относительно сыты, а программные овцы более-менее — целы.

Бороздили просторы родины также несколько ансамблей с национальным колоритом типа: «Добры молодцы», «Калинушка», «Рябинушка» и т. д. В концертных организациях их не очень-то долюбливали. Название обязывало такие коллективы иметь в программе хотя бы половину народных песен, а с народа, как известно, ни авторских, никаких других денег не получишь. А ведь на месте народных вполне могли присутствовать песни советских композиторов, о чем постоянно и пекся их союз.

Постепенно под влиянием всех этих факторов процентное отношение фольклора к здоровой эстраде стало уменьшаться, пока окончательно не свелось к нулю.

А позже даже советских композиторов удалось объехать на цыганской козе. В коллектив принимался (часто формально) какой-нибудь настоящий цыган или удачно косящий под него чернявый молодец. Тут в репертуар можно было вставить несколько очень популярных тогда итальянских (Пупо, Челентано) или французских (Джо Дасен, Миррей Матье) шлягеров, а назвать все это «Песни цыган всего мира». Канало за милую душу.

Количество ВИА в семидесятые-восьмидесятые превысило все мыслимые пределы. Каждая захудалая филармония имела пять-восемь коллективов разного качества. Безналичные деньги, которые государство скупо, но ассигновало на культуру, все-таки позволяли музыкальным организациям закупать аппаратуру, так что в обеспечении техническим оснащением ВИА шли далеко впереди вечно нуждающихся групп.

Музыканты ВИА имели постоянную плановую работу и, как следствие этого, — вполне приличные заработки. Административные вопросы на гастролях решались специальными директорами, аппаратуру таскали штатные грузчики — о таких райских условиях группы, находящиеся в неофициальном статусе, могли только мечтать. А еще вокально-инструментальников активно показывали по телевидению, чем поощряли и так неимоверную популярность на всю многомиллионную страну. Особенно у прекрасной половины человечества.

В 1975-м я работал в «Добрых молодцах». Приезжаем, например в Свердловск. Из аэропорта — в гостиницу. Получаю ключ, поднимаюсь на пятый этаж. Когда открываю дверь, уже слышу, как надрывается в номере телефон. Прямо с чемоданом подбегаю, задыхаясь: «Слушаю!» В трубке приятный женский голос: «Але, это добры молодцы?». Я гордо: «Да!» Она игриво: «А это красны дéвицы!» Дальше рассказывать?..

Однажды какая-то левая типография, будучи не в силах

сделать нечто большее, изготовила для нас небольшое количество симпатичных наклеечек с названием ансамбля. Трех разных цветов. Красавец-певец, всегда имевший у зрительниц колоссальный успех, надписывал на этих наклейках свой текущий телефон и выдавал на концерте девушкам в обмен на букеты цветов, которые ему выносили на сцену почти после каждой песни. Если девушка попадалась очень симпатичная, он одаривал ее зеленой наклейкой, если так себе, но ликвидная, — голубой, а совсем уже бяка позорная получала наклейку оранжевую. Вечером после концерта, когда страдающие девицы обрывали его гостиничный телефон, он мягко интересовался, какого цвета у них наклейка. Если оранжевая — «Щас уезжаю в Москву!» Если голубая — «Перезвоните через полчасика!» А уж если зеленая — «Жду с нетерпением, открываю шампанское!»

Девушки дежурили у служебных входов, лазали в гостиницы по водосточной трубе, ездили за артистами по другим городам. Однажды в Даугавпилсе пришла записка: «У меня есть пластинка «Самоцветов» и ребенок от «Лейся, песня», через неделю схожу на «Веселых ребят», и можно умирать!»

Все это не значит, конечно, что фанатичные поклонницы как класс появились в природе одновременно с ВИ-ансамблями.

Знаете Муслима Магомаева? Его машину в свое время поклонницы зацеловывали так, что живого места не оставалось — одна сплошная губная помада. И это при полном отсутствии современных моющих средств. Вот водителю-то радость!

А питерцы очень старшего поколения рассказывали, что красивого оперного тенора Сергея Лемешева в каждый его приезд в колыбель революции после спектакля у служебного входа всегда ждали сотни две поклонниц. Просто ради того, чтобы посмотреть, как он бегом прыгает в машину. Потом расходились, оставив на площади огромную лужу глубиной в два сантиметра. От проникновенного понимания искусства не выдерживал мочевой пузырь.

Вот это был экстаз! А ВИА — так, семечки.

Вырваться после репетиций на гастроли было праздником. Праздником вдвойне, потому что перед этим ансамбль был вынужден пройти пренеприятнейшую процедуру — сдачу программы.

Специальная комиссия, в основном состоявшая из пристроившихся дармоедов, должна была дать оценку эстетике, гармоничности и идейной выдержанности концерта.

Я тогда работал в Росконцерте, где большое внимание уделяли внешнему виду. Поэтому перед прослушиванием музыканты всегда налаживали скромность. У всех без исключения

были довольно длинные волосы — их старались спрятать в первую очередь. Непосредственно на голове прическа закалывалась девчоночьими невидимками, а 10–20-сантиметровый хвост убирался сзади под воротник. Причем для того, чтобы хвост не вылез, его приходилось держать напряженной шеей, сильно втянув голову в плечи.

А теперь вы, читающий или читающая, напрягите шею, втяните голову в плечи и посмотритесь в зеркало. Вот-вот — на сцене и стояли двенадцать таких уродов в оранжевых кримпленовых пиджаках с вытканными на лацканах золотыми лирами. Зато головки аккуратненькие — просто заглядение!

В составе тогдашней комиссии присутствовал одноглазый шестидесятилетний дядька, которого во времена первых пионеров глупый кто-то на три месяца назначил барабанщиком. Потом судьба его круто мотала по разным местам, включая тюрьму, пока не бросила на культуру дожидаться пенсии. Дядька, тем не менее, считался специалистом именно по ударным инструментам, и его дребезжащий голосок уверенно звучал в хоре некомпетентных людей, имевших право в одну секунду запретить гастроли и отправить коллектив на дополнительные репетиции.

Выслушивая от него в предыдущие прослушивания разные глупости по поводу громкости (мол, я так колочу, что забиваю весь ансамбль), в этот заход я не играл вообще — так, махал палочками для красоты, но один раз все же случайно задел тарелку. Дядька тут же все остановил и сказал, что пока этого раздолбая не призовут к порядку, ансамбль никуда не поедет. Я отложил палочки и «играл» руками, не забывая втягивать голову. На гастроли мы поехали.

За сытую жирную жизнь и легко давшийся успех групповики виашников не любили, считая их продавшимися ренегатами (не путать с дегенератами). И совершенно напрасно. Практически каждый вокально-инструментальный музыкант мечтал сам начать писать песни, организовать в будущем свою группу и отмолить в ее составе грехи перед искусством. Совершенствовались как могли: возили с собой свежие записи, репетировали на неопределенное будущее посторонний репертуар, даже селились в номерах по музыкальным интересам: духовик с духовиком, басист с барабанщиком (ритм-группа).

Ходил такой анекдот: Жили-были басист с барабанщиком, но никак не могли на концертах синхронно попасть в сильную долю. Очень расстраивались. Как-то крепко выпили вечером в номере и от безысходности решили покончить жизнь самоубийством. Встали вместе на перила балкона, обнялись и так, обнявшись, и бросились. Но упали все равно: шмяк, шмяк!

Вот так вот! Переживали люди за качество-то.

В общем, об искусстве тоже думали, да и жизнь у вечно гастролирующих музыкантов ВИА на поверку не была такой уж сытой и жирной. Наоборот, постоянные переезды, поезда, самолеты, холодные автобусы зимой и душные летом, гостиницы с «удобствами во дворе», питание всухомятку — вся жизнь вне дома в обстановке «ненавязчивого» советского сервиса была не каждому по силам.

И произошло то, что должно было произойти. Количество гастрольных лишений перешло в новое человеческое качество. Закалило и породило небывалый тип советского музыканта — сверхчеловека, способного есть гвозди на завтрак, в два счета бреющегося в темноте и на внезапное предложение выпить и оскотиниться колеблющегося не более трех секунд.

Опытный гастролер должен был быть готов к любым неожиданностям, вернее, к сожалению, — к ожиданностям.

Давайте смоделируем ситуацию гастролей году так в семьдесят четвертом прошлого века в городе N, тем более, что по уровню потенциальной опасности N ничем практически не отличался от, скажем там, M или R.

> *О некоторых гастрольных моментах вы уже прочитали в первой части книги, ну, да ничего — еще разок освежу. Вы уж потерпите, зато подробно расскажу о схемах по проводу девушек в гостиницу. Как и обещал.*

Итак, прилетели или приехали, добрались до гостиницы, получили ключ, поднялись пешком на шестой, так как лифт не работает, зашли в номер, поставили чемодан и давай сразу спать? Ничего подобного! Смело проходим к окну, смотрим изнанку занавески на предмет прожженной сигаретой дырки или грязного несмываемого пятна. Нету! Хорошо, идем к телевизору. Экран не разбит, телик работает. Хорошо! Телефон. Не расколот, работает. Ваза? Трещин нет! Хорошо! Стакан, пепельница. Хорошо! Настольная лампа без лампочки. Порядок! На кривую картину «Вечер на Оби» внимания не обращаем — ее уже ничего испортить не может. Дальше что? Полотенце! Есть. Хорошо! Но где же, блин, подвох? Ах вот он, едрить твою налево! Под салфеткой на тумбочке прожженный кипятильником кругляшок. Свистать всех наверх! Горничная, понятые, «прошу занести в протокол!»…

А когда уезжаем, полотенце сдаем внизу вместе с ключами, а то ведь сопрут. Непременно сопрут! И возьмут потом пять рублей. Ужас!

Вот так! А вы думали как?!

В промежутке между приездом и отъездом благоустраиваемся как можем. Открываем гастрольный чемодан с пионерской надписью, например — «Максик Капитановский — 4 отряд». Где-то у нас тут был скотч. Вот он! Заклеиваем сантиметровые щели в окне, а то за бортом минус 22. Вот фен. Им при сноровке можно брюки погладить, носки высушить, скудное внебрачное ложе обогреть. Вот соль и перец из самолета, вилка, ложка, ножик, суп-письмо, железнодорожный сахар. Вот внезапный кипятильник артиста — две половинки лезвия от опасной бритвы, две спички и нитка. Вот верная отвертка для отрубания радио, а то в шесть утра: «А-А-А-А-А — Союз нерушимый…» Но главное — отвертка для изготовления внезапного кипятильника артиста, то есть для отключения потребующегося шнура от настольной лампы. Вот дефицитный рулон московской туалетной бумаги — раковину заткнуть для постирушки и вообще… (не забыть взять с собой на концерт, а то сопрут). Вот универсальный ключ «вездеход» — ну это для поезда: окно открыть, если что, или в закрытый вагон-ресторан проникнуть. Вот тапочки домашние «ни шагу назад» тридцать шестого размера и халат женский розовый 46-го — реквизит для реализации прово́да девушки по варианту «Павлик Морозов». Вот анальгин зачем-то. Вот будильник с разными часовыми поясами. Вот антитараканий аэрозоль «Прима» (походный заменитель серно-ртутной мази). Вот складной стакан и рюмка (красиво жить не запретишь!). Носок две пары взял сдуру, можно и одной обойтись. Вот подушечка надувная — между башкой и стеклом в ночном автобусе проложить, чтоб подрушлять. Вот две зажигалки: в одной кремень, в другой газ. Вот табличка на дверь антибеспокоечная «Do not disturb!» (не помню уж, где взял) — надо бы срочно выбросить, а то вломятся ночью — «Чевой-то там у вас написано?!» Ну, кажется, все. А, гитара?! Эх, а гитару-то в Москве забыл (шутка).

Постоянные гастрольные переезды сделали из музыкантов профессиональных путешественников. Этот бесценный опыт позволял им по возможности сводить на нет дорожные неудобства, ограждаться от опасности — одним словом, выживать в непростых условиях.

Гастролями наработано множество маленьких хитростей, которыми внимательный человек может пользоваться, дабы амортизировать столкновение с суровой отечественной действительностью.

В вагоне, например, следует устраиваться на полке не «по», а «против» хода поезда. Тогда при резком торможении вы не слетите башкой об столик (бывали случаи). При поездной резке огурца втыкайте вилку точно в середину — после обрезания с

двух концов на вилке останется кусочек, который сразу можно положить в рот. Вынимайте на ночь ложечку из стакана, а стакан из подстаканника, иначе будет звенеть как сволочь. Зимою в аэропорту надо проходить паспортный контроль одним из последних — тогда не придется минут сорок «продавать дрожжи» в неотапливаемом накопителе. Садитесь в самолетный автобус опять же последним, чтобы выскочить первым и им же сесть в лайнер. Выбирайте самолетное место у прохода, чтобы можно было вытянуть ноги. После набора крейсерской высоты не расслабляйтесь, не то пассажир, сидящий впереди, откидывая спинку сиденья, отобьет вам коленные чашечки. Если летите туда, где совершенно другая погода, не забудьте положить сменную одежду не в багаж, а в ручную кладь — тогда в ожидании багажа не придется приплясывать в майке при минусовой температуре или париться в дубленке при плюсовой. Для чтения в долгом полете выбирайте книжку в твердом переплете — мягкий на самолетном столике не держится. Тогда руки устанут. Имейте с собой свой стакан, иначе *взлетные* придется пить из горла́. В морском круизе выбирайте каюту в середине корабля — там значительно меньше килевая качка. Выучите наизусть паспортные данные.

И всегда, всегда имейте при себе туалетную бумагу!

Существовали также и определенные тонкости общения с официальными и полуофициальными лицами: проводниками, стюардессами, официантами, таксистами, швейцарами, дежурными в гостиницах. Каждый командировочный знает, как трудно бывало провести в номер «на рюмочку чая» понравившуюся барышню.

Музыканты наработали несколько способов. Первый — «Константин Заслонов»: часть коллектива плотно окружали швейцара, тащили его за рукава в разные стороны, задавали вопросы типа «Который час?» или «Работает ли лифт?». Тем временем девушки быстро проходили. Но их ждал еще один почти неприступный бастион — дежурная на этаже. На этом этапе хорошо срабатывал «Павлик Морозов» — пока девушка ждала на лестнице, надо было принести ей из номера халат, тапочки и полотенце. Она переодевалась и под видом проживающей скромно проходила.

В больших гостиницах включался несложный вариант «Сергей Лазо»: девушка отдавала хозяину номера пальто, он вставлял ей в левую руку тарелку с хлебом, а в правую — ключ. Одна, помахивая ключом, она нагло проходила. Бывали такие сложные ситуации, когда предполагаемую для вечера девушку дежурная хорошо знала в лицо. Об этом, оставив скромность в покое,

должна была сообщить сама девушка. Тогда в силу вступала почти беспроигрышная схема «Зоя Космодемьянская» — еще один музыкант с этого же этажа бежал вперед и в своем номере обливал водой потолок в ванной. Потом он звал дежурную к себе показывать, как сверху вода протекает. И пока ее не было, девушка торопливо пробегала.

Еще один вариант под названием «Петя Клыпа» заключался в том, что девушке на улице оставлялся чехол от гитары, а потом из номера в окно выбрасывался ключ. И по всем этапам она солидно проходила с «гитарой», предъявляя ключ, якобы она его не сдавала.

Все эти чудесные способы варьировались в зависимости от времени года, местечковости гостиницы, степени зверства швейцара и почти всегда срабатывали, а если уж совсем не получалось, то приходилось прибегать к самому нелюбимому музыкантами варианту — к «Андрею Рублеву». То есть дать денег. Осечек не бывало никогда.

Я сам пытался неоднократно понять, откуда взялись такие названия, но кроме «Заслонова» (заслон) и «Рублева» (рубль), другие фамилии, овеянные военной героикой, гастрольных ассоциаций не вызывали. Надеюсь, что в будущем эта проблема станет предметом исследования серьезных ученых.

С появлением ВИА все другие виды искусства отошли не на второй, а, пожалуй, даже на третий план.

В течение нескольких лет директор Тульской филармонии, пользуясь старым личным знакомством, пытался заманить в город самоваров и оружейников великого пианиста Святослава Рихтера. Это было трудно — пианист шел нарасхват. Наконец в его годовом графике, между поездками в США и в Австралию наметилось трехдневное «окно», в которое с трудом, но уместился один концерт в Туле.

Четыре месяца добросовестные туляки готовились к приезду великого маэстро: был отремонтирован восьмисотместный зал филармонии, в гостинице приготовлен соединенный из двух номеров четырехкомнатный «суперлюкс», отпечатаны атласные билеты с красивой лирой в верхнем правом уголке, был даже с предосторожностями доставлен из Москвы достойный мастера роскошный рояль «Стейнвей».

В день долгожданного концерта к ужасу устроителей оказалось, что продано всего 24 билета. Директор филармонии позвонил своему другу — начальнику Тульского военного округа, и после поднятия занавеса гениального музыканта встретил шквал аплодисментов, порожденный обещаниями: увольнительных с одной стороны и нарядами вне очереди с

другой.

Зал был переполнен молодыми любителями классической музыки мужского пола, одетыми в праздничные рубашки и пиджаки. Правда, причесаны они были одинаково и снизу сохраняли военный «статус кво» — штаны хаки с сапогами, но пианист заглядывать зрителю ниже пояса не привык и провел концерт на большом подъеме, как обычно в какой-нибудь Японии. Был огромный успех.

Эстетически облагороженные воины вернулись в казармы, пиджаки и рубашки — на склад Центрального универмага, а Святослав Рихтер — к напряженному гастрольному графику. Все службы сработали слаженно — вот бы так всегда и везде!

На следующий день проездом из Куйбышева в Калинин с утра к Туле подрулил запыленный автобус с вокально-инструментальным ансамблем «Бегущие за солнцем» Заполярной филармонии, и даже начальнику военного округа с женой, решившему оттянуться после вчерашнего концерта, пришлось подставлять стулья в проходе — других свободных мест не было.

С общим относительным улучшением качества аппаратуры в ансамблях появились *звуковики*. Называли их все звукооператорами, сами же они настаивали на красивом слове «звукорежиссер».

Концертные звукорежиссеры в семидесятые (да и в восьмидесятые) были фигурами трагическими. Добиться качественного звука на примитивных тогда пультах и усилителях редко когда удавалось. Комиссиями и зрителями в первую очередь ценилась разборчивость слов, а с другой стороны, музыканты, «наснимавшие» с записей западных артистов всяких экстремальных приемов, требовали расчистить ниву для своих творческих экзерсисов.

Никакие уверения несчастных звуковиков в том, что по проведенным исследованиям даже в классической опере зрителями физически воспринимается лишь двадцать процентов текста (такова человеческая природа), не помогали. Звуковиков упрекали в глухоте, в безрукости, их ругали артисты, комиссии и зрители. И хотя в основной своей массе звукорежиссеры были специалистами подкованными и все бешеные претензии пытались топить в море технической терминологии, резонно ссылаясь на сложнейшие частотные характеристики зала, наводки, время суток и атмосферное давление, — текучесть кадров в их цеху была велика. Злобные беспринципные люди даже сочинили такой анекдот: «Встретились как-то слепые удав и кролик. Удав сказал: «Сейчас я тебя ощупаю и скажу, кто ты! Так-так, сам — пушистый, уши длинные — ты ведь кролик?» Кролик говорит: «Верно, а

теперь я тебя. Так-так, рук нет, ушей нет, ты — звукорежиссер!»

Но были, конечно, и среди легко уязвимых звуковиков свои герои. Известный всей стране звукооператор ансамбля «Аракс» Сашка Слон в ответ на любые претензии по поводу звука молча сильно бил оппонента в живот. Со временем звучание «Аракса» даже стали хвалить.

Человек, родившийся в Советском Союзе, давно смирился с тем, что наша Родина — страна парадоксов. Развитие вокально-инструментального жанра породило еще один парадокс — **ограничение трудовой деятельности**. ВИА оказались такими востребованными, что теоретически могли работать каждый день и круглосуточно: зрителей бы хватило.

Можно было, например, взять художественный свист, группу карликов на самокатах, чтеца-декламатора, сатирический дуэт, трех-четырех пожилых акробатов, а во второе отделение поставить относительно популярный ВИА, и успех такому концерту был обеспечен. Кстати, так и делали. Карлики, дуэты и так далее назывались *прицепом* и под крышей виашников годами с треском окультуривали города и села огромной страны.

Говорили так: «Деньги в кассы — искусство в массы!»

Казалось бы, надо радоваться, но, по мнению начальства, музыканты могли начать зарабатывать слишком большие деньги, а это у нас почему-то всегда было нельзя.

Рассказывали, что тогдашнего министра культуры Екатерину Александровну Фурцеву известили о том, что некие популярные молодые артисты Лещенко и Вуячич за последний месяц заработали аж по 900 рублей. Их тотчас же вызвали на министерский ковер.

— Я вот — МИНИСТР КУЛЬТУРЫ, — кричала Екатерина Алексанна, — получаю 790 р. в месяц, а вы зарабатываете по 900!!!

— Дело в том, — ответил от двери один из певцов, — что мы-то *зарабатываем*, а вы — *получаете*…

— Вон отсюда!

Для вокально-инструменальников была установлена некая норма — восемнадцать концертов в месяц. Таким образом, имея, например, первую категорию профтарификации (9 р. 50 коп. за отделение), средний артист ВИА мог заработать не более 171 (минус бездетность) рубля в месяц. Находились, конечно, и обходные пути — *фондовые* концерты. Это когда какая-нибудь крупная организация вроде Уралмашзавода приглашала ансамбль на свои неизрасходованные культурные фонды. Тогда-то, конечно, наступал *чес* — полунеофициальная работа по несколько концертов в день — в административном плане система мутная, с

легким налетом уголовного кодекса. Рядовым музыкантам, правда, возможной кары можно было не опасаться, а вот администраторы попадали в тюрьму с частотой, достойной лучшего применения. Возвращаясь из мест отдаленных, они, как правило, забирали деньги из тайников и валили за бугор к лучшей жизни. Так что к концу семидесятых твердых профессионалов в этом деле почти не осталось.

Официальная норма действовала довольно долго, и создалась уникальная ситуация, когда в стране, где коммунистические идеалы и передовой труд ставились во главу угла, какие-нибудь «Голубые гитары» не могли вызвать на *социалистическое соревнование* каких-нибудь других «Гитар», например — «Поющих».

Веселые музыканты для развлечения часто мучили парткомы концертных организаций предложениями выше поднять знамя социалистического соревнования, значительно увеличивая среднее количество валидола, потребляемое на одно конкретное бюро.

Во второй половине семидесятых понятие нормы как-то увяло. Связано это было с тем, что большинство ансамблей уподобилось Ивану, родства не помнящему. ВИА начали работать не от родных городов, а от любых филармоний страны. К примеру, ленинградский ансамбль мог быть формально приписан к Свердловской филармонии, бывать там раз в год, а давать концерты вообще где-нибудь в Средней Азии или на Камчатке. Деньги — сколько положено — аккуратно перечислялись по безналу на счет филармонии, а наличная разница регулировала отношения только двух людей: директора филармонии и руководителя ансамбля. Контролировать количество уже было невозможно да и не нужно. Работали столько, сколько позволяло здоровье.

Особенно сильный чес происходил во время фестивалей, которых развелось великое множество. Названия фестивалям обычно почему-то давала какая-нибудь часть суток: «Кузбасские *зори*», «*Дни* сибирской культуры», «Подмосковные *вечера*», «Белые *ночи*». «Чесали» также и по многочисленным профессиональным праздникам типа «День шахтера», «День строителя», машиностроителя, судостроителя и т. д. Работали по изобретенному каким-то неглупым человеком варианту «вертушка». Это когда в двух недалеко друг от друга находящихся дворцах культуры два ансамбля одновременно начинали концерты (например, в 12 часов дня), играли по отделению, затем в антракте прямо в костюмах прыгали в автобусы и менялись дворцами. Заканчивали примерно в одно время около двух часов

(синхронность корректировалась по телефону). Далее где-то в полтретьего начинали там, где находятся, в антракте переезжали, и так до заката. Зрители обмануты не были: им честно показывали концерт из двух отделений, зато каждый ансамбль за контрольное время концерта успевал сыграть дважды, и ему записывали по две *палки* (это такая счетная концертная единица). Выходило в день по четыре-шесть этих самых палок. У меня в составе ансамбля «Лейся, песня» на третий подряд «День шахтера» однажды вышло 12 (первый концерт начинался в 10).

Конечно, к концу такого дня артисты уже начинали терять ориентацию. Кто-то вместо того, чтобы садиться в автобус, дабы переехать в очередной раз в соседний клуб, собирал инструменты и переодевался в «гражданское», думая, что уже едет в гостиницу. Кто-то шел на сцену проверять настройку, считая, что вот-вот начнется концерт именно на этой площадке, а кто-то, как зомби, одевался в Москву. Говорить о выдающемся качестве таких выступлений не приходилось, но откровенной лажи не было ни разу.

Как-то подобным образом работали два композитора — Никита Богословский и Сигизмунд Кац. Они играли на фортепьяно свои популярные песни из кинофильмов, сопровождая все это веселыми байками из жизни артистов. Схема была такая же, как у ВИА. Одновременно начинали в разных местах, потом менялись площадками, отрабатывали каждый по второму отделению, там же по новой начинали первое, переезжали и т. д.

Богословский — между прочим, непревзойденный мастер всяких розыгрышей, зная досконально весь репертуар Каца, вышел однажды на сцену в первом отделении и начал концерт словами: «Здравствуйте! Я — композитор Сигизмунд Кац…» Дальше со всеми шутками и репризами он отыграл отделение Каца и под гром оваций удалился в другой клуб. Через пятнадцать минут приехал Сигизмунд Абрамович. Вышел на сцену, поклонился и сказал: «Здравствуйте, я — композитор Сигизмунд Ка…»

Побить его не побили, но со сцены прогнали.

Самым любимым и долгожданным у музыкантов был, безусловно, последний концерт гастролей. После него обычно выдавалась зарплата, а впереди уже реально маячил родной город, где эту зарплату можно было с толком и с расстановкой потратить в обществе семьи, подруг или других подруг — в общем, так, как захочется. Поэтому по старой традиции последний концерт — кстати, он назывался *зеленым*, — все старались превратить в праздник. На зеленом представлении

музыканты шутили, разыгрывали друг друга самым невероятным образом — дозволено было почти все, лишь бы — по неписаным правилам — зритель не догадался, что на сцене происходит что-то нештатное.

Одной из самых любимых шуток было привязать к микрофонной стойке тонкую веревочку и, когда вокалист, приплясывая, пел, тянуть потихоньку из-за кулис. По замыслу шутников певец должен был незаметно для себя смещаться за стойкой в сторону кулис, пока там и не оказывался. Шутка была такая бородатая, что все об этом знали, и певец, увидев малейшее поползновение стойки, просто снимал с нее микрофон, после чего она могла двигаться хоть на Северный полюс. Иногда вокалисты сами разыгрывали тех, кто хотел таким образом разыграть их. Улучив момент, они незаметно прибивали свои стойки гвоздями. Тогда шутники тянули, тянули — веревка обрывалась, и они или падали, или получали обрывком по носу, что тоже было очень смешно.

Поющим гитаристам подводили к микрофонам слабый ток, тогда между гитарой и микрофоном возникала «петля», и несчастных на радость всем заметно потряхивало за губы.

Очень уязвимыми для «зеленых» шуток были барабанщики. Модно было класть им в педаль булыжник — в этом случае они, чтобы не нарушать ритмический рисунок, какое-то время пинали большой барабан ногой. В хай-хэт (чарльстон) насыпалось грамм четыреста пудры, и при первом же нажатии на хэт над ударной установкой поднималось белое облако, оседавшее на концертном костюме нарядными пятнами. Еще барабанщикам подкладывали сломанные и склеенные на живую нитку палочки, отпускали винт, регулирующий высоту стула, наливали в ведущий барабан воды — в общем, издевались, как хотели.

Остроумным также считалось склеить пианисту нотные странички или залепить все клавиши прозрачным невидимым скотчем — аккорд в таком случае звучал поистине полифонически.

У звукорежиссеров тоже были свои шутки. Например, в вокальной строке «я хотел бы вернуться назад» они могли «поймать на ревербератор» последний слог, и тогда в течение какого-то времени по залу разносилось — «зад, зад, зад, зад…». Длительность стеба определялась высотой эстетической планки шутника, но один раз что-то заклинило…

Хорошо, что слова «страхуй» нет ни в одной более-менее известной песне.

Я ни разу не видел *из зала* такую вакханалию музыкантского юмора, но если виртуально представить себе одновременное

включение на сцене всех перечисленных выше остроумностей, то как-то не очень верится, что зеленый оттенок концерта оставался для искушенного зрителя большой тайной. Другой вопрос, что большинство зрителей о зеленых концертах знали и старались попасть именно на них. Как бы то ни было, жалоб не поступало.

Гастрольный ансамбль, спаянный общим бытом, творчеством и здоровой жаждой денег, — это нечто вроде армейского подразделения. Были там свои «старики», традиции, правила неписаные, и, если кто-то новый нахальничал и противопоставлял себя коллективу, надолго в нем не задерживался. Существовали способы. Не армейские, конечно, но довольно действенные.

Люди, от которых приходилось избавляться, как правило, бывали навязаны руководством. Называли их *вставными зубами*. Чей-нибудь племянник или дочка хороших знакомых директора филармонии.

Вот этими неисповедимыми филармоническими путями и прислали как-то в приказном порядке певицу совсем не в масть. Сами посудите: посреди какой-никакой здоровой попсы выходит вдруг бабища в народном сарафане и нечисто поет три тужильные песни, а волосатые гастрольные волки, которые до настройки гитар-то не всегда снисходят, должны, значит, ей аккомпанировать. А еще она матом ругаться и курить в автобусе запрещает и за пятнадцать минут до выхода полного покоя требует — в образ-де ей необходимо войти! Кошмарное дело!

Беседовали с ней, два раза презерватив на микрофон надевали — хоть бы хны. Тогда всем коллективом просверлили в сцене в том месте, где она вставала, дырочку, пошли в аптеку и купили большую спринцовку типа клизма. Водой наполнили, руководитель даже холодильник в своем люксе предоставил для хорошего дела.

На следующем концерте в момент воспроизведения самой высокой ноты два дюжих техника из-под сцены «дунули» ей под сарафан ледяной водой. Звук она издала при этом такой специфический, что подвинула верхнюю границу своей тесситуры ноты на три-четыре.

Больше певицу никто из заинтересованных лиц не видел. Переживали, правда, страшно — порвали два баяна.

А один раз скрипач приехал со скрипкой недешевой и в бешеном классическом пафосе. Стал замечания делать, всех учить и «в нос» разговаривать — насморк у него все время был. Да еще в брюках неуставных на сцену выходил — концертные на него не налезали из-за ляжек жирных и толстой *подзвучки* (кальсон). В общем, раздражал дико! Сначала с ним по-хорошему: мол, скрипка — действительно замечательная краска, но лабать надо в

соответствии с общей аранжировкой, а не еврействовать как попало. Как об стенку горох!

Тогда не сразу — все-таки интеллигентные мы тогда люди были, — а через три дня намазали ему перед концертом в эфы (фигурные такие отверстия в скрипке) экскрементов. А у него как раз насморк случайно прошел. Вот он вышел соло играть, поводил большим носом и уехал со сцены в родной Житомир.

А вот еще! В 1978 году в Саратов во Дворец спорта приезжает певец из Москвы с бумагой: поставить его с четырьмя песнями в концерт, причем в конец программы. Бумага с печатями, «орлами и костями» — ослушаться как бы нельзя. Отрепетировали — ничего он так пел, но *закрывать* концерт в таком большом зале уж никак не годился. Побеседовали. Он — ни в какую. Первый концерт кончился — успеха ноль. Со сцены ушли под стук собственных копыт. Тогда на следующем концерте подговорили звукорежиссера, и он, когда «маэстро» на сцену вышел и свою песню стал объявлять, отрубил его от зала, а в основные динамики через свой микрофон поставленным голосом сказал: «Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш концерт окончен. Спасибо, до будущих встреч!» Да еще световик в зале свету поддал. Народ сразу в гардероб и ломанулся. Певец поет на сцене, заливается, себя из сценических мониторов отлично слышит, но до зала этот звук не доходит. А он-то об этом не знает, зато ему со сцены хорошо видно, что зрители на выход повалили.

Артист вечером с горя напился, пришел к руководителю: «Можно я *начинать* буду, а то, похоже, вы не в моем формате!» Должен-то был сказать: «*Я* не в *вашем* формате!» — ну да пьяный — что возьмешь?!

Оставшиеся два концерта начинал он, и, как ни странно, никто из зрителей раньше времени не ушел.

Такие ситуации вообще-то нечасто случались. Обычно, если кто молодой да новенький в коллектив приходил, то все-таки с должным пиететом к аборигенам относился. Тогда и старшие товарищи в свою очередь его поддерживали, обучали, пестовали, но традиционную *прописку* все равно устраивали. Таков уж был порядок. Так, необидное что-нибудь — проверка на чувство юмора, чтоб «служба медом не казалась».

Например: вводят старички молодого вокалиста в программу, готовят к ансамблевому пению. Сценические движения и всякие нюансы с ним репетируют. Объясняют: вот, мол, после слов «Сочинял сапожник песню целый день…» весь ансамбль делает шаг вперед и громко в фа-мажоре провозглашает: «Хо-хо!» И рукой свободной ленинское указательное движение

осуществляет. Надо добиться полной синхронности — от этого успех всего концерта зависит. Певец-то музыкальную часть дебютной песни уже как «дважды два» выдолбил, поэтому «хо-хо» и «руку» с удовольствием тренирует, чтобы глянец последний навести.

И вот гастроли, первый концерт. У волнующегося молодого все спрашивают, помнит ли про нюансы, не сломает ли «строй» в «Сапожнике». В контрольный концертный момент дебютант исправно вылетает на авансцену, орет в нужной тональности «хо-хо!» и рукой делает.

Естественно, все остальные на месте стоят и на «выскочку», как на идиота, с большим удивлением смотрят.

Если после таких дел новичок не обижался, значит — наш человек.

И конечно же всякие инциденты на концертах происходили. Порою очень даже неприятные. Из-за несовершенства аппаратуры и технического оснащения площадок артистов порою нещадно било током. И не так, как при розыгрышах, а по-взрослому — с опасностью для жизни. Сейчас любого известного музыканта спроси — припомнит массу случаев.

Толик Лукьянов (в девичестве Гурвиц), который сейчас в Нью-Джерси горе мыкает, скрываясь под личиной хозяина двадцати бензоколонок, вышел как-то к народу со своей любимой ленинградской песней «Невская заря». Было это в Москве в Центральном доме железнодорожника. Толик, значит, поет: «Алеет зорька золотая над мирной Не…» — в этот момент его от микрофона дико шарашит блуждающая фаза, и он падает затылком на равнодушную железнодорожную сцену. Зрители вскочили, мы вокруг Тольки сгрудились. Даже саксофонист, который его всегда ненавидел, плюнул на принципы и через мундштук пытался искусственное дыхание делать. Минут через пять Толик захлопал глазами, поднялся, отряхнулся, подошел к микрофону, опасливо его потрогал и в настороженной тишине внятно закончил фразу: «…вой!» Профессионал!

Однажды в театре во время предновогоднего концерта поддатый скрипач, ожидавший за кулисами своего выхода, оперся крепким локтем на кнопку поворота сцены. Ощущение было такое, что это не мы поехали, а весь зал двинулся куда-то. Я чуть с ума не сошел. Сцена намотала на елку провода вместе с усилителями. Еще бы немножко, и все полетело бы. Догадливый скрипач нажал другую кнопку — поехали в другую сторону. Прибежал кто-то, наконец врубил «стоп». Опытные вокалисты развернули микрофоны и встали все-таки лицом к зрителям, а я доигрывал почти что спиной.

Да, чего только не бывало! И в оркестровые ямы ребята с гитарами падали, и сцены временные на открытом воздухе под ними проваливались, и тенты, на случай дождя раскинутые, их порой накрывали,

Один раз в Новом Уренгое на очередном фестивале, проводившемся на футбольном поле, над помостом для ансамбля натянули большую водонепроницаемую ткань на четырех мощных опорах. Лучше бы опоры были послабее! Пошел ливень, и на ткани начала скапливаться вода. Прочный тент прогнулся, образовав огромную чашу, а вода все прибывала и, когда наконец одна из опор не выдержала, на музыкантов и аппаратуру обрушилось несколько тонн. Смертельных случаев, к счастью, не было, но поломанных ребер и сильных ушибов — сколько угодно.

Заслуженный артист России Николай Вячеславович Расторгуев (тогда носивший прозвище Киллис) пел песню «Прикажи помиловать, прикажи казнить!». В ней после проигрыша обычно разыгрывалась некая мизансцена, в которой полный бородатый клавишник в палаческом балахоне гонялся за певцом с бутафорской огромной секирой. Номер проходил на стон, пока однажды «палач» не запнулся за микрофонную стойку и, падая, не разрубил своим топором силовой провод чуть не с руку толщиной. Секира хоть и бутафорская, но, наверное, изготовителей забыли об этом предупредить: сделана оказалась на совесть — при всем еще и в пол вошла почти на сантиметр. Если бы не быстрые ноги и не мои кроссовки, в которых Коля в тот день работал, не видать бы нам нынешнего «Любэ» как своих ушей. Я кроссовки те до сих пор храню. Кстати, фамилия палача-клавишника была — Закон.

На гастролях в одном большом питерском Дворце культуры, в конце первого отделения, прошедшего как-то уж особенно хорошо, все наши вышли на авансцену кланяться. Я вместе с барабанами помещался на высоком постаменте, слезать с которого было трудно, да и вообще лень. Поэтому под гром оваций я просто приветствовал зал движениями головы и улыбками прямо оттуда. Музыканты, которые прекрасно знали, как мне придется корячиться, чтобы спуститься к ним, демонстративно «продавали» меня, указывая руками на барабаны. Радостные зрители усилили аплодисменты. Делать было нечего: я, кряхтя и ругаясь про себя, слез вниз и вышел на авансцену. В этот момент из-под колосников на барабанный стул, на котором я только что сидел, с грохотом упал стокилограммовый гипсовый герб Советского Союза. Стул — всмятку, и барабаны разметало — как говорят в таких случаях в милицейских сводках: «восстановлению не подлежит».

Бог и зрители спасли, а то убило бы гербом, и было бы до отвращения символично. С тех пор я кланяться полюбил. Зрителям и читателям. И сейчас вам с удовольствием кланяюсь.

Чего греха таить, после удачно проведенного концерта музыканты вокально-инструментального жанра частенько садились выпивать, и не всегда водка приносила пользу здоровью, зато почти всегда первый тост звучал так: «Давайте выпьем за «Битлз» — такую хорошую работу придумали!»

Хорошо это или плохо, только так было!

Paul, we love you! The best wishes from Max Kapitanovsky.

Moscow. 22.05.2003

Так заканчивалось сценарное послание.

Двадцать восьмого августа по ТВ в новостях показали, как Пол с супругой общаются с африканскими детьми. На прощание Маккартни с удовольствием пожал с десяток темнокожих ладошек. И сделал это левой рукой, не потому что он, как известно левша, а потому что правая была занята прозрачной папкой с толстенькой пачкой подозрительно желтой бумаги. Я своими глазами видел (жена позвала из другой комнаты). Прочитал ли Пол до конца, не знаю. Он пока не звонил. Может быть — некогда: бегает, скорее всего, по друзьям — то Элтону покажет, то Ринго какому-нибудь. И все они радуются тому, как интересно было жить в советской стране, а сейчас еще интереснее.

А фильм о приезде Пола в Россию мы сняли. Вы его уже, наверное, видели. Вроде ничего получилось. Забавно. Конечно, трудно было страшно. На концерте снимать нельзя! На приемах снимать нельзя! Хорошо, что люди у нас прекрасные: помогали как могли на всех уровнях. А так — и съемки, и то, что происходило после, — все это отдельная песня и вполне достойно специальной повести, которую я обязательно напишу.

Прошло семь месяцев

Я если обещал, то всегда выполняю. Повесть не повесть, а кое-какие воспоминания есть.

Значит, числа 22 мая 2003 года приехали мы с Димой (мой соавтор, 31 год, вес — 95, рост — 190) в Питер с надеждой снять фильм о визите Пола Маккартни в Москву. Битл на самом деле почему-то сначала заехал на два дня в колыбель революции. Мы об этом узнали, и вот я после двадцатилетней разлуки снова в родном городе. Я же сам питерский (если кто не знает) — родился и тринадцать лет там прожил. Кстати, на горных лыжах катаюсь с семи лет и дзюдо маленько в школе занимался. Страшно боюсь, как бы Владимир Владимирович обо всем об этом не узнал. А то тут же заберет на какую-нибудь руководящую должность, а мне ведь еще мировое киноискусство поднимать.

Одним словом, разгуливаю я по городу, и очень мне все нарядно и приятно. Питер к трехсотлетию готовится: вокруг все подкрашивают, подмазывают. Лампочки повсюду вкручены, и что самое интересное — горят. В центре солдаты канализационные люки заваривают, чтобы какие террористы под землей к официальным зданиям не подкрались. А направляемся мы на Ленинградскую студию документальных фильмов. На Крюков канал.

Слава богу, быстро договорились насчет камеры и всего остального и отправились двумя группами Пола караулить. По слухам, он должен был не то в «Астории» остановиться, не то в «Европе». Как я у Ольги Станиславовны побывал и чем это кончилось, я уже рассказывал, но помимо этого ведь еще куча впечатлений. Люди в Питере — просто чума! То есть хорошие. Очень. Благожелательные, в беретах ходят. Если алкаш, то обязательно в галстуке. Если бомж — то с портфелем. Дима на это посмотрел и начал серьезно задумываться о перемене места жительства. А гостеприимство и покладистость на нас обрушились прямо с вокзала…

Таксист довез до студии за разумную плату (на счетчике было 150, — взял 100). На студии тоже все в порядке оказалось: никто больше чем на двадцать минут не опоздал, автобус завелся сразу, народ в основном все больше попадался не пьяный. В общем — ажур. И вот мы с аппаратурой и надеждами в центре города, рядом с Невским.

Напротив «Европы» здание ремонтируется, кран стоит до неба — немецкий красавец. «Либхер» называется. Я размечтался — вот бы туда забраться! Не мне, конечно, — оператору. Это

какую же панораму можно снять! Но выясняется, что работы крановые закончились, более того, уже приехал огромный могучий автокран (тоже порядочный «Либхер») — разбирать наш башенный. И уже практически начал. Рабочие похвастались, что автокран стоит полторы тысячи баксов в час. Жалко, а то панораму можно было б снять. Но… Наш питерский директор Юра Кондаков пошел к прорабу и в пять минут договорился. Работяги все бросили, наплевали на тысячи, и оператор Коля Волков два часа героически ездил на самом кончике стрелы, добавив себе седых волос, но сняв такие виды, которые и со специального вертолета не получишь. Потом Маккартни подтянулся, сняли и его. Юра позже рассказал, что прораб тот башенно-крановый от денег наотрез отказался, а сломался только на обещанной кассете с будущим фильмом. Очень было обидно за Москву.

Готовый фильм осенью честно привезли прорабу. С большой благодарностью. Так он даже *не удивился*. Очень было обидно за Москву.

Вечером этого же дня, уже после Ольги и *дорогих гостей* (около 24 часов) стою я на набережной, жду человека. А внутри себя состоявшуюся встречу переживаю. Кругом народ гуляет вовсю. Странно: день-то будний. Мимо компании подвыпившие проходят и посматривают внимательно: одет я не по-питерски. Ничего особенного, а как-то не по-питерски. А ребята все здоровенные, на корюшке взращенные. Неуютно от этого, а человек все опаздывает. Наконец одна компания не выдержала. Подошли, окружили. «Не хочешь ли, друг, с нами бухнуть?» — спрашивают. Я бочком, бочком и в сторону. «Улицы разбитых фонарей» ведь смотрю регулярно. Но тут другие подваливают — бабы с шампанским: «Не откроете ли нам бутылочку, а то пробка тугая!» Не открою! Там небось клофелину до горлышка, а у меня часы, мобильник (в Питере говорят «труба») и вообще… Я стал сам прогуливаться, чтобы не маячить. Выпить хотелось страшно. И мысли грызли всякие.

«А вдруг, — думаю, — они все от чистого сердца? Да нет, не может быть!»

И так меня трусость собственная заела, что на «нерве» подошел к трем бугаям — у них на парапете аж фужеры стоят, так они плотно устроились. «Дайте, дайте, — говорю, — ребята, выпить. Из Москвы я, из Москвы!»

Они говорят: «На! Мы так и подумали!»

Выпил. Стал анализировать.

Короче, за двенадцать минут мне, фигурально говоря, три раза предложили облагородиться. В Москве в 24.10 у метро за

двенадцать минут три раза по репе могут настучать, а тут это. Опять стало обидно.

Утром с Димой перед съемкой решили позавтракать. Времени — 10. Перешли канал — на той стороне симпатичная блинная расположилась, но подошли ближе, а на дверях написано «с 11 до 20». Я решил, что ловить тут нечего, потому что у нас всего полчаса — до открытия не дотянем. Но Дима — человек молодой, горячий. По морде получить тряпкой питерской не боится. Вот он и давай в дверь стучать: увидел в стекло внутри какие-то тени. Открывает типичная женщина, причем именно с тряпкой. Дима спрашивает вежливо — типа нельзя ли у вас тут пожрать. Баба тряпкой взмахнула, обернулась внутрь в темноту да как закричит: «Нинка! Нинка! Подь сюда!» Я на всякий случай отодвинулся. Появилась мускулистая Нинка. «Нин, у нас есть чего готовое?» — «Ну… блины с грибами есть. И с мясом, заходите, ребята».

Мы робко зашли, ждем подвоха, но сели. Нинка принесла две порции отличных блинов, салатики там всякие, а Дима разошелся и даже пирожное заказал. А ведь мы вчера выпивали — по полтинничку очень не повредило бы, но в меню только одно пиво. Да и вообще мы тут на птичьих правах. Димке в состоянии крайней питерской эйфории такие сомнения чужды, он поэтому без столичных обиняков спрашивает: «Милая, а как у нас насчет этого дела?» — и делает всем понятный жест. Нинка даже не ударила. Просто сказала с сожалением, что у них только пиво, а до ближайшей рюмочной всего пять минут ходу, а если бегом кинуться, то и две. Потом посмотрела на нас повнимательнее, сжалилась: «Здесь за углом и магазин есть, сейчас работает, добегите, возьмите. Я вам здесь разрешу». Мы ответили, что, мол, не местные, что, мол, ходить туда-сюда за незнакомый угол нам не след, — в общем, жалко очень. Она махнула рукой, достала из-под прилавка графинчик, две рюмки. «Только, — излагает, — есть у меня одно условие». — Я радостно полез за деньгами. Она говорит: — «Не бу-я-нить!» Что ж, никто и не собирался.

Вечером нам предстояло переночевать в комнате у Диминого товарища, который как раз сегодня уезжал в Москву. Днем мы заехали к нему в старую коммунальную квартиру, подлежащую вскоре расселению. Комнат семь-девять, потолки — метров пять (ей-богу), общая площадь около 150. Скоро ремонт, а потом олигарх поселится со всеми вытекающими. А пока Димин друг нас с жильцами знакомит, — мы вернуться должны часа в 2 ночи, потому что к Коле Васину собрались — главному битломану страны. Всю жизнь Коля собирает всякие битловские реликвии, его коллекции мог бы позавидовать музей «Битлз» в Ливерпуле. Преодолевая бесчисленные препятствия, неведомо где набирая

деньги, Коля семь раз ездил в Англию, но как говорится — ни разу дома не застал. В общем, у Васина будет что посмотреть и о чем поговорить. Так что надолго затянуться может. Вот мы и тренируемся наружную дверь открывать. Замку лет сто, так что можно облажаться. А чтобы ночью к Серегиной комнате в темноте по почти тридцатиметровому коридору проскользнуть и никого не потревожить, мы специальные учения проводим. Стараемся ни за велосипед на стене, ни за корыто, ни за многочисленные тумбочки не цепляться. Учения Анна Леонардовна проводит — строгая и очень ответственная квартиросъемщица. Она до этого всех жильцов построила, Сергей нас представил, коротко про Маккартни упомянул, паспорта наши показал и т. д. Жильцы моментально перессорились: одни говорили, что нас гнать надо немедленно, другие — что стремглав прописать. Сергею даже пальцем грозили. Мы решили, что без крайней нужды туда ночевать не попремся. Хотя то, что они двери свои не запирают, а если запирают, то ключи кладут на кухне на видном месте, как-то по-хорошему порадовало.

Потом поехали в Манеж. Туда (опять же по слухам) должен был скоро Маккартни приехать — открывать благотворительный фонд для музыкально одаренных детей-сирот. Помещение оцеплено. Ни пройти, ни проехать. Говорят, что уже охранники Пола приезжали и стоящие в зале микрофоны специальными датчиками на присутствие яда проверили. Что же делать-то?!

У нас две камеры. Снимать, оказывается нигде нельзя. Я стал метаться, искать какое-нибудь начальство. Наконец кто-то сказал, что хозяин Манежа вон в том джипе на набережной сидит, сейчас уже уезжать собирается. Действительно, уже движок завел и стекла поднимает. Коротко стриженный, в цепурах и перстнях, посмотрел на меня, как на слякоть. Я к нему пристал на предмет снять. Он долго хохотал, изображая разработанными пальцами разные сложные фигуры, — короче, отказал наотрез.

— Да поймите вы, — давил я ему на сознание, — ну и что, что англичане сами снимают! Нам же они не продадут, а уж если сподобятся, то за такие сумасшедшие деньги, что никто не купит. Наши люди сорок лет ждали! Вы же русский человек?!

— Нет, — он говорит, — меня Ринат зовут.

— Я ведь из Москвы притащился. А родился сам в Питере. Москва — дрянь городишко, и люди гнилые.

Он двигатель заглушил, на часы посмотрел: «Пойдем со мной скорее», — и мы пошли вдоль длинного здания Манежа, сверкающего свежей краской. Подошли к торцу. Торец, правда, по виду последний раз в семнадцатом веке ремонтировался, но что ж я, не понимаю? Про потемкинские деревни не раз слыхать

приходилось. Ринат позвал какую-то голимую Нюру, та притащила два ящика и пристроила их под слуховым оконцем, забитым еще в сорок втором блокадном.

— Да вы что?! Нипочем мы с «Бетакамом» в такую дырку не пролезем! Да и высоко!

Он меня не слушает, приказывает еще и доски с окна оторвать. Я еще какое-то время пораспинался, потом подумал — а вдруг это окошко прямо в зал выходит? Тогда мы бы прямо с улицы могли снять. А Ринат меня уже в зал потащил.

— Вот кладовка за шторкой. Бери своих с аппаратурой и полезайте туда. Вылезете, когда все начнется. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Если вас англичане поймают, говорите, что через то окно пробрались, — и звякнул браслетом в каменном монголо-татарском рукопожатии.

Сняли все и даже больше.

Вечером поехали к Васину. Он сегодня впервые увидел Пола живьем, поцеловал ему руку и вручил письмо и медаль. С Колей разговаривали и снимали его как раз до тех самых двух часов ночи. В общем, много мы в этот день сделали полезного, вот только поесть забыли. Машина уже отпущена. Рядом с местом нашей ночевки ничего ночного не просматривается. Плюнули и потащились по широкой лестнице наверх в Серегину коммуналку. Я злой и голодный как собака, наверное ежа бы слопал — так жрать да пить хочется. Вода из-под крана невкусная, да и вообще сомнительная (я днем проверял), так что жажда еще сильнее обуяла. В коридоре в темноте зацепили и велосипед, и корыто, и тумбочки. Даже сундук попался, которого вроде днем не было, — грохнуло, как при землетрясении. Соседи со свечами стали в ночнушках легкими тенями туда-сюда шастать, укоризненно в нашу сторону молчать, создавать вокруг нас атмосферу неприятия и враждебности. Но мне уже все равно было — две мысли покоя не давали: есть у нас в комнате холодильник и есть ли что-нибудь в этом холодильнике. Наконец добрались до комнаты. Включили свет: там развал, как после обыска. Оставь надежды всяк туда входящий! Димин друг — человек богемный, ждать от него холодильникового изобилия не приходилось. И точно: пусто. Нет, водка-то у нас с собой была, но даже глотка воды к этой водке не было. Я огляделся: что-то в комнатном натюрморте диссонировало. Кажется, вот эта уж больно аккуратно топорщащаяся на столе салфетка. Сорвал я ее дрожащей рукой, а там:

1) термос китайский литровый 1969 г.р. со сладким чаем с лимоном;

2) два бутерброда из ленинградской булки с маслом и

дворянской колбасой;

3) шесть пирожков с рыбой и морковкой (смело, но очень вкусно);

4) три домашних соленых огурца на треснутом блюдечке с голубой каемочкой;

5) внушительный кусок студня с ярко выраженными чесночными вкраплениями;

6) начатая бутылка «Хереса», заткнутая бумажкой.

Очевидно было, что руку к этому «пикнику на обочине» приложили не два и даже не три человека.

Нет, слабоват я на сравнения, не хватает все-таки таланта описать наши ощущения. Из расплывчатого серого враждебного образа чужой квартиры вдруг мгновенно сформировалось доброе свежее личико, похожее на Анну Леонардовну. Личико кивало и лукаво улыбалось.

Ну и как вы думаете, за жителей какого города мы с Димой до пяти утра без устали выпивали?

В Петербурге Пола Маккартни еще почетным профессором консерватории назначили, а Валентина Матвиенко книгу подарила с видами Питера. В фильме этот эпизод сопровождается текстом: «Наконец-то в единое целое объединились две половинки — *Пол* Маккартни и *пол*пред президента В.И. Матвиенко!»

Все это Дима виртуозно снял, гениально пронеся в помещение камеру. А мы остальные в тот момент осуществляли старинный проверенный вариант прикрытия под названием «Константин Заслонов». Потом ночью Маккартни с молодой женой еще где-то в музее побывал, красотами полюбовался и отбыл на своем самолете в Москву на собственный концерт. Говорил потом журналистам, что в городе Санкт-Петербурге ему очень понравилось, показали много интересного. Нам тоже понравилось. Одним словом, нас с Полом в Питере отлично принимали. Его, правда, на его уровне, а нас, конечно, на нашем. Но на бумаге «нас с Полом» выглядит, мне кажется, очень увесисто.

Если бы в Москву я летел вместе с Маккартни на его самолете, я бы обязательно успел на небольшую демонстрацию прокоммунистически настроенных бабушек, которые часов в 10 утра в день концерта со знаменем вышли на Красную площадь протестовать. Но я не летел с Полом на его самолете, а ехал с Димой на поезде, поэтому не успел на эту небольшую демонстрацию прокоммунистически настроенных бабушек. Да-да, — оказывается, были и такие, кто выступал против того, чтобы Маккартни поганил святое место своим кривлянием. ЛДПРники

написали музыканту письмо, где, называя Красную площадь то мемориалом, то кладбищем, предлагали альтернативные варианты типа Митинского или Востряковского — это г-н Митрофанов по телику озвучил, а симпатичный и эрудированный Володя Соловьев в своей высокопрофессиональной манере его на место поставил. Короче, снять бабушек с антибитловскими плакатами не удалось.

Перед концертом должна была состояться пресс-конференция. У меня на шее висела бумажка, объяснявшая всем и каждому, что я бешеный VIP и проход мне везде и всюду. Я выбрался на пустые пока ряды и сел, чтобы не маячить. На сцене пока шла проверка звука (sound-check), а потом Пол должен был пройти от сцены к постаменту в центре площади. Вот я и устроился с краю центрального ряда, так чтобы он как раз рядом со мной продефилировал. Мы ж теперь не чужие. Может, он ночью или в самолете рукопись уже прочитал, а сейчас мне денег даст?! Через десять минут репетиция закончилась, и Пол в окружении четырех-пяти человек как раз мимо меня прошествовал. Улыбнулся. Я хотел встать, но он рукой меня по плечу (левому) похлопал, не давая подняться, и пошел дальше, упруго ступая черными кедами на «манной каше». Он ведь кожаных изделий не носит — «зеленый».

На пресс-конференции пара моих завуалированных наводящих вопросов про нашу *тайну* потонула в море наиглупейших (каковы ваши дальнейшие творческие планы?) реплик. Кто-то спросил, правда, настоящий он или двойник? — It's a secret! — ответил Пол, а через полтора часа и сам концерт начался.

А еще я перед началом Макаревича встретил. Он был с сыном и большим маккартниевским портретом, который Андрей сам написал. И хотя сделал он это давно, еще учась в девятом классе, битл на картине смотрелся как живой. У Андрея с сыном неплохие места были — ряд, кажется, седьмой, примерно в середине, но позже компетентные лица попросили его от сына пересесть на первый после широкого прохода удобный ряд, а потом туда же и Путин с Лужковым подтянулись. А портрет Андрей после концерта все-таки вручил тому, кто был на нем изображен.

Перед нами стояла задача каким-либо образом снять реакцию зрителей на концерт. Сделать это не представлялось возможным. Компания «BBC» (Би-Би-Си) снимала фильм о первом посещении Маккартни бывшей империи зла, соответственно привезла с собой человек семьдесят специальных охранников и заключила контракт с нашими службами, чтобы никого постороннего с

камерами в пределах среднего разрешения телеобъектива и духу не было. На всех кордонах и контрольно-пропускных пунктах отбирали даже «мыльницы», а уж о том, чтобы пронести более-менее профессиональную камеру, и речи быть не могло.

Мы толпились между двумя служебными входами. Со стороны Васильевского спуска. В один вход нас уже с позором не пустили: «Да вы что?! С аппаратурой, штативами и такими рожами?! Совсем мозгов нет?! Вас англичане застрелят!»

Подтянулись ко второму входу. Бейджики на проход у нас были, и еще я знал фамилию и номер мобильника начальника всей охраны. Поговорить с ним не удалось, потому что у него телефон (я думаю, — преднамеренно) был все время занят, и я решил пойти ва-банк.

— Позовите, пожалуйста, старшего, — говорю квадратному малому в черном костюме. Пришел старший. Еще более квадратный. Я вступил с ним в переговоры:

— Вот мобильник, позвоните Валере, он в курсе. Мы — съемочная группа самого́ Капитановского. Нам очень надо!

Старший пожал плечами, набрал — там занято. Еще раз набрал — то же.

— Эти пусть пройдут, но без камер! — и ушел.

— Оставьте аппаратуру в машине или в автобусе и идите!

— У нас нет ни машин, ни автобуса!

— Ваши проблемы!

— Ребят, — это я нашим, — сложите камеры вот на этот столик (там столик стоял). Господин охранник! Вот камеры, одна восемь стоит, другая двенадцать. Мы пошли, а после концерта заберем. Только вы уж смотрите, чтобы чего не вышло. Техника очень дорогая.

— А вы снимать случайно на концерте не собираетесь?

— Мы??!! Да у нас уж пленка вся кончилась. Просто так идем, — посмотреть. Да и камеры убраны, вон одна в сумке, другая в куртку завернута. А это не вы уронили? — и показал ему зеленый уголок бумажки с Бенджамином Франклином.

Вдоль всего ГУМа со стороны площади тянется нечто вроде сорокасантиметрового парапета. На парапете чугунные столбики с цепями. В тот день за цепями стояли тоже цепью, но редкой, — милиционеры. Человек триста. Между ними и ГУМом расхаживали парами английские бибисишные охранники. Леша с маленькой камерой под мышкой ушел пробовать поближе к сцене подобраться. Коля с камерой, завернутой в куртку, присел на парапет в ногах у ментов. А я метался мимо него вдоль цепей, мечтая хоть что-нибудь снять. Вернулся Леша с обломками. Его засекли и ударили по аппарату. Камера упала, но Лешка успел

подставить ногу. Объектив остался цел, но крышка отвалилась. Увидев, что камера на куски, охранники отбирать не стали. Просто ограничились тем, что прогнали. Мы потом починили (300$). Минула уже треть концерта, и тут я увидел, что неподалеку среди других милиционеров стоят два матерых полковника. В огромных фуражках с высокими и загнутыми, как у немецких офицеров, тульями, при полном параде и т. д. Один из них, блестя глазами, заметно шевелил губами и даже несколько раз попал в такт исполняющейся в этот момент на сцене песней «Ít's Getting better all the time». Я тут же подскочил к нему.

— Товарищ полковник, вы же русский человек… — сказал и напугался — нос великоват.

— Нет-нет, ни в коем случае!

— Ну пару кадров, а то мы ждали сорок лет, а англичанам на нас плевать с высокой колокольни…

— Давай, только быстро…

Коля мгновенно расчехлил камеру, вскочил на парапет к полканам, а я начал бегать внизу, осуществляя атас. Вот как раз и идут (они буквально обходы делали) не то наши, не то англичане. Одеты одинаково — не разберешь. Я в ужасе обернулся и увидел, что Коля спокойно снимает, положив объектив одному из полковников на погон. Чуть позже полкаши позвали человек пятнадцать молодых милиционеров, которые, встав полукругом, полностью оградили оператора, по крайней мере от тех секьюрити, кто дежурил у ГУМа. Коля поставил штатив, и через какое-то время его полукамуфляжная одежда так намелькалась всем, кому надо, что на него вообще перестали обращать внимание. Но это около полковников.

Где-то за полчаса до конца концерта Николай говорит:

— Макс, ничего с собой поделать не могу. Пойду в народ.

Я, конечно, в истерику. Камера-то арендная. Мало нам одной разбитой?!

— У меня в Питере есть «Опель» в приличном состоянии. ПТС на руках.

— Ну, давай!

И Коля кинулся в гущу событий. Никто его и пальцем не тронул. Во-первых: он действительно намелькался среди ментов, а во-вторых: к концу концерта даже официальные люди настолько размякли от полученного кайфа, что, наверное, готовы были разрешить что угодно. Так что грех было не воспользоваться.

P.S. Для издательства, которое намерено книгу выпустить, я обещал весь материал в последний раз перечитать и поправить. Что и сделал. Было это в начале июля 2006 года. Когда проверял, то вспомнил, что два года назад — 20 июня 2004-го — мне

довелось с Полом опять повстречаться. Причем именно в Питере. Там у него был концерт на Дворцовой площади. Мы ему ухитрились кассету с фильмом о его прошлом приезде передать. И произошло такое! Но уж об этом точно надо отдельно писать. Вы уже убедились, что мое слово тверже алмаза. Давайте ждать следующую книгу.

А премьера нашего фильма «Пол Маккартни. 73 часа в России» прошла в московском Доме кино. Перед фильмом небольшой концерт был: известные московские музыканты распряглись в битловской теме, а зрителей поили портвейном «777» и кормили плавлеными сырками. Как в каком-нибудь подъезде в семидесятые годы. У администрации Дома кино сначала сомнения были. Типа: у нас ведь такие люди собираются! Бомонд! А вы с пошлым портвейном.

А бомонд что, не человек?! За милую душу 166 бутылок выхлестал. И триста сырков «Дружба» срубал. Потом все восхищались: двадцать с лишним лет таких премьер не было! Со времен «Москва слезам не верит!». А то — бомонд!!!

За последние два года «Маккартни» проучаствовал в фестивалях документальных фильмов в Екатеринбурге, в Сочи, в Питере и Выборге. Получена куча призов и «Серебряный кентавр» за лучшую полнометражную документальную картину. Где бы ни показывали — везде аншлаг. Вот как у нас любят сэра Пола и хорошее кино!

3
Малый Декамерон

Волшебные спички

Успех — это не то, чего ты добился для себя самого, а то, что ты сделал для других.

Дэнни Томас

Как-то очень давно первого января мы сидели с неким Володей внутри кита и пили на гуслях портвейн. Володя время от времени отвлекался, вставал со скамеечки и, вставив в отверстие над нашими головами большой пластмассовый насос, выдувал в окружающее кита пространство несколько литров воды. Потом мы с ним, оскальзываясь, передвигали кита на пару метров и возвращались к основному занятию. Иногда я приподнимался и глядел в смотровую щель на разворачивающееся на льду Дворца спорта новогоднее действо. Ноги в лаптях очень мерзли.

Прийти первого января на двенадцатичасовую «елку» в Лужниках знакомые девчонки из эстрадного балета уговаривали меня уже несколько лет, и вот, воспользовавшись географической близостью ресторана, где мы тогда праздновали Новый год, я наконец сподобился. И не пожалел: посмотреть было на что!

В полдвенадцатого со служебного входа Ленка провела меня в гримерную, где переодевались и готовились к выходу по большей части знакомые мне ребята. Ленка целиком была одета морковкой, свободными оставались только конечности, и каждый фужер с шампанским ей приходилось проталкивать в дырку для левой руки. Она его там подхватывала, потом вся «морковка» легонько отклонялась назад, и в дырке, как в уличном автомате, показывался совершенно пустой фужер. Остальные овощи, пираты, пионеры и зайцы пили водку без особенных проблем.

Зашел озабоченный хмурый режиссер в толстом свитере. Зыркнув из-под кустистых бровей на компанию, он прошел прямо к большому алюминиевому кофру для концертных костюмов, положенному набок, на котором был на газетах сервирован новогодний артистический стол. Выпив и закусив чьим-то пирожком, спросил:

— Карлсон в порядке? — Заяц в годах вытер рот левым ухом и кивнул в угол: Карлсон с помятыми лопастями сидел там, жевал что-то и был вроде бы в порядке. — А Садко?! — Вместо ответа ему подали стакан. Режиссер безнадежно махнул рукой, выпил, обвел глазами помещение. — А это чей? — спросил он,

заметив мою ладную фигуру среднего роста.

— А это наш, — сказали в один голос Ленка, Галька и Наташка — статный грудастый пионер-кибальчиш. Режиссер взял меня за рукав и отвел в сторону.

Я — человек не склонный к авантюрам и никогда бы не согласился, если бы не два обстоятельства: подавленная бессонной ночью сила воли и бутылка армянского коньяка. Ее, кривясь от любви к искусству, режиссер пообещал мне за сорокаминутное пребывание в роли бородатого, но благородного Садко — купца второй, а чем черт не шутит, может даже и первой гильдии.

Спектакль, как мне объяснили, шел уже четвертый новый год подряд. Сценарий написал автор, «забывший» в прошлом году вернуться из творческой командировки в Румынию. Румыния — это ведь не какая-нибудь там Италия, поэтому представление совсем не сняли, а только вымарали из афиши имя автора. Он, я думаю, в претензии не был.

Суть представления заключалась в том, что группа, как бы сказали в Америке, хороших парней (овощей, пионеров и т. д.) за каких-то два часа возвращала похищенные плохими ребятами (пиратами и разными плохишами) волшебные спички для зажигания елки. Садко с гуслями, в нужный момент вылезающий из пасти кита, был сторонником овощей и пел под гусли былинную балладу, в которой стыдил и обличал оппонентов, убеждая их взяться за ум и устроиться на работу.

Часть действия разворачивалась на сцене, а часть прямо на льду, где вечерами поигрывали на счет «ЦСКА» с «Динамо». Было очень холодно, и именно эта версия спектакля особенно ценилась артистами за то, что предусматривала беспрерывные, но безуспешные попытки Бабы-яги опоить хороших парней отравленными зельями. Причем плохие ребята самовольно изменили сценарий и стали для вида как бы пробовать зелье на себе. Простодушные хорошие парни им как бы верили и под протестующие предупреждения сжавшихся от холода немногочисленных детей с трибун все-таки пили отраву. Спектакль шел под фонограмму, где музыка и текст были записаны единым блоком, и артистам требовалось незаурядное мастерство, чтобы сценически обосновать пять-шесть лишних подходов к отраве. Под видом зелья пили они, конечно, водку.

Мне выдали весь фраерский купеческий набор, я облачился, тряхнул для пробы золотыми пластмассовыми кудрями, глянул в зеркало: чудо как хорош! — и на секунду позавидовал «морковке», которую для разнообразия собирался после всего забрать домой. Единственным изъяном были лапти. Я как

творческий человек видел себя в красных сафьяновых сапожках с загнутыми носами. Но уж не до жиру.

Володя, который перебывал на представлениях и пиратом, и Снегурочкой, и вот сейчас «водителем» кита (деньги всем платили одинаковые), посмотрел в щель и распечатал следующую бутылку.

— У тебя еще минут десять.

Новогодняя кампания считалась у артистов любого профиля единственным серьезным подспорьем в не шибко богатой гастрольной жизни. Поэтому готовиться и «забивать» себе заранее новогодний график все начинали еще с октября. Особенно ценились два числа — двадцать восьмое декабря и непосредственно — тридцать первое. На двадцать восьмое праздничные вечера обычно назначали крупные богатые организации, а работа в самый новый год издавна оплачивалась заказчиками по двойному или даже тройному тарифу. Кроме этого, еще десять-двенадцать первых январских дней можно было проучаствовать в многочисленных детских елочных представлениях и побыть буратинами, снеговиками, империалистами и еще бог знает какими персонажами, рожденными буйной фантазией авторов с труднопроизносимыми фамилиями.

Ленка, между прочим, в свои двадцать шесть была дважды или трижды лауреаткой всяких там конкурсов, в том числе и заграничных. Тем не менее также как и все поскакать два часа морковкой за двадцатку зазорным не считала. Короче, артист среднего пошиба за новогодние две недели, работая не покладая ни рук, ни ног, мог подняться рублей на пятьсот-шестьсот и создать «жировую прослойку» аж до летних гастролей в Сочи. Так что детские елочные дела в артистической среде уважали и уважают до сих пор. Ходил даже такой анекдот про затюканного провинциального актера, которому в конце декабря позвонил Стивен Спилберг и предложил полуторамиллионный контракт на главную роль, только выезжать на съемки нужно было послезавтра. «Да вы что?! — отверг нелепые притязания актер. — У меня второго и третьего по две «елки»!!»

— Макс, твой выход. Там два куплета, ты рот поразевай, до трибун далеко, — ободрил меня опытный Володя и распахнул пасть. Китовую, естественно.

Стряхнув крошки с бутафорских гуслей, я вылез на лед под ослепляющие лучи прожекторов как раз в тот момент, когда из-под потолка грянул искаженный дряблыми динамиками фонограммный голос: «…победный миг недалеко, на помощь к нам идет Садко». Я стал озираться в поисках персонажа, который

мог меня так тепло приветствовать, но кроме нескольких овощей и Бабы-яги вблизи никого не заметил. Глаза попривыкли к свету, и в необозримой дали стала видна высокая сцена с елкой, около которой метались два светлых пятнышка. Теоретически это могли быть Дед Мороз со Снегурочкой. Невдалеке, дробно поколачивая по льду хвостом, на коньках проехал дракон со смышлеными глазками. Сделав красивый пируэт, дракон отрубил двойной риттбергер с выходом в либелу. Как я потом выяснил, дракон был приблудным. Будучи дальним родственником билетерши, он имел собственный костюм и независимо от сюжетной линии кочевал по любым представлениям на льду, так как единственный из всех умел кататься на коньках. Народ рептилию недолюбливал и бешено завидовал ее возможности легально курить под длинномордой маской.

Дракон отвлек, и первые свои аккорды я прозевал, а когда второпях все-таки ударил по нарисованным струнам, «мой» голос из-под потолка уже пел: «Ой, да вы послушайте, да люди добрые, да песню звонкую, да из града, да из Новгорода…» Два куплета пролетели быстро, и меня окружили пристыженные пираты. Но вскоре выяснилось, что не все они встали на путь истинный: двое-трое размахивали устрашающими тесаками в непосредственной близости от моего лихо заломленного купеческого колпака. Я было вознамерился дать гуслями в курятник ближайшему «бармалею», но в красивой ступе подоспела Баба-яга с зеленой треугольной бутылкой отравленного зелья. Отпихивая локтями дымящегося дракона, все бросились травиться.

После портвейна водка показалась мне очень крепкой, и, заметив мою съехавшую от перекоса морды бороду, какой-то монстр — помесь папы-карлы и дуремара — подал мне сильно начатую бутылку с «Дюшесом». Сделав большой глоток и частично притушив этим пожар в желудке, я с сожалением отдал бутылку назад, оставив там немного лимонада для кого-нибудь еще.

— Да ничего, — сказала помесь, — сейчас Карлсон еще привезет!

Что ж, я допил до конца.

Из-под потолка доносилась стихотворная перебранка Айболита с кем-то из команды Бабы-яги, но такая мелочь процессу отравления помешать уже не могла.

Сверху из самой гущи айболитовских разборок съехал тонкий цирковой тросик с пустым болтающимся страховочным ремнем и скрипучим голосом крокодила Гены угрожающе сказал:

— А вот и я — Карлсон, который живет на крыше!

Подоспевшая Снегурочка вступила с ремнем в длительный

диалог по поводу волшебных спичек, потом потеряла к нему интерес и подошла к Яге облагородиться.

Незаметно подплыл кит:

— Ребят, дайте выпить, щас дуба дам, — кричал, скрипя пастью одичавший Володя, — а то офонтаню всех на хер!

— Да подожди ты минут пять, — сказал нетвердым девичьим голоском голимый мальчиш-плохиш, — пионеры уже побежали.

И правда — вдалеке показалась Наташка с еще одной плотной бабой-пионером. Продвигая по льду скрюченные холодом ножки, вдоль отодвинутого в сторону хоккейного борта они, не скрываясь, несли увесистый полиэтиленовый пакет.

Потом произошло то, что рано или поздно случается на всех фонограммных концертах: порвалась пленка, и на огромный зал упала звонкая морозная тишина. Надо отдать людям должное: не всем было наплевать — кое-кто все-таки обернулся и посмотрел в туманный торец помещения, где под потолком угадывалась узкая бойница радиорубки.

Я представил себе, как явно нетрезвый радист ищет среди бардака на рабочем столе ацетон и негнущимися от холода пальцами пытается подцепить ломкие края свемовской пленки «тип 6», и понял, что пауза может затянуться очень надолго. Но оказался не прав, потому что минут через пять дворец огласился звуками популярной тогда песни, которой радист догадался заткнуть дыру. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди!» — пели молодые задорные голоса, но из-за легкого несоответствия скорости воспроизведения звучало все вяло и очень грустно.

На нетвердых шасси появился заспанный Карлсон, переквалифицировавшийся из вертолета в аэросани. Он «подъехал» к киту, вокруг которого последние двадцать минут разворачивалась вся основная битва за волшебные спички, остановился, задрал кудлатую голову вверх и стал делать потолку какие-то знаки. При этом сукин шведский сын воспроизводил некие булькающие звуки, которые в переводе со шведского должны были наверное означать «майна помалу!». И действительно, сверху съехал уже знакомый тросик, только на конце его болтался не пустой ремень, а увесистый мешок, украшенный новогодними звездами и снежинками. В мешке приятно позвякивало.

Несмело начали подтягиваться первые родители. Четверо активных пап ухватили большой фрагмент хоккейного борта и при помощи трех пиратов, зайца и почти двухметрового «мальчика-с-пальчика» взгромоздили на кита. Китовая верхняя часть прогнулась (Володька еле успел выскочить) и образовала

устойчивую плоскость, на которую деревянный бортовой щит встал как вкопанный.

Взрослые зрители, не чинясь, выставляли на этот импровизированный стол термосы и бутылки и раскладывали принесенную из дома снедь. А счастливые дети таскали за бутафорские пейсы Деда Мороза и гурьбой гонялись за раскрасневшейся от водки Снегурочкой, которая совершенно забыла, что она совсем не внучка Дедушки Мороза, а хмурый нижний акробат Сергей Рогов, серебряный лауреат циркового конкурса в Париже.

Никогда еще искусство в ТАКОЙ степени не принадлежало народу, и когда дурной голос из-под потолка вдруг снова заорал: «А ну-ка, елочка, зажгись!», никто и ухом не повел.

Домой я попал только к вечеру. Обутым в лапти. С переодетыми из овощей в очаровательных девушек Ленкой и Наташкой, но без коньяка, про который забыл. Да и черт с ним — холодильник был забит под завязку еще тридцатого числа.

Настоящая новогодняя ночь еще только начиналась.

Зелень

Если вам довелось наблюдать успешный бизнес, значит, кто-то когда-то принял смелое решение.

Питер Драккер

Обслуживание и питание в советских ресторанах в самом конце семидесятых годов не отличались большим разнообразием. Омары в шампанском и соте из соловьиных язычков еще не подавали. Единственные изыски, на которые могли рассчитывать трудящиеся, — это котлеты по-киевски, цыплятки «табака» или уж совсем запредельное блюдо «осетрина по-московски».

Хамство повсюду также процветало примерно одинаковое, поэтому граждане, собиравшиеся культурно отдохнуть, стали отдавать предпочтение тем заведениям, где пожирание пищи и алкоголя сопровождал более или менее приличный оркестр. Который за отдельные деньги мог бы сыграть если не все, то почти все, что может прийти в голову состоятельному клиенту.

В тот день я приехал на работу очень рано — часа в три. Была назначена «репа» (репетиция). Следовало навести блеск на два свежайших шлягера, которые вот уже полгода, как беспрерывно заказывали посетители. Мы, конечно, играли, но неуверенно, на слух и, как говорится, на «глухо-немецком» языке. На этот раз руководитель Гриша должен был привезти фирменную запись и слова, списанные с пленки его другом — хорошим переводчиком. Речь шла о песнях «Una paloma blanca» и «Lady bamp». А то до этого мы пели: «Унапалона бланкат шмар ди комтуре тапа́» — что хавалось на ура, но у музыкантов же должна быть хоть какая-то совесть.

Я вышел из левой машины, которую поймал у метро «Тушинская», и поднялся на второй этаж низкого двухэтажного здания, где размещался один из немногих тогда загородных ресторанов — элитный кабак «Старый замок». С гордостью окинув взглядом уютный зал с богатой аппаратурой, я присел за столик к моим друзьям, которые за кофе коротали время в ожидании репетиции. Кто бы мог подумать, что это наш последний день в «Старом замке».

Раньше на первом этаже ресторанного здания была столовка, и окрестные работяги в ватниках и сапогах, распивавшие там портвишок под пельмени, при желании и наличии минимума

средств после шести вечера беспрепятственно поднимались наверх и автоматически облекались новым статусом крутых-деловых завсегдатаев почти ночного (!!!) загородного кабака.

Но так было до нас, и именно такую ситуацию полтора года назад мы и застали, впервые приехав в этот ресторан, чтобы рассмотреть предложение стать штатным ансамблем пока еще не раскрученной, но многообещающей новой точки.

В зале орала блатная магнитофонная музыка, воняло мокрой рабочей одеждой, плохими папиросами, вообще все было в дыму — не курила только кудлатая собака, лежавшая у порога. Пьяные официанты, по внешнему виду ничем не отличавшиеся от посетителей, разносили некое подобие шашлыков (кухня там считалась кавказской) и танцевали с немногочисленными дамами, — если их, конечно, можно было так назвать.

Но само помещение было свеженьким. Грузин-дилетант с труднопроизносимой фамилией, которому полгода назад отец на тридцатилетие подарил этот кабак, по слухам, вложил в ремонт и интерьер пятнадцать штук баксов — тогда они назывались гринами, а пятнадцать — это было много. Я никогда не бывал в грузинских замках, поэтому с большим интересом осматривал уродливую чеканку, мохнатые шкуры, цепи и топоры пожарного вида, которыми был щедро декорирован основной зал. Как бы то ни было, но ресторан находился всего в четырех километрах от МКАД по Волоколамке, имел удобную площадку для автомобилей потенциальных посетителей и крышу местного РАЙПО. А пьяный официант с фингалом Костя поведал, что рядом есть удобная дорога, по которой на обратном пути можно объехать тушинский пост ГАИ, известный на всю Москву своими антиалкогольными зверствами.

Короче, тема была вроде бы стоящая, и после полутораминутного обсуждения мы взялись за дело. За какую-то неделю и три бутылки коньяка хозяина удалось убедить, что перед ним самая лучшая в Европе и широко известная в мире команда по раскрутке новых кабаков. Для этого было устроено несколько встреч и организована серия звонков типа: «А че, правда, што ли, у вас Вишельский (фамилия руководителя) выступает? Круто!» или «За сколько недель надо столик заказывать Вишельского послушать?», или «А пятихатку грин в натуре хватит вдвоем с мочалкой посидеть?».

Одним словом, Тенгиз сказал: «Фас!»

Первым делом мы потребовали рассчитать бóльшую часть старых официантов, взять несколько новых с нашей подачи и всем пошить одинаковую спецодежду. Так и было сделано, правда, где-то неделю мы отмазывали хозяина от сбившихся в

организованную банду уволенных халдеев, пока двухметровый друг Гришки — Марик — новый и единственный в мире еврей-швейцар-вышибала, их однажды не поймал и двоих не убил. Потом на второй этаж устроили отдельный вход, где за солидной дверью с глазком в умопомрачительном костюме и при чумовых часах окопался тот же сладкий Марик.

Чуть раньше мы перевезли аппаратуру и договорились с простодушным Тенгизом закрыть ресторан недели на две. За это время оркестр собирался отшлифовать специально для этого ресторана подобранную программу, кухня должна была научиться готовить несколько новых фирменных блюд в стиле средневековья, а оставленные на работе за благообразность официанты из старого состава обязались под присмотром пришедших профессионалов освоить непринужденное отнимание денег у будущих крутых клиентов.

Новое меню разрабатывал лично я. На тарелку с невразумительными биточками, подававшимися под видом люля, я предложил устанавливать изготовленную из четырех хрустящих хлебцев башню. Горячим ножом в хлебцах проделывалось окошко, внутрь вставлялась свеча, и «башня» подпиралась двумя свиными сардельками. Это небесной красоты блюдо я проименовал «Жаркое по-рыцарски», а те же сардельки, только в отдельной подаче с горошком, стали называться колбасками из вепря «a la Brian de Buagilber» — я не поленился освежить «Айвенго».

Работа кипела. Выпускник Строгановки Гришка разработал проект скатертей и салфеток со средневековыми готическими надписями «Desdichado», а дважды лабух Советского Союза незамысловатый гитарист Саха предложил подавать шашлык на оперенных робингудовских стрелах. Правда, Вишельский ему посоветовал лучше пойти подучить гармонию «Ах-Одессы-жемчужины-у-моря». В общем, все эти две ноябрьские недели мы вечерами приезжали в ресторан, где каждый усиленно занимался своим фронтом работ. У окна сидела дежурная наблюдательница из посудомоек и внимательно следила за подходами к кабаку. Увидев фары заворачивающего в наш тупичок автомобиля, она подавала знак, и мы бросались к инструментам. Двое-трое официантов подходили к задернутым шторам и устраивали теневой театр, изображая танцующие в вихре веселья пары и снующих по залу себя, еле-еле успевающих разносить потребованные взыскательными клиентами яства. Позже бас-гитарист предложил не играть, а громко заводить магнитофон с нашим же творчеством, тогда освободившийся я в контрольные моменты начинал бегать по залу, звенеть бокалами и дурным голосом кричать «Горько!» или «Гость из солнечной Абхазии

приветствует дам из Московского дома моделей!».

Из дорогих машин вылезал «солидняк», подняв голову, заинтересовывался вакханалией элитного отдыха и подходил к насмерть закрытой двери с вбитыми в нее навсегда хромированными буквами «мест нет». Надпись у «крутизны» вызывала лишь кривую ухмылку, но после настойчивого стучания появлялся вальяжный Марик, который в изысканных выражениях объяснял, что в *этот* ресторан записываются за полгода или, в крайнем случае, выигрывают места в лотерею «Спринт». При виде того, как их разочарованные спутницы, кутаясь в дорогие меха, капризно надували губки (Ну, пусик, что за делааа?!), кавалеры доставали устрашающих размеров лопатники и махали ими перед носом импозантного Марика. Можно себе представить, с какими искушениями приходилось бороться несчастному, но при всем желании, кроме строгого лица, сделать он ничего не мог. Единственное, что, наверно, сохраняло ему душевное здоровье, — это обещание самому себе отбиться в полный рост, когда ресторан действительно откроется.

В общем, дней через десять на Москве уже гулял твердый слух о том, что порядочные люди давно ни в «Русь», ни в «Иверию» не ездят, а, напрягая все связи и кошельки, отдыхают чуть ли не до трех ночи в шикарном месте — «Старом замке». Куда лохам попасть практически невозможно, а уважаемым людям, наоборот, очень возможно и даже необходимо. Иначе ты не человек, а позорный козел. Находились люди, которые, оказывается, уже не раз и не два всю ночь гудели в «Замке» с телками и даже катались там на тройках. С бубенцами!

Когда «Замок» по-настоящему открыли, срочно пришлось взять еще трех официантов и переоборудовать кладовку под супербанкетный зальчик (сейчас сказали бы — «VIP»). Я настоял на том, чтобы для этого зала заказали специальные металлические кубки, как у рыцарей, и даже получил от хозяина премию в двадцать пять рублей, потому что обычный бой посуды сократился ровно на количество новых кубков. Правда, позже выяснилось, что их нигде не заказывали, а приобрели в магазине «Учколлектор». А я-то все гадал, откуда у меня такое непреодолимое желание выгравировать на них что-нибудь вроде «Школа № 283. 1-е место по волейболу» или «Четвертой бригаде за победу в соцсоревновании».

Очень быстро качество ночной работы перешло в количество. Денег. Я приезжал домой в шесть-семь утра, бросал деньги в полиэтиленовом мешке в угол и, не раздеваясь, валился спать до двух. А в шесть снова ехал на работу. Моя тогдашняя жена расцвела и писала мне письма самого любовного содержания. Я

отделывался мужественными короткими записками. Виделись мы с нею только тогда, когда она привозила к нам в ресторан каких-нибудь знакомых с работы или иностранцев. Все ее очень уважали и боялись — ну как же: жена самого́ барабанщика из «Старого замка». Какое-то время это звучало довольно гордо.

Так или иначе, ресторан по популярности и проходимости стал постепенно затмевать Мавзолей. И в основном благодаря многочисленным профессиональным талантам Гриши Вишельского. Чего стоило, например, его тончайшее чутье на момент, когда следовало объявить «операцию чехол». Небольшая ошибка в пять минут в ту или иную сторону влекла за собою денежный провал вечера. Однажды в отсутствие Григория где-то в час ночи поток заказов стал иссякать, и я тихонько провозгласил в пространство: «Чехол!» Басист Петя послушно выключил бас, накинул на усилители полиэтиленовую пленку и изрек в микрофон: «К сожалению, на этом, дорогие друзья, наша *официальная* программа заканчивается, но музыканты еще не устали. До будущих встреч!» Я не вылезал из-за барабанов, ожидая, что как всегда подгребут два-три не натанцевавшихся еще орла и будут совать деньги за восьмой повтор «Лашатемикантаре». Но никто не спешил добавить нам благосостояния, а скоро вообще почти весь зал поскучнел, рассчитался и ушел. В два я, как последний додик, был уже дома и чуть не застал еще бодрствующую жену. Пришлось двадцать минут курить на лестнице. У Гриши же проколов с «чехлом» не бывало никогда. Как он угадывал нужный момент, я не знаю, но он угадывал безошибочно. Видимо, не зря при дележке па́рноса он получал полтора пая и не зря руководителем был именно он, а не какой-нибудь там я. Больше с «чехлом» никто не экспериментировал, доверились Грише, тем более, что эта тема была далеко не единственным его талантом. Стоило в зале появиться хотя бы одному представителю кавказских или среднеазиатских республик, как Гриша тут же делал стойку и в течение ближайших пятнадцати минут раскручивал несчастного по полной программе. Делал он это при помощи медовых речей с разумным включением нескольких слов на родном языке присутствующего, национальность которого он опять же безошибочно и мгновенно определял. Гриша легонько касался природного благородства и гостеприимства коренного населения, а также необозримости просторов полей, цветущих долин (гор) солнечной Грузии (Армении, Азербайджании, Узбекистании и т. д.), после чего рассыпа́лся в комплиментах толстой блондинистой даме посетителя и насильственным образом дарил ей какую-нибудь «замечательную» песню. Если же кавказско-

азиатских столов в зале оказывалось больше одного, то через пять секунд Гришка организовывал такой конкурс национального искусства, что у других клиентов шансов послушать что-нибудь, кроме «Сулико» или «Ов сирун, сирун», не оставалось никаких.

Однажды после заезда сборной Кавказа по гребле, чей автобус на их беду завернул к нам поужинать, я обставил свою квартиру новой мебелью. Долго думал насчет кухни и поддался-таки искушению — заказал *дровяную*, «а ля рюс» — с неподъемным дубовым столом и табуретками такой массивности, что на них хотелось рубить головы каким-нибудь стрельцам. Стоила кухня как три югославских гарнитура «Сабрина».

Как-то жена написала мне: «Повадились соседи за спичками. Спрашивают, сколько стоит кухня. Глаза у них нехорошие». Я ответил: «Купи топор и говори, что муж сам срубил». Через два дня она написала: «Они спрашивают, почему муж такой худой и с синяками под глазами. Где работает?» Я ответил: «Скажи, что физик-ядерщик, облученный». С тех пор весь дом меня жалел, а иногда приносили цветы и чего-нибудь поесть, но машину покупать я все еще боялся.

А ресторан набирал обороты. Единственное, что в невыгодную сторону отличало «Замок» от той же «Руси» — это отсутствие какой-никакой легкой безвредной стрельбы. Мы даже всерьез собирались при помощи Марика организовать маленькую рекламную пальбу без последствий, но тот же Гриша обозвал всех козлами и велел каждому участнику коллектива, включая Марка, не городить огороды, а *просто по секрету рассказать* своим женам и подругам некую историю. Якобы на днях в «Замке» одна красивая телка ранила из пистолета другую тоже хорошо прикинутую телку из-за красавца музыканта того же кабака. Не сразу, но так все и сделали. Я написал жене пространное письмо, как бороться с соседями, в конце невзначай упомянув, что у нас произошла бабская стрельба. Из-за басиста Петьки. На самом деле он был не красавец, а угловатый невнятный парень, которого держали только за то, что в песне «Лебединая верность» после слов «на землю упал» он ломко падал у микрофона, гениально изображая оставшегося без подруги матерого гуся-лебедя.

Положив записку на холодильник, я увидел там свежее письмо для меня. В нем с холодным неженским сарказмом и в отточенных выражениях любимая сдержанно пеняла мне на потерю совести и такта и на наличие трех любовниц, перестрелявших друг друга из-за такого куска говна, как я. Это ей, мол, Верка (та еще гнида) — подруга гитариста Сахи — звонила.

Как бы то ни было, через неделю Москва переполнилась

слухами о том, что у нас какие-то вооруженные иностранцы завалили шестерых ментов в штатском в борьбе за единственное оставшееся к ночи фирменное блюдо с башней из хрустящих хлебцев. Рейтинг кабака взлетел до небес.

Репа закончилась около пяти — «Палома бланка» зазвучала на три порядка лучше оригинала, ресторан открыли для посетителей, и мы отправились на кухню отобедать чем повар послал. Ребята уселись за стол около буфета, прямо напротив коридорного крана, из которого по дороге от буфетного раздаточного окна в зал официанты добавляли в водочные графинчики воду. Само собой, что вместо заказанной «Столичной» шел «коленвал». Месяц назад произошел дичайший скандал: выяснилось, что буфетчица разбавляет водку. Официанты проявили редкую сплоченность, выступили единым фронтом и быстро доказали директору, что *дважды* разбавленный любимый клиентами напиток может бросить тень не на что-нибудь, а на безупречную пока репутацию ресторана. Тенгиз, хотя и держал Нинку в любовницах, все-таки прогнулся и под давлением общественного мнения коллектива уволил ее по своему собственному желанию. Приняли Наталью Алексанну — мать официанта Никиты. Решение было мудрое по двум причинам: во-первых: будучи женщиной пожилой и непривлекательной, Наталья ничьей любовницей стать не могла и от работы не отвлекала, а во-вторых: материнские чувства по идее не должны были позволить ей лишать сынка законного заработка на водке и тем гадить ему и его корпоративным дружкам. Так оно и обернулось: новая буфетчица стала бодяжить вино.

Я взял у Фарида шесть сырых шашлыков и пошел к плите с открытым огнем жарить. Сам Фарид был занят, а кроме него я не мог доверить этот процесс никому. Как всегда шашлыки удались. Через несколько минут к нам за стол подсели с салатами и пивом официант Коля и странный эстонский халдей Арвид. Потом Арвида позвали в зал: пришли два офицера. Вполголоса ругаясь по-эстонски, Арвид поплелся сначала в зал, потом на кухню и в буфет, оттуда уже с подносом опять в зал. На этом обратном пути он почему-то миновал кран и ругался уже в полный голос. Тем не менее я переполнился гордостью: не прошло и пяти минут, как в нашем ресторане клиентов уже почти обслужили. Коля, правда, пояснил, что ругается Арвид, видимо, потому, что ушлые «сапоги» заказали *нераспечатанную* бутылку. Тут уж никак не разбодяжить, но надо смириться и терпеть. Был бы это не Арвид, а он, Коля, он бы попробовал привлечь малоизвестное постановление № 4218/7 от 5.11.1967 (которое, кстати, никто не отменял) о том, что водку положено подавать клиентам из расчета не более чем по сто

грамм на человека за вечер. Официры бы стали ныть, подмигивать — Коля бы за отдельную цену сжалился и принес бы в трех графинчиках (200 + 200 + 100). А тут уж кран-то — вот он!

Но это — он, Коля. Он-то русский прилично знает. Не то что этот Арвид. Поэтому ему надо смириться и терпеть.

— В принципе знал ведь чухна, на что шел, — философски закончил Коля.

Арвид вернулся доедать и сказал: «Они сакасали травуу». Реган, петрушка, кинза и укроп — это был дежурный набор, подаваемый к шашлыку. Нас это не удивило, но Арвид, неприлично возбужденный закрытой водкой, выпив пива, прошипел, что «эти мерские люди ничево не понимаютт в многообрассии трафф».

Коля возразил: «Ну почему?» — в результате они поспорили на «тве бутылки коньякаа», что бравые советские официры не смогут отличить «шашлычную» зелень-шмелень от какой-нибудь там осоки. Как раз в этот момент командиры потребовали еще шашлык с зеленью. Был чудесный летний вечер, и мы всей толпой спустились через задний ход на улицу. Впереди шествовали Арвид с Колькой, за ними два повара и Марик. Замыкали колонну еще три официанта и мы, а Наталья Санна смотрела из окна. Арвид остановился у пыльной обочины, примыкавшей к маленькому леску, и быстро нарвал там несколько пучков какой-то грязной травы. Я сумел определить только «Plantago major L.» и «Agrimonia eupatoria» — то есть подорожник и репей. Все это великолепие он потом тщательно промыл из «водочного» крана, положил на овальную тарелочку и вместе с шашлыком отнес защитникам отечества. Мы сгрудились у занавески, закрывавшей вход в зал, но раскрасневшиеся официры громко спорили о преимуществе роскошных блондинок перед гаубицами среднего радиуса действия, и до зелени у них пока еще дело не дошло. Поскучав немного у занавески, все разбрелись по своим делам, а мы и поспорившие халдеи вернулись за стол к десерту. Арвид ковырял в зубах зубочисткой, а Колька машинально поправлял скрытые иголки и булавки, которые они все втыкали в лацканы своих форменных пиджаков на случай недовольства клента счетом и последующего грубого хватания халдея за грудки. Он смотрел в сторону, но все равно было заметно, что оба напряжены, как колбаса. Как раз в этот момент и раздался истошный военный крик: «Официант!!!» Колька даже подпрыгнул от радости. Арвид поправил бабочку, вздохнул и, накинув на белобрысую морду выражение «чего изволите?», отправился в зал. Колька принимал поздравления, когда мимо него обратно прошел Арвид с пустой тарелкой и буркнул: «Просили травуу

пофторитть».

Как же Николай ругал Советскую армию! Послушать его, так хуже военных могли быть только горячие эстонские парни. Арвид от коньяка отказался и просил отдать долг чести деньгами. Что при свидетелях (правда, по магазинной цене) с мученической гримасой и сделал честный Колька. А нам, между прочим, пора было уже начинать играть.

Начали для повторения со свежеотделанной «Паломы бланки». Песня про белую голубку звучала увесисто. Гриша пел основной голос, а Саха и Петька подпевали, изредка заглядывая в свои толстые тетради, в которых содержались слова всех песен мира — от «Вот новый поворот» до никарагуанской «Dû miăchano ke» («Я полюбила юношу из соседней деревни, а он полюбил сына вождя племени диких свиней»). Сам Гриша мог свободно петь на любом языке, что недавно продемонстрировал двум пьяным китайцам, минут сорок забавляя их грустными песнями на их «родном наречии». Они хохотали, как безумные, а я на следующий день купил себе новые часы. Китайцы потом приезжали еще и оказались японцами — ну да бог им судья!

После «Голубки» подошли двое.

— Нашу! С объявой! — Они всегда приходили втроем, крепко пили, иногда снимали девушек, но это случалось редко. Свободные телки у нас не тусовались — загород все-таки. А так, бóльшая часть времени тратилась у них на подшучивание и всякие розыгрыши третьего парня — надутого и, по-видимому, глупого. Наверное и возили его для этого.

Гриша принял чирик и привычно объявил:

— Друзья выражают соболезнование своему кенту Грибу по поводу неудачной операции по вживлению царя в голову. Для дорогого Гриба звучит композиция «Каким ты был, таким ты и остался!». — И мы заиграли.

Те двое грибных дружков как всегда заржали, а сам предмет «тихой охоты», чтоб сделать им приятное, сделал вид, что ему неприятно. Может быть, он и не был таким уж глупым, каким они его считали.

Потом «для постоянных клиентов Зямы и Толи» мы сыграли целое попурри из песен «Журавли», «Широка страна моя родная» и магомаевской «Мы на чертовом катались колесе». Во всех этих произведениях нами обыгрывался двойной смысл правильных в общем-то слов. Если бы дело происходило в тридцатые годы, а в органах работали бы такие же остроумные люди, как мы, то паре маститых поэтов, написавших эти шлягеры, как пить дать, засветилось бы по пятнахе лесоповала плюс пятера «по рогам».

Гриша пел: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не

пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в *белых*…» — Тут мы все резко останавливались и играли кусочек из «Боже, царя храни!». Потом Петька чугунным басом Поля Робсона с акцентом излагал: «Широка страна мойя роднайя, много в неи льесов, польей и рек», — Мы останавливались, Петька указывал на себя и категорически заявлял: «Я — другой! Такой страны, — он обводил рукой воображаемое пространство от Западной Белоруссии до Камчатки, — не знаю!»

Зал выл от восторга. А когда Гриша, взмахивая руками, как Магомаев крыльями, заводил: «А я лечу, лечу, лечу…», а мы радостно орали «Не надо только лечить!», народ вставал и десять минут бурно аплодировал, как какому-нибудь Брежневу на каком-нибудь XXIV съезде КПСС.

Сначала этот номер стоил двадцать рублей, а потом его за тридцать приватизировали Зяма с Толей, посещавшие ресторан два-три раза в неделю после работы в каком-то мутном учреждении на Старой площади.

В общем, вечер катился, как по рельсам: сыграли гимн Туниса, «Ламбаду», «Черного ворона» для плачущего подполковника, композицию «Моби Дик» группы «Лед Зеппелин» для забредшего на огонек по случаю выходного барабанщика из «Сказки» и песенку из мультфильма «Голубой щенок» (друзья поздравляют своего кента Гриба с изменением окраса). Кроме осознания хорошо выполненного долга перед человечеством нас грело все уменьшающееся свободное пространство в черной коробке из-под микрофона, куда Гриша, часто отлучаясь в подсобку, аккуратно складывал наши заработанные деньги. Еще в коробке лежал листочек с протоколом якобы проведенного собрания коллектива по поводу сбора средств на покупку нового голосового усилителя. Листочек с датой находился при бабках и обновлялся каждый месяц на случай налета ментов (бывали прецеденты).

Сейчас 3 часа 23 минуты ночи 17 апреля 2006 года. Я вот пишу все это и думаю: кто Вы, дорогой читатель? Каким образом попала к Вам эта книжка? Получаете ли Вы удовольствие, верите ли мне? Хотя если Вы дочитали до этого места, а не выбросили «фолиант» на помойку, значит: чем-то Вас зацепило. Это здорово! Но может, Вы читаете и думаете: «Ну и заврался ты, парень!» Как бы мне хотелось поговорить с Вами очно. Но увы, пока книжный интерактив еще не реализован. Я изо всех сил веду работу в этом направлении и уже кое-чего добился.

Например, могу проверить, внимательно ли Вы читаете. Проверить, удалось ли мне погрузить Вас в ту атмосферу конца семидесятых, о которой со вздохом вспоминают взрослые люди с памятью. Вот в предыдущем абзаце упоминается «Ламбада». Если в ряду с «Черным вороном» и другими подобными вещами «Ламбада» царапнула ваше ощущение времени, значит, все в порядке, ведь это анахронизм: она появилась лет через десять после описываемых событий и быть сыгранной тогда никак не могла. Ну, а уж если Вы никакого внимания на это несоответствие не обратили, то Вы тоже не виноваты — это я (льщу себя надеждой) так произведение закрутил, что Вы взахлеб читаете и на мелочи не размениваетесь. В общем, и так, и так хорошо! Поехали дальше!

Около десяти заскочил Вениамин Борисыч — наш куратор из местного отдела культуры:

— Сегодня сидеть не буду, у меня в машине *люди*, — и он сделал кобелиные глаза, из которых чуть не засочилось то, что сочится у кобелей из другого места.

— Люди-то проверенные? — подобострастно спросил Петька. — Вы уж там поосторожнее! Как мы без вас-то?!

— Самые проверенные! Из бухгалтерии! Давай быстрее рапортичку.

Гриша подал бумагу с нашим официальным репертуаром, начинавшимся с задушевной песни «Степь да степь кругом», якобы играемой нами инструментально в оранжировке начальника отдела культуры Протасова. В рапортичке вообще все песни были аранжированы этим Протасовым, а некоторые даже целиком им написаны. Например, неизвестный мне (да и никому) ресторанный шлягер «Партизаны идут». Ноты-то я один раз видел: тактов четыреста — партизаны шли довольно долго. Смысл рапортички заключался в том, что Протасов с каждого исполнения произведения, к которому он был причастен, получал от благодарного государства несколько копеек. Только через наш кабак у него выходило рублей сто тридцать в месяц, а музточек в «юрисдикции» Протасова присутствовало шесть или семь. А Вениамин Борисыч обязан был следить, чтобы наш репертуар от рапортички ни на йоту не отличался. Раза два в месяц он являлся с дружками на «проверку», «гудел» часа полтора, подписывал бумагу, а мы оплачивали его счет. Венбор был человеком неплохим, не наглел и больше трех человек с собой не приводил.

Сейчас он быстро на колонке подписал рапортичку, забрал

объемистый пакет с коньяком и закусками — сухой паек, — как он говорил, — и отправился блудить с бухгалтерией. Все было как всегда, и мы вернулись к осуществлению искусства.

Где-то через час во время перерыва один хорошо нам знакомый знакомый, плохо знакомый с нашими правилами, заломив руку, пригласил меня в банкетный зал на суровый мужской день рождения какого-то спортивного бандита или бандитского спортсмена с прижатыми расплющенными ушами. Там человек одиннадцать мрачных здоровяков почти одновременно предложили мне выпить. Причем пододвинули водку в одном из тех самых полулитровых кубках, которыми с моей подачи был оснащен банкетный зал.

Самое плохое, что может случиться с ресторанным музыкантом, да и с любым музыкантом, — это пьянка. Тысячи талантливейших лабухов не справились с национальным напитком и сошли с дистанции. У меня было множество маленьких чудесных недостатков — я им в меру радовался, но два все-таки изжил: немереное питье и братание с вот такими рожами. И как следствие — впадание в ничем не оправданную эйфорию от якобы нарядно и жирно проводимого времени. Уже три года я фильтровал базар в этом смысле и ни при каких обстоятельствах не давал себе скатиться ни до первого, ни до второго пункта. А тут в потенции сразу оба! Я, конечно, отбивался, но никакие дежурные доводы типа цирроза и лечения гонореи не помогали — ощущение было такое, будто все это кодло явилось в кабак только для того, чтобы заставить меня выпить. Случай спас. Как раз вслед за мной в зальчик зашел официант (буфетный сын Никита), поискал кого-то глазами, и один из сидящих в противоположном торце стола — не то гость, не то деньрожденец — низким угрожающим голосом сказал ему:

— Посчитай-ка нам, а то потом сам понимаешь…

— Уже, — потупился Никита.

— Ну и сколько?!!

Тут Никита повел себя странно: через толстую дубовую дверь с полукруглым верхом он отступил в коридор и, прикрывая за собой створку, пискнул в оставшуюся щелочку: «Пятьсот!» И сразу сломя голову посыпался вниз по лестнице, на ходу доставая ключи от зарешеченного гардероба.

Толстый деревянный стол (прообраз моего кухонного) был не меньше шести метров в длину. Каким образом такой крупненький парнище после озвучивания суммы счета в одну секунду перелетел через «поляну» к дверям и бросился за Никитой, мог бы объяснить только Бэтмен, но «до него» тогда было еще лет пятнадцать-семнадцать.

Воспользовавшись суматохой, я выскочил в коридор. Внизу в гардеробе слышался неясный шум столкновения двух танков. Я перегнулся через перила: за запертой чугунной решеткой почти пустого гардероба, вжавшись в стену и закрыв глаза, стоял среди висящего на вешалке единственного плаща бледный как смерть Никита. Бугай, просунув руки через прутья, как раненый кит, бился о решетку, изо всех сил пытаясь дотянуться до перепуганного халдея. Не хватало сантиметров пяти. Никита что-то бормотал — наверное, молитву. Я прислушался: «Триста девяносто… ладно, триста восемьдесят… ладно, триста семьдесят четыре двадцать… Это даже без процентов за обслуживание!!!»

Услышав последнюю цифру, клиент внезапно успокоился, одернул манжеты, достал бумажник и сунул Никите несколько купюр с мелочью. Потом начал, насвистывая, подниматься. Я кинулся в сторону ожидавшего меня оркестра и, еще не добежав до барабанов, дал отсчет для следующей песни. Хотя и не знал, что они собирались играть.

Без пятнадцати двенадцать забежал гаишник Пиявка. Разменять полтинник. Вот уже полгода как они со сменщиком в свободное время ставили на выезде со стоянки ресторана переносную ментовскую будку с легким шлагбаумом. Пьяный ты или не пьяный, а двадцать рублей на выезде положи! Пиявка был честным человеком и за двадцатку подробно рассказывал вдрызг бухому водителю, как поспособнее объехать ближайший пост ГАИ на въезде в Москву. А вот сменщик его подлец Рухоль деньги брал, а потом мог и позвонить на пост: идет, мол, к вам по объезду сладкая серая «Волга» № такой-то такой-то. Пакуйте!

Те и паковали, а часть барыша потом этому Рухолю отстегивали. Я же говорю, подлец он был. А Пиявка наоборот — хороший мент, открытая душа, — и мы в конце текущей лезгинки «сыграли для него первый куплет «Наша служба и опасна и трудна…».

В половине первого в зал вошли трое молодых мужчин. Они заняли второй от сцены столик. Мужики как мужики, но что-то уж больно похожи на музыкантов. А ведь всем известно, что просто так музыканты ночью по ресторанам не ходят.

— Звездинский, — тихо сказал Гриша, кивнув на черноволосого парня с цепким взглядом из-под темных очков.

Мы все подтянулись. Михаил Звездинский был широко известен в узких кругах как один из самых процветавших тогда ресторанных певцов. Он пел белогвардейщину, Аркадия Северного и тому подобный совершенно запрещенный, а значит, модный и желанный репертуар. У Михаила не было постоянного места работы, он кочевал по кабакам и кафе, где устраивал

тайные «ночники» по четвертаку с носа. «Где сегодня Звездинский?» — спрашивала где-нибудь в «Интуристе» друг у друга позолоченная фарцмолодежь и, получив ответ, например: «в «Пилоте», ехала после двенадцати на бульвар Яна Райниса в кафе «Пилот» — внешне темное и как будто вымершее еще год назад. На условный стук «Там-та-та-та-та! Та-та́!» открывалась неприметная дверь со двора, и желающие через темный кухонный коридор попадали в ярко освещенный зал, наполненный блестящими молодцами и девушками в дорогих шубах, которые они по понятным причинам предпочитали не сдавать в гардероб. За двадцать пять входных рублей клиент имел право на бутылку шампанского (4 р.20 к.) и шоколадку «Аленка» (1 р.10 к.). На оставшиеся 19 р. 70 к. можно было насладиться творчеством Звездинского и возможностью еще с недельку рассказывать, как Серега Киевский нажрался и как Любка-Шмель, жуя резинку и кутаясь в норку, ловко срезала мента во время облавы справкой о том, что она работает лифтером в Доме на Набережной.

В последнее время поговаривали, что Звездинский подыскивает себе постоянную точку.

Вся троица озиралась по сторонам и не спешила делать заказ подскочившему к ним Арвиду. Потом Звездинский шепнул что-то одному из своих спутников. Тот подошел к нам и при помощи пятидесяти (!) рублей попросил стоявшего с краю Саху сыграть композицию Джона Маклафлина «Move on». Маклафлин — один из самых техничных гитаристов мира — как-то рассказывал своим друзьям, что записал «Move on» экспромтом, под сильнейшим кайфом и ни за что на свете не смог бы его повторить. Подобный заказ был издевательством, равносильным плевку в лицо.

Мы смотрели на Саху. Наш гитарист — ресторанный лабух из Харькова — ни о каком Звездинском, а тем паче Маклафлине слыхом не слыхивал. Единственное, что Саху интересовало — не мент ли этот вахлак в кожаной куртке. Поэтому он держал полтинник в непосредственной близости от своего ротового отверстия, чтобы в случае малейшей тревоги зажевать деньгу и проглотить. Вскрывать живого человека, дабы доказать, что он помимо своих зарплатных ста двадцати рублей берет еще и левые бабки, обэхаэсэсники еще не решались.

Удостоверившись, что «кожаный» не лезет в карман за роковым удостоверением, Саха, не оставляя отпечатков, на всякий случай все-таки за спиной передал деньги Петьке, тот — Гришке, а у Гришки в руках они сами собой растворились — первый и главный фокус, которому учатся, вступая на ресторанную сцену.

Пришлось ощутимо ударить в грязь лицом. Под

насмешливыми и преувеличенно осуждающими взглядами троицы мы униженно попросили обменять «Мувон» на три любые песни. Они кивнули: мол, лохи вы и есть лохи, и, даже не дослушав обновленную «Палому», прошли не к выходу, а за занавеску. В сторону директорского кабинета.

Минут через сорок, когда мы как раз по пятому разу играли «Шалахо», они снова появились в зале, душевно попрощались с провожавшим их Тенгизом и отбыли в теплую летнюю ночь.

На следующий день наш шикарный ансамбль уже работал в станционном буфете платформы Павшино. Попробуйте угадать, кто стал петь «Поручика Голицына» в раскрученном и модном ресторане «Старый замок»?

Клим (из романа «Будни волшебника»)

Язык — вот что объединяет, но порой и разъединяет людей.

(Иероним фон Мюнхаузен)

В Петрозаводск меня тогда Клим заманил. Я на подъем-то легкий. Пришел как-то домой, а у двери на лестнице Клим сидит, меня дожидается. Правда, здорово, когда у тебя есть такой вот Клим?! Пришел он, значит, сразу на кухню, достал из трубного футляра (он вообще-то трубач) вишневый ликер и два пирожных из кулинарии ресторана «Прага» и за каких-то пятьдесят минут из всего из этого накрыл стол. Клим — самый *обстоятельный* из всех людей, каких я знаю. Нет-нет — его никак нельзя было уподобить тем дуракам, у которых семь пятниц на неделе. У Клима их не меньше одиннадцати. Надо бы, кстати, ему позвонить, что-то соскучился. Так вот, обстоятельный он такой, что просто оторопь берет. Там, где обычный человек три слова скажет, Клим полчаса будет вкручивать, да так, чтобы у собеседника до самого сердца дошло, до самых печенок-селезенок. И заканчивает только тогда, когда того, бедного, совсем уже рвать начинает. А чтобы бедняга не сбежал, Клим его обычно левой рукой за рукав придерживает, а указательным пальцем правой беспрерывно к себе приманивает, и если совсем уже лох попадается и по знаку этого пальца начинает действительно придвигаться, то кладет в результате голову ему на плечо. Одним словом, Клим при всех его неоспоримых достоинствах являет собой такой тип человека, какой в узких заинтересованных кругах называется «достоевским». Видимо, за неназойливые душевные качества самого Федор Михалыча.

У Клима есть часы «Павел Буре». Размером с небольшую тарелку, но наручные. На ремешке. Такие, как у Сухова в «Белом солнце пустыни». Естественно, в любой компании повышенное внимание вызывают. Часы эти ему подарил его дед — не то белый офицер, не то красный конник, в общем — хороший человек. Я лично начало истории про часы слышал раз сто восемьдесят семь, но так до конца ничего и не понял, кроме того, что часы эти каким-то боком с покорением Севера связаны. А все потому, что рассказывает Клим историю часов только после определенной дозы и до полного упора. Короче, выпутаться из собственного словоблудия, подогретого алкоголем, ему еще ни разу не

удавалось, поэтому, как правило, он с честью засыпал. Ну очень меня разбирало любопытство, откуда это такие часы чудные у Клима взялись. Один, правда, раз неприятность небольшая вышла. Клим все расхваливал часы: и де на шестнадцати они рубиновых камнях, и стекло-то у них из горного хрусталя, а один недоверчивый с ним заспорил. Пощелкал ногтем по стеклу и говорит, что, мол, такой звук только у *пластмассы* бывает… Клим — в истерику. А недоверчивый этот говорит: «Давай сигаретой ткнем — проверим!» И ткнул. Клим как заорет! Потому что сигарета не только «горный хрусталь» прожгла, но и, наверное, все часы насквозь. До самой Климовой до руки. Клим потом тайком все-таки настоящее стекло вставил. За большие деньги. И уж после этого всех и каждого тыкать сигаретой заставлял. Некоторые особо покладистые тыкали, а потом и вовсе приучились тушить бычки только о Климовы «котлы». Но историю часов этот случай так и не прояснил.

Однажды в гостях у неких ребят сижу, а они говорят, что, мол, сейчас один такой Клим придет и выпить принесет. Я говорю, что знаю как раз такого Клима, только есть один нюанс: парень он в общем-то безобидный, но больной (4 «б» *со взломом*) — раз в полгода бывают срывы. Вот тогда — держись. Правда, распознать можно легко: как только насчет часов начнет выступать, тут уже вязать надо. Иначе все разнесет. Но с ним такое редко бывает.

Сказал все это и якобы домой пошел. Перед домом встречаю Клима с трубой. Он говорит:

— Батюшки светы, как интересно! Куда это вы, молодой человек, направляетесь? Не соблаговолите ли объяснить ваше поведение? Такие погоды стоят, а вы направляетесь. Кони сытые бьют копытами? Как это можно истолковать в свете самых последних решений и постановлений пленумов партии и съездов правительства? — это он вместо «Привет, как дела?».

— Иди, иди, — говорю, — там ждут тебя, обождались. Всю душу вымотали: «Что за часы такие у Клима?» — ты уж им расскажи! А я попозже подтянусь.

Короче, как потом выяснилось, он с порога как вошел, так и дал им объявки про «Павла Буре» и героического северно-белогвардейского деда, да еще и сигаретой ткнуть предложил. А те бочком, бочком — да и брызнули бежать. Я наверх поднялся опять — Клим там от удивления еще сильно выпить не успел — и тепленького его взял. Выяснилось, что дед у него на мясокомбинате работал, а часы на барахолке купил у очень тепло одетого мужика (отсюда, наверное, и ассоциации с Севером). Одним словом — дико интересная история.

Конечно, привязанность Клима к часам и трепетное к ним отношение в какой-то степени объяснить можно. Я-то его хорошо понимаю: раньше часов интересных почти совсем не было. Поэтому, когда слышу историю типа «Я однажды на самолет опоздал, а он разбился. Представляешь, что бы было, если б я не опоздал?!!» — то тут же рассказываю свою, не менее ледянящую кровь:

— В мае года так 1973-го я сидел на полу физкультурного зала воинской части № 75124. Вместе со мной под баскетбольным щитом жались друг к другу еще человек тридцать бритых наголо московских ребят — остаток столичного призывного «десанта», выброшенного вчера во Владивостокском аэропорту Артем длиннобрюхим самолетом «Ил-18». Целый день с утра колонна автобусов ползала по Уссурийскому краю, оставляя под молчаливым конвоем на каждой остановке по тридцать-сорок человек. Причем делалось все это так странно: на остановке в автобусы по очереди заходил офицер и быстро зачитывал список фамилий тех, кто должен был тут же выйти с вещами на улицу под дула автоматов приготовившегося конвоя. Их тут же отводили к забору, пересчитывали и уводили. Было полное ощущение скорого и неминуемого расстрела, поэтому прощались с остающимися бурно, с надрывом. С обещаниями сообщить по торопливо записанному телефону старухе-матери и т. д. Кое-кто не откликался на свое имя-фамилию и ехал дальше. А их никто и не искал. В конечном итоге по этому последнему, тупиковому адресу приехало и попало в спортзал как минимум на пять-шесть человек больше, чем было задумано дальневосточными стратегами из Генерального штаба. Вот интересно — выгадали те, кто не отозвался на своей остановке, или прогадали? Наверное, все-таки прогадали: хуже того, что я сейчас видел, могло быть только в настоящей тюрьме.

По физкультурному залу бродили несколько групп солдат и сержантов в/ч 75124, снимавших «первый урожай» с призывников. Потом в бане ребят скрупулезно избавят от всех оставшихся неотобранных личных вещей: пригодной для носки гражданской одежды (хотя мы еще в автобусах все на себе порвали, чтобы дембелям-гадам не досталось), обручальных или других колец, сигарет, денег, девичьих фоток и т. д. А крупные вещи: фотоаппараты, транзисторные приемники и часы — мародеры отбирали прямо сейчас. Для виду составлялся некий список, но, конечно, все все прекрасно понимали…

Я уехал в армию со штампованными (а может и не штампованными) часами под названием не то «Супер», не то «Люкс». В общем, далеко не «Омега» и не «Вашерон Константин».

Но, оглядев тогда свои причудливо разрезанные на «фашистские знаки» джинсы, кеды в дырках и рубашку с одним рукавом, я вынужден был констатировать, что эти немудрящие часики со стальным браслетом — есть единственный мостик, связывающий меня с прошлым. А потом, одно дело — посредственные часы «Люкс-с-секундомером» на руке пьяного небокоптителя с улицы Горького в Москве, а другое дело — шикарные котлы «Люкс-с-секундомером» на руке интеллектуального москвича на танцах в приграничной деревне Ивановке. Было еще потенциальное третье дело: те же часы «Люкс» на немытой лапе вон того козла с лычками.

Очередь на досмотр стремительно приближалась. Я взял баночку из-под лекарства, которыми меня на дорогу снабдила заботливая бабушка, положил туда завернутые в полиэтилен часы, закрутил широкую пробку, схватился за живот и активно запросился в туалет. Уборная при раздевалке зала была засорена и по большим нуждам не работала. Поэтому я надеялся, что меня выпустят наружу.

Никому не хотелось отрываться от грабежа, чтобы отконвоировать новобранца до ветру. Бедолага, которому это приказали, распахнул дверь в темноту, проложив в сторону Китая узкий световой коридор, а сам так и остался на символическом пороге — границе света и тьмы. Оттуда можно было хотя бы с завистью наблюдать, как текут бессмысленные слезы по толстым щекам Гришки Гурвица, только что лишившегося новенького фотоаппарата. Гурвиц, идиот, сам пошел в армию, бросив не то второй, не то третий курс МГУ. Пошел, чтоб стать настоящим мужчиной. Мама купила ему с собой фотоаппарат с условием, что Гриша будет фотографировать свой армейский быт, своих мужественных боевых друзей и незамедлительно высылать фотки ей. Вот первый же боевой друг и отобрал у Гурвица аппарат, неприятно сунув толстому Грише в живот жилистым хабаровским кулаком.

Согнувшись пополам (маскировка баночки в кармане), переступая через сидящих и лежащих на полу будущих защитников Родины, я выскочил на улицу. Пробежав по световому коридору до самого его конца, я обернулся: ефрейтор на пороге заинтересованно глядел в зал, опершись на косяк. Чтобы закопать часы, мне нужен был какой-нибудь ориентир, по которому я бы смог их снова найти, когда спадет непосредственная опасность. Очень подошло бы старое дерево с единственной веткой, как будто указывающей на место тайника. Или тысячелетний валун, на котором при помощи подручных средств за недельку-другую можно было бы изобразить

приличную стрелу, но… Но ничего, кроме небольшого холмика, находящегося на самой-самой границе освещенного пространства, вокруг не наблюдалось.

Я зарыл часы не очень глубоко, но быстро и, на обратном пути насчитав тридцать семь средних шагов, вернулся в зал. Только вошел, и сразу обшмонали, забрав единственное, что оставалось — красивый полиэтиленовый пакет и шариковую ручку. Хорошо, что не обратили внимания на остатки земли на конце стержня. Ведь именно этой ручкой я и копал «могилу» для часов.

За месяц карантина, среди бесконечных кроссов, политзанятий, драк, заправок койки на время, стирки и уборки подобраться к физкультурному залу не удалось ни разу. Зато сразу после принятия присяги я, ставший теперь уже полноценным замудонцем, прямо с плаца, в парадной форме кинулся по длинной аллее к месту, которое видел в полудембельских снах все последние тридцать две ночи.

Сразу после поворота у склада номер семь (то бишь метров с трехсот) стало видно, что некто, оказавшийся исполнительным и прилежным таджикским воином, споро вскапывает большой огородной лопатой «мой» холмик, собираясь по чьему-то приказу вернуть ему статус цветущей клумбы, каковой он, по всей видимости, раньше и был.

Когда я, как шторм, налетел на «земледельца», он как раз присел, намереваясь посмотреть, обо что звякнула его верная лопата. Таджик отлетел в сторону и мягко покатился к забору.

Весь год его оставшейся службы этот Шарип ходил за мной, умоляя открыть, зачем я, надев предварительно парадную форму, кидаюсь ни с того ни с сего на воинов из Средней Азии.

Ума хватило про часы не говорить, а то бы он меня точно убил. Ведь прожить потом целую гражданскую жизнь с мыслью о том, как бы все было клево, начни он вскапывать клумбу на пятнадцать секунд раньше или на двадцать сантиметров правее, не смог бы не только он, а даже я сам. Не говоря уже о том, что Восток — дело тонкое.

Так что привязанность Клима к часам и его трепетное к ним отношение в какой-то степени объяснить можно.

А Клим однажды идет со своей трубой, глядь: вертолет стоит. Около него дядька крупный в комбинезоне полутораметровым гаечным ключом винт не то прикручивает, не то откручивает. Клим, конечно, остановился и давай смотреть — интересно все-таки. Смотрел, смотрел, потом спрашивает:

— Извините, пожалуйста! А вот если, значит, у геликоптера на высоте двигатель откажет функционировать, то достигнется

ли, так сказать, парашютный эффект пропеллирования? Сможет ли воздушная машина спуститься в режиме парашютирования? Говорят, вертолет этим сильно от самолета отличается. Самолет на крайний случай может планировать, используя восходящие воздушные потоки, а вертолет вроде бы тоже…

Мужик с ключом башку лохматую поднял и говорит эдак угрожающе:

— Чего?!

— Ну, я же вам объясняю. Вот если, не дай бог, движок у вертолета отрубится, может он спуститься с пассажирами на одном вращающемся винте? Ну, в смысле безопасности, в рот тебе кило печенья! В смысле мягкой посадки аэрофлота?

До мужика наконец дошло:

— Камнем на хуй!

— Спасибо большое!

Я уже сам как Клим. С одного на другое перескакиваю, но совесть у меня есть, поэтому напоминаю, что он ко мне с ликером и пирожным пришел, стол ими накрыл, и сели мы посидеть.

Клим бутылку почти всю вылакал, и, похоже, наступил у него *лаконизм*. С ним иногда и такое бывало.

— Чего, — говорит, — мы тут сидим, когда можем свободно поехать в Петрозаводск?! Меня туда на майские играть приглашали. У меня там в какой-то степени девушка есть — полумесяцем бровь.

Ну, раз девушка — конечно, поехали.

Клим с вокзала сразу поломился свою луноликую искать и в оркестр первомайский определяться, а я решил себе в гостинице номерок оторвать. Чтобы солидно и никаких проблем.

— Мест нет? — спрашиваю, чтобы ответ ей сразу подсказать.

— Местов нет!

Я — хрясь пористой шоколадкой по стойке:

— А если подумать?

— Извините. Местов все-таки нету!

Я — тресь букетом по прилавку:

— А ежели посмотреть?

— Есть как будто четыре номера, но на праздники сдавать не положено.

Я — хлоп колготками с люрексом по столу:

— А для хорошего человека?»

— Какая прелесть, давай ксиву!

И я — ба-бах «серпастый и молоткастый» на перегородку.

Номер вполне приличный, на третьем этаже. Окна на главную улицу выходят. Погода хорошая, везде флаги развешивают и к первомайской демонстрации готовятся. А по тротуарам-то, по

тротуарам петрозаводские крепконогие красотульки разгуливают — эх, Первомай, Первомай — кого хочешь выбирай! Но я ведь только что с дороги, поэтому разделся и нырнул под влажные твердые простыни. Думал — на часок, а проснулся — уже темно. Что за черт?! Времени пять минут четвертого, в том смысле, что пять минут шестнадцатого на моих электронных, а за окном темень — хоть глаз выколи. Часы сломались — больше нече… Решил прогуляться по вечернему празднично украшенному городу. Надел жилет кевларовый, взял кастет хромированный чудной тульской работы, гениально замаскированный под сувенирный штопор, а также пращу реликтовую абиссинскую, взял еще ножик выкидной с наборной магаданской рукояткой и затейливой тюремной вязью «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай!» и вышел… под неяркое весеннее петрозаводское солнце.

На фасаде гостиницы семеро низкорослых как на подбор рабочих в коротких удобных прохарях споро заканчивали крепеж громадного портрета Ленина с местным карельским разрезом хитро прищуренных глазок. Это была та самая улыбающаяся разновидность любимого портрета, которая с детства мне навевала приятные мысли о добром дедушке Ильиче, быстро решившим вопрос со своей лампочкой и тут же бодро взявшимся за светлое будущее — портрет в кепке и с приложенной к ней в порядке приветствия ручкой. Особенно реалистично неизвестный художник выписал кокетливый бантик на широком лацкане вождя. Портрет перекрывал окна примерно четырех номеров, создавая в них приятную густую и чернильную темноту.

Я был почти уверен, что три номера из четырех пусты. Любой карельской березке было понятно, что сдавать даже самому командированному командировочному темную конурушку, выходящую окном на грязную изнанку портретного холста, — это грубейшее нарушение женевской конвенции о правах человека. Единственный, кто мог заставить администраторшу совершить подобное преступление, — это какой-нибудь идиот, подлизавшийся к бедной женщине при помощи того, от чего не смогла бы отказаться даже бушменская королева Нуамк-Лого-Рау, — колготок с люрексом. Хотя от ношения набедренной повязки она могла отказаться так же легко, как американцы от отмены своего военного присутствия в Гватемале. Ой, да ладно… чего уж…

Я вернулся, переоделся (в смысле, переоснастился) и пошел искать Клима.

Нашел его около филармонии. Он был одет в какой-то красный камзол и высокий кивер с плюмажами. Около него

болтались еще человек двадцать таких же орлов, собирающихся представлять духовой оркестр петровских времен. Все они в сильный разнобой подгуживали, поддуживали и подсвистывали на своих помятых инструментах, готовясь к репетиции и бравируя возможностью сыграть все что угодно — от шопеновского Похоронного марша, называемого лабухами «Из-за угла», до двенадцатого опуса композитора Шнитке, уничтоженного автором за сложность.

На тротуаре, любовно поглядывая на Клима, околачивалась его местная пассия Анюта, разодетая в пух и в более-менее петрозаводский прах, и брови ее действительно издали напоминали ущербную луну.

Короче, предпраздничный вечер тридцатого апреля мы провели довольно прилично и без больших потерь, даже ночевали там, где положено: Клим в общаге в Анютином обществе, а я в своем темном номере в одиночестве. Была, правда, там где-то одна подруга Анюты, да увел ее не то брат, не то сват. Да и хрен бы с ней, если не сказать больше.

Утром я проснулся от шума. Сейчас, когда жизнь сама по себе превратилась в один большой и постоянный праздник, а большинство наших старых официальных праздников исчезло и кануло туда, куда им и положено было кануть, мне немного не хватает тех радостных ощущений, под которые мы все раньше просыпались в красные дни календаря. Это — отсутствие необходимости идти на работу или учебу, разудалые звуки с улицы и по радио-телевидению, а также сладкое предвкушение обязательных вечерних развлечений. И вот, тогда я проснулся от шума и сперва решил, что это шумит и гомонит за темным окном демонстрация — как говорится, «нескончаемым потоком вливается на Красную площадь трудовая Москва…» — но нет, это долбили в дверь руками и ногами какие-то, хотелось надеяться, люди. Кто это такие, гадать долго не пришлось, потому что грубые мужские голоса с эмвэдэшным акцентом периодически выкрикивали: «Откройте! Милиция!» Наверное, пришли поздравить с Первомаем.

В номер ввалились четверо мускулистых ребят и, видимо, перед этим отсутствовавшая на рабочем месте, а теперь сгоравшая от желания реабилитироваться дежурная по этажу. В свете тусклой однолампочной люстры, которую я, надев трусы, успел все-таки зажечь, двое из этой великолепной пятерки закрутили мне руки за уши, дежурная на всякий случай дала пощечину, а другие двое, мгновенно обшарив небогатый интерьер, переглянувшись, подступили с интересными вопросами и предложениями.

— Где язык?! Язык где, покажи?! — закричал высокий крепкий мужчина, переодетый обычным задрипанным демонстрантом.

Мне не жалко, я показал, за что тут же получил довольно крепко в лоб.

— Сбросил, гад, — кратко резюмировал высокий, — вот и издевается. А ну-ка, Мишань, *разá* ему по печени.

И я получил *разá*.

— Одевай его и в отдел! А я еще здесь посмотрю…

В отделе, куда мы приехали (в смысле: куда меня привезли на подвернувшейся платформе с огромной толстой шестеренкой, олицетворяющей станкостроение Карелии), я сидел у стола на жестком, привинченном к полу стуле в пустой комнате. За полуприкрытой дверью слышался громкий беспорядочный шепот, несколько раз заглядывали любопытные и суровые лица, пока, наконец, не вошли два молодца одинаковых с лица — офицеры в неслабых званиях.

Они разложили на столе всякие бумаги и кое-какие мои вещи из гостиницы — слава богу, ни жилета, ни ножа, ни «штопора» там не было. Зато была праща, но ее можно было выдать за джинсовый ремень польского производства. Минут пять офицеры с интересом меня разглядывали. Вроде даже показалось, что с определенной долей симпатии. Я тем временем перебирал в памяти вчерашний день, выискивая какое-нибудь страшное прегрешение, но кроме вялого согласия потанцевать с Анютиной подругой ничего ужасного за собой так и не припомнил.

— Дак куда вы все-таки язык дели? Спрятали, а? Щас-то уж скажите!

После того, как я получил в лоб *и еще разá*, я действительно спрятал язык за небо, за альвиолы, за гланды, за аденоиды, за кадык. И вообще старался держать его за зубами. А сейчас хоть и с большим трудом, но пришлось доставать.

— В чем дело, — смело спрашиваю, — граждане начальнички? Об чем, в натуре, базар?

— Ах ты, хнида, твою мать!!! Ведь спецально с Москвы приихав к нам хадить! Ну, мы тее ща покажем! Ну, ничохо, язык теа ще до Кыіва доведеть!

Эх, язык мой — враг мой! Говорила ведь мне бабушка Аня, а я не слушал! Мелькнула мысль, что все это просто какой-то дурной сон, но лоб ощутимо болел. И вот тут-то мне сделалось по-настоящему страшно.

«Внимание! Внимание! Наши микрофоны установлены в самом центре города. Мы ведем наш

репортаж из специальной удобной будки, предоставленной нам нашими коллегами — телевизионщиками.

Итак, нескончаемым потоком вливается на широкую площадь трудовой Петрозаводск. В ярком праздничном убранстве и с новыми трудовыми успехами встречают нынче Первомай трудящиеся орденоносной Карелии. Гремят духовые оркестры. То тут, то сям яркими алыми пятнами мелькают красные галстуки — это идут пионеры — дети Ильича. Чучу! В смысле: Чу! Чу! Кто там так четко печатает шаг? А? А!!! Это стройными рядами проходят колонны трудящих мебельной фабрики «Карельская береза». Вот, вот они проходят — молодые, улыбающие, здоровые. В аккуратных синих комбинезонах и с символическими топорами. («Мохов, замудонец, чего отдыхаешь?! Ты у меня на губе отдохнешь! Неважно, что не солдат! Я понимаю, что тяжело! Шире шаг!»)

Огромное доверие рабочие оказали двум своим товарищам — передовикам Владимиру Мохову и Алексею Коржу, отлично и в срок справившимся с несением предпраздничной трудовой вахты. И сейчас они радостно несут транспарант с названием родного предприятия, кстати, изготовленный из лучших сортов замечательной, известной на весь мир карельской березы. Ширится движение наставничества.

Раздаются радостные клики, лозунги и здравницы в честь нашей партии и правительства, с постоянным вниманием пекущегося о все более повышающем благосостоянии трудящихся. Слышатся крики «ура» и возгласы «Да здравствует!» («Вторая рота… мать-перемать, хорош скалиться! Сдать топоры Нефедову!»)

Первомай — не только наш праздник! Даже в далекой Сатманде на вытоптанную обезьянами площадку вышли празднично раскрашенные жители. Наш корреспондент подходит к группе товарищей… Тем временем здесь у нас разворачивается прямо-таки театрализованное представление. Кстати, его постановщиком является наш известный деятель культуры Сергей Глухарь. И вот на площадь как бы вплывает какая-то ладья. Да это же петровский челн!

А в нем стоит и сам основатель нашего города — Петр Великий. Челн «проплывает» мимо портрета Владимиру Ильичу Ленину, и это очень символично. Петр с удивленным восхищением потрясенно оглядывает наши достижения и новостройки. «Вот уж не думал я, мин херц, что до этого дело дойдет!» — как бы говорит он, а в глазах Ильича светится эдакая смешинка. «Знай наших, товарищ Петр!» — как бы отвечает Петру Великому Великий Ле… ле… ох е…»

* * *

Клим в составе группы джазовых саксофонистов, ловко замаскированных под скоморохов и дударей, шел за дощатой лодкой, которую, матерясь, тащили на плохо смазанных и восьмерящих велосипедных колесах шестеро солдат, переодетых не то гопниками, не то каторжанами. Они путались в серых длинных лапсердаках с волочащимися кушаками и с военной завистью поглядывали на Петра Первого — рядового Крамского, выбранного замполитом за стать и с трудом балансирующего на пивном ящике из-под шампанского. Из-под наполеоновской треуголки Крамской Первый зорко вглядывался в угадывающийся на востоке новый девятый микрорайон, недостроенный и глубоко утопающий в грязи. Там, за последней пятиэтажкой, всего в каких-нибудь двух-трех тысячах километров находился его родной поселок Луч (бывшая Поповка).

Клим только что закончил играть марш седьмого гренадерского полка — вещь для исполнения трудную, но красивую, и вытряхивал слюни из мундштука, когда налетел на впереди идущего «скомороха». Процессия остановилась. Петр Первый, забыв о царском величии, суетливо указывал перстом на портрет Ленина, как будто хотел ему что-то доказать. Клим взглянул в том же направлении.

Человек на портрете, слегка приоткрыв улыбающийся рот, показывал демонстрации и всей мировой общественности большой лиловый немного раздваивающийся на конце язык. И не просто показывал, а болтал им и всовывал-высовывал с большой скоростью, как варан с острова Комодо. Над площадью повисла густая акустическая тишина. Только ребенок на руках у бабы в народном костюме, переодетой той самой женщиной, в привычку которой входит останавливание коней на скаку и прогулки по полыхающим домам, тянулся пухлыми ручонками к ожившему портрету и заливисто орал: «Дяд-я-я-я!!!»

Несколько демонстрантов с одинаковыми прическами рванулись с разных сторон к гостинице.

Честно говоря, Клим и сам обалдел. Он зачем-то посмотрел на свои часы «Павел Буре», как бы фиксируя для истории время возникновения феномена. Было 11.23. В голове у него промелькнул рассказ бабушки о чудотворной иконе Казанской Божьей Матери, в один прекрасный момент в 1917 г. заплакавшей крупными горькими слезами и рыдающей до сих пор; потом, взглянув на все того же ребенка, он вспомнил мальчика из известной сказки, выкрикнувшего в толпе: «А король-то голый!» Наконец первое оцепенение у всех прошло, площадь как один человек глубоко вздохнула, и первые всхлипы смеха, как первые отдаленные раскаты грома надвигающейся грозы, уже послышались тут и там. И раздался ужасающий, сатанинский хохот, от которого стали лопаться разноцветные воздушные шарики, припасенные толпой для первомайского пафоса. Опомнившаяся милиция кинулась хватать правых и виноватых, и площадь бросилась врассыпную.

В камере, куда после первого допроса меня отвели *подумать*, находилось человек пятнадцать. В основном людей молодых и очень странно одетых. Тут были и какие-то, прямо скажем, стеньки разины, и вахлаки-народовольцы и даже один мужик-арбуз, при взгляде на которого, наверно, пришли бы разные мысли о всеобщем изобилии и плодородии, если бы он не курил взахлеб какую-то уж больно вонючую сигарету класса так седьмого и не сплевывал поминутно через отсутствующий зуб.

Ко мне подошел высокий, похожий на зрячего Гомера, мужик в хитоне. Взмахнув свитком с возможной «Иллиадой» и осмотрев с интересом мой совершенно несуразный в этом месте костюм, лениво спросил:

— Корешок, закурить не найдется?

Я пошарил в заднем кармане и нашел смятую вдрызг пачку «Мальборо».

— О! — с уважением удивился он. Видно, для древних греков такие сигареты были в новинку. — Откуда сам?

— Да, блин, из Москвы!

— С самой Москвы?!! А за что?

— Да вроде за язык. А тебя-то за что?

— За хохот! Ну, за смех. Ребят! Вот он! Из Москвы специально приехал!

Живописно одетые персонажи угрожающе двинулись ко мне и, подойдя, стали похлопывать по плечу и пожимать руку.

— Молоток! Наконец-то! Но не особенно-то вые! Мысль эта уж давно всем приходила, только местному ни хуя номера не

снять, а ты — молоток.

Короче говоря, кто-то проник в гостиничный номер, скорее всего расположенный прямо под моим и тоже находящийся непосредственно за портретом. Открыл окно, тонко просчитал место, прорезал в холсте щель на уровне рта вождя и, пользуясь заготовленным дома, а очень даже может быть и присланным с подрывными целями из-за бугра картонным языком, выразил свое собственное отношение к происходящей на площади вакханалии солидарности трудящихся всех стран.

И вот все эти гаврики думали, что это был я.

Часа через полтора у какого-то «пинкертона» хватило ума обнаружить, что из моего номера, в силу его расположения, можно было устроить только *моргалки*, но уж никак не высовывание языка. И распахнулись двери на свободу.

Всю остальную братию тоже выпустили, и я с тем высоким Гомером, оказавшимся просто Колькой, разыскав перепуганного Клима, засел в ресторане отмечать счастливое освобождение.

Автора «анимации» так и не нашли, зато вечером этого дня внимательный прохожий мог бы наблюдать на пустыре, с задней стороны примыкающем к гостиничному двору, двух низкорослых лохматых собак, рвущих какие-то грязные лохмотья, еще совсем недавно бывшие языком портрета. А перефразируя известное стихотворение Маяковского — языком партии.

Черти

Стоимость краски, рамы и холста картины Малевича «Черный квадрат» в нынешнем эквиваленте равняется трем долларам.

(Справочник любопытных сведений)

В 1997-м Кторову было 34 года — столько же, сколько в свое время Христу, но через год. Звали его Гоша, но за длинные, всегда чистые волосы и громадные иконописные глаза знакомые нарекли его Отцом Георгием.

Отец Георгий был хорошего гренадерского роста с мягкими деревенскими манерами. Одним словом, женщины от него кипятком, значит, это самое, другие с него тащились, а некоторые просто торчали, как шпалы.

Гошины материальные обстоятельства выглядели вполне пристойно и включали в себя 29,5-метровую (полезная площадь) однокомнатную квартиру и неновую, но ухоженную машину Волжского автозавода. Отец Георгий был свободным художником, то есть в глазах трудящихся просто бездельником, но самое неприятное, что к концу века он оказался не у дел.

Вот так. Не у дел! Не у дел, хотя художником Георгий являлся потомственным — так сказать, представителем трудовой династии бездельников. Еще его дедушка до революции очень активно рисовал карикатуры на членов Государственной думы Гучкова и Милюкова, за что после семнадцатого года благодарно не был расстрелян восставшим пролетариатом.

Папаша Георгия вообще был матерым членом Союза художников СССР и борзо расписывал стены официальных зданий мордастыми трактористами и упитанными доярками в стиле ВСХВ, потом ВДНХ, а ныне ВВЦ. Все это, однако, не помешало ему в известное время отмотать семь лет лагерей за изображение обеденного перерыва на полевом стане, где доярки с трактористами поедают пухлые мичуринские помидоры прямо руками, а не ножами и вилками, как это было положено нормальному советскому колхознику.

В лагере папаша Кторов много чего понял о Великом Учителе товарище Сталине, и поздний ребенок маленький Гоша рос в атмосфере некоторого, мягко сказать, *неодобрения* давно

покойного уже к тому времени вождя.

Как известно, талант передается в третьем поколении, и первый же портретик Иосифа Виссарионовича, нарисованный пятилетним Гошей, полностью подтвердил этот постулат, хотя и отдавал местами «наследственным» Милюковым, а порою даже Гучковым.

К шестнадцати годам Гоша уже мог с закрытыми глазами и в полной темноте за десять минут написать маслом портрет Великого Учителя, причем потрясающий талант Георгия как живописца, видимый даже невооруженным глазом, заключался в нескольких неуловимых штрихах, моментально превращавших оригинал в монстра.

Но все-таки чего-то ему не хватало. Грызло какое-то чувство неудовлетворенности, талант распирал изнутри, а настоящего выхода наружу ему не было.

Озарение пришло как-то ночью. Гоша проснулся в три часа как от толчка, зажег свет, схватил один из уже готовых холстов и несколькими виртуозными жесткими и точными движениями придал *лицу* небольшое косоглазие, затем рука его сама потянулась к *голове* и быстро пририсовала маленькие рожки. Вот! Вот! Вот! Вот это было то что нужно!

Далее Георгий как настоящий профессионал стал почитывать редкие материалы, касающиеся личности и жизни его постоянного героя, чтобы полнее раскрыть его неповторимый образ, отразить подводные течения, расширить рамки официоза. Копаясь в истории, Гоша добросовестно пытался осмыслить, откуда что пошло, выявить, так сказать, глубинные корни, и вполне закономерно, что вскоре на холстах появился второй персонаж — слегка косоглазый и рогатый Вл. И. Ленин.

Потом мастер сделал еще одно гигантское усилие, копнул еще глубже, чтобы окончательно определить *корни корней*, и с тех пор по настоящее время на его картинах красуются уже четыре рогатых лика: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

Особенно автор невзлюбил индифферентного квелого Энгельса, считая, что это именно он тихой сапой коварно сбил с пути братуху Маркса и искусил его, как Клеопатра Цезаря, вследствие чего глаза Фридриха на портретах косили всегда чуть больше, а рога были чуть длиннее, чем у остальных членов шайки.

Видимо, под влиянием этой особой, странной нелюбви к в общем-то безвредному Энгельсу и сложилось уже окончательное емкое, но лаконичное название всей серии — «Черти».

Кторов не останавливался на достигнутом: он активно экспериментировал с цветом, придавая ликам то зеленоватый, то

синеватый оттенок, пока, наконец, не успокоился на жестком ультрафиолете.

Эксперименты в области композиции тоже открывали широкие перспективы: Гоша разбивал четверку на парочки, на «3 + 1» (бедного Энгельса всегда отдельно), вписывал их в окружность, в овал, в треугольник, а однажды даже ухитрился разместить внутри шестиконечной звезды Давида.

Постепенно книжные шкафы и полки художника заполнились собраниями сочинений классиков, трудами по диалектическому материализму, рефератами по марксистско-ленинской философии, книжечкой Владимира Солоухина «Читая Ленина», перепиской вождей с ихними бабами и пугающими фотографиями во время болезней.

Надо отдать Отцу Георгию должное — материал он знал великолепно.

Часть его полок занимали также три тома великолепного дореволюционного издания Брема с иллюстрациями, иностранные журналы по овцеводству, козловодству и быководству и, конечно, многочисленные отечественные справочники по зоологии. Ведь только непроходимые болваны думают, что рога — они и есть рога.

Ветвистые оленьи, аккуратные панты изюбря, изогнутые рога красавцев горных баранов, завитые на манер спирали рога кавказской шашлычной породы, рога зубра, газели, серны, австралийской антилопы, мифического единорога, индийских мощных буйволов с добрыми (но не косыми) глазами, наши любимые и родные коровьи рога, рожки жирафа, речной улитки, убедительные рога сохатого, бизоньи и, наконец, наиболее приличествующие случаю козлиные замечательные, опять же, рога.

На потребу моде на полотнах Кторова, не желавшего все же оказаться в стороне от самых современных западных течений, великолепная четверка запечатлевалась с самыми разнообразными наборами рогов, варьировавшихся в широком диапазоне от бычьих до улиточных. Хотя сам автор в глубине души считал, что все тому же Энгельсу больше всего идут два уродливых нароста, в обычной жизни украшающие голову новозеландской рогатой жабы.

От знакомых Гоша узнал, что в Литве проживал знаменитый художник и статуэточник Чюрленис, тоже специализировавшийся исключительно на изображении всевозможных чертей. Отец Георгий возгорелся обмениваться с ним творческими планами, но выяснилось, что это уже невозможно, так как г-н Чюрленис не дождался своего более молодого соратника и сейчас, скорее

всего, общается с чертями *напрямую*.

Из-за невозможности посоветоваться с признанным мэтром «чертопологии» какой-то период в творчестве Кторова занимали некие авангардистские метания. Не имея пока учеников и последователей, он метался от невозможности осмыслить, являются ли рогами рог носорога и бивни палеонтологических мамонтов. Но после первых же опытов вопрос отпал сам собой. Ведь если мамонтовые бивни, торчащие из-под усов Иосифа Виссарионовича, еще как-то смотрелись, то наличие бород у остальных членов преступной группы полностью исключало бивни как необходимые аксессуары.

Ничего, правда, выглядел Фрид Энгельс с носорожьим рогом. Но Кторов более чем трепетно относился к своей творческой индивидуальности и отбивать лавры у Иеронима Босха совсем не собирался.

Наоборот, единственным и скромным желанием Гоши были пара выставок где-нибудь в Париже и небольшая цветная иллюстрация в заграничном каталоге одного из его любимых шедевров — «Маркс, Ленин и Сталин отшибают рога у Энгельса».

Причем подписано должно было быть просто и лаконично:

«Г. КТОРОВ, ЧЕРТИ. Масло, холст. ГТГ».

Время тогда было странное, если не сказать больше. Вместо того чтобы стать сумасшедшим, художник прослыл диссидентом и борцом за всякие права. *Комитет*, хоть и находящийся на излете, начал подслушивать кторовские разговорчики, да и сам позванивать разными молодецкими голосами, обзывать на всякий случай жидовской мордой и требовать его скорейшего отъезда на любимый Запад — прибежище всех конформистов.

Где-то году в 1988-м прелестным апрельским днем к нему в дверь позвонили.

В глазок виднелись два молодых человека средних лет с очень официальными выражениями лиц.

— Кторов Георгий Константинович здесь проживает? — холодно осведомились из-за двери.

Струсивший художник хотел было сказаться отсутствующим или больным, но решил, что это глупо, и попросил обождать пару минут, пока «он выйдет из ванной».

Вот где ему пригодилось все его мастерство. Двадцать шесть готовых работ он затолкал под тахту, потом схватил неудачный по задумке и скверный по исполнению набросок «Черти. Энгельс со Сталиным наставляют рога Марксу и Ленину» и до повторного звонка успел не только намочить голову, но и замалевать троих из четырех (рога, естественно, остались) Гитлером, Геббельсом и пока еще непонятным лысым чертом. Четвертого же деятеля

удалось только закрасить жирным черным пятном.

Молодые люди в ногу прошли по коридору и, показав издали темные красные книжечки, отрекомендовались сотрудниками комитета, но *художественного.*

— Вот, навещаем художников, узнаем, так сказать, чем они дышат, какие нужды и т. д. А также способствуем организации выставок. Симпатичные тут у вас чертики. Ба, да это ж Гитлер, а это — Геринг, нет, — пожалуй, Геббельс. А этот лысый?! К чему бы это тут такой лысый?! Стойте, стойте, я уж сейчас сам догадаюсь, а ты, Вадим помолчи! Старших не перебивай! Щас, щас, — Хрущев! Правильно?

— Да какой же Хрущев, если у него усики. Это ж вылитый Муссолини! — все-таки перебил старшего Вадик.

— А мне *говорили* — Хрущев, — разочаровался старший. — Ну ладно, а это что за черная рожа?

— А это — африканский диктатор Чомбе, — нашелся Гоша.

— Что ж, неплохо, неплохо, надо подумать о персональной выставке. Будем следить за вашими успехами, — проговорил старший со змеиной улыбкой.

С тем и распрощались.

На какое-то неопределенное время Кторова оставили в покое, потом наступил тысяча девятьсот восемьдесят девятый, за ним пришел девяностый, за ним 91-й, 92-й и Отец Георгий как бы оказался не у дел.

Он попробовал писать современных правителей, но рога им совершенно не шли. Попытки пририсовывать власть предержащим хвосты и копыта предусматривали ростовые портреты, что было неудобным по многим соображениям. Да и почти за два десятка лет он так набил руку на четырех китах, что на нынешних, часто сменяемых, она даже не поднималась. И случился Георгий Константинович Кторов — 1963 г.р., русский, разведен, — в творческом застое, то есть практически не у дел.

> *Правда, он потрясающий?! Это я сейчас немного вперед забежал, потому что познакомлюсь с ним только в главе «Малый декамерон» на даче в Красной Пахре. Но не мог удержаться, да и для вас лучше. Когда он в «декамероне» появится, вы уже будете знать, с кем имеете дело.*
>
> *Сейчас Гоша — вполне заметный на российском уровне кинопродюсер. Занимается анимационными фильмами. Художники и авторы, которым случалось с ним работать, Кторова хвалят за честность, но ругают за жесткость. Не догадываясь, что из него можно веревки*

вить. Если ввести в сценарий или в эскизы хотя бы одного чертика. Маленького.

Спросили бы у меня! А уж я бы…

О воображении

Думай, думай, голова, — память трещину дала!

(Иносказание)

Да, воображение! Уж чего-чего, а его-то у меня навалом. Когда мне было девятнадцать лет, я снимал квартиру в Тушино. Квартира — двухкомнатная, но вторая комната была заперта, и пользоваться ею я не мог. Туда раз в месяц тайком под покровом темноты на часок приходила пожилая пара: мужик лет под сорок и женщина лет тридцати пяти. Они мгновенно выпивали бутылку сухого вина и после этого аж минут десять возились в кровати, по привычке изменяя своим законным супругам. Как я уже говорил, они бывали раз, редко два раза в месяц, а платили хозяйке как за постоянное проживание, так что на эту вторую комнату я, бедный, мог только облизываться. У меня тогда был довольно скудный жизненный выбор: хорошо подготовиться и поступить в институт или плохо подготовиться и вступить в Советскую армию и Военно-морской флот. Я на всякий случай готовился к обоим вариантам. Скажу заранее: подучить материал в институт я так и не смог по обстоятельствам, ради которых все это и рассказываю.

Дом был блочный, стены тонкие — каждое громкое слово из соседней квартиры отлично слышно, особенно если к стене стакан приставить, а к стакану ухо приложить. И вот однажды, через несколько минут после ухода пожилых любовников, посещение которых настроило меня на лирический и немного грустный лад, в тот момент, когда я собирался приступить к занятиям, меня прервали неясные звуки из соседней квартиры, в характере которых было трудно ошибиться. Оттуда слышались монотонные вздохи, сладострастные стоны — в общем, все то, что сопровождает занятие любовью двух не совсем равнодушных к сексу и друг к другу людей. Звуки повторялись по несколько раз на дню, ночью, утром, что постепенно стало вызывать у меня даже некоторое уважение. Совершенно понятно, что основную часть своего времени я проводил, прилипнув к этой стене, а, применяя стакан, получал возможность слышать отдельные фразы, говоримые молодым мужским голосом. Темы разговоров были чисто бытовые и на фоне относительно сладострастных женских стонов попахивали таким ужасающим развратом, что прямо кайф.

Я на период подготовки к экзаменам сознательно перешел на

аскетический образ жизни, дав на время отставку всем своим подружкам, рассчитывая уже после поступления на радостях оторваться по-взрослому. Одним словом, на это время я мечтал воздвигнуть между собой и любыми физическими соблазнами непреодолимый барьер. Но запретить себе думать об *этом*, тем более с таким звуковым сопровождением, как от этих соседей, я при всем своем желании не мог. Еще через несколько дней родителей, занимающихся своим извращенным *этим,* стал порой перебивать детский голос — это было уже ВОЩЕ!

Со своего совмещенного с ними балкона через корявую шиферную перегородку я мог видеть их балконное окно с полуотдернутой шторой и край всегда незаправленной тахты. А однажды утром застал на балконе всю семью: тридцатилетнего высокого мужчину, его полненькую симпатичную развратную жену и трехгодовалого аморального сынишку. Таким макаром, к слуховым образам добавились еще и визуальные, и я смог себе представить уже не просто каких-то умозрительных людей, а вполне конкретную похотливую троицу. Мне стало уже совсем не до занятий. Богатое мое воображение рисовало глубоко порочных родителей, размахивающих во время дикого соития наручниками и плетками и одетых в черную кожу, намордники, цепи, шипы, а еще мне представлялся рано развращенный ребенок, грубо лишенный детства и преступно вовлеченный этими жуткими монстрами в их сексуальные игры.

Как-то в воскресенье утром, измученный бессонной ночью, — соседи, кажется, не спали вообще, я, услышав в очередной раз стоны этой полненькой сексуальной маньячки, не вытерпел и вышел на балкон, надеясь хоть что-нибудь увидеть через полузадернутую штору. Чисто машинально посмотрел вниз, отреагировав на громко хлопнувшую дверь подъезда, и увидел эту счастливую семью, державшуюся за руки и направлявшуюся куда-то в сторону зоопарка. Я задрал голову: в небольшом слуховом окошке, находящемся прямо надо мной, уютно и прочно угнездился толстый и наглый голубь, который, глядя мне в глаза и влегкую треща крыльями, продолжал делать то, чем он и занимался последние три месяца — сладострастно ворковать и кряхтеть.

Когда меня спрашивают, что помешало мне поступить в институт ДО армии, я отвечаю, что голубь и воображение.

Я знаю и другие случаи, когда воображение людей бог знает до чего доводило. Приятель рассказывал, что в соседнем подъезде на втором этаже проживала подруга его мамаши с мужем, добром и попугаем. Попугая этого они из Вьетнама привезли — хотя и не попугай он был в чистом виде, а дойна — птичка такая серьезная,

вьетнамская. Но все равно крупный и говорливый, как свинья, а уж звали его с самым настоящим попугайским пафосом — Жако. Попугай не чужд был разных обычных жакообразных штук: висел в большой клетке на одной ноге вниз головой, все время прихорашивался и говорил с легким вьетнамским акцентом: «Жако! Хорошая птичка! Почеши головочку!» — и протягивал свою репку всем для почесания. Часов в семь вечера смышленые его глазки начинали закатываться, и он бормотал, затухая: «СПАТЬ, СПАТЬ, СПАТЬ, спать…»

Его клетку накрывали темной тряпкой, и ему, наверное, начинало казаться, что на землю пала самая настоящая сайгонская красавица-ночь. И он спал. Когда приходили гости, клетку, закрытую тряпкой, относили в просторный и темный туалет, где подвыпившего, только что справившего нужду гостя полусонный Жако из-под этой тряпки запросто мог огорошить вопросом: «Вы не подскажете, который час?» Гости пугались, обрывали пуговицы и молнии на своих ширинках, а некоторые особо набравшиеся не моргнув глазом отвечали: «Десять тридцать пять!»

Однажды летом хозяйка вынесла клетку на балкон, а сама принялась за уборку в комнатах. Попугай, с чей-то легкой руки недавно выучивший «Чижика-пыжика», завелся не на шутку и без конца фальшиво и неправильно свистел: «Фи-фю, фи-фю, фи-фю фю. Фю, фю, фю. Фи-фи…» Птица концовку, видимо, не запомнила и жутко мучила слух окружающих фальшивой, а главное — незаконченной мелодией, знакомой всем с детства.

Хозяйка, которой на ухо медведь наступил, причем скорее всего белый (говорят, они тяжелее), копошилась в комнате, когда вдруг услышала возмущенный голос с улицы: «Ну, выйди! Выйди — я хочу тебе в глаза посмотреть! Боишься, сволочь, да?!»

Она выглянула в окно: под балконом, задрав голову, стоял пожилой дядечка с палкой и медалями.

— Выйди, бесстыжая твоя рожа! Проклятый тунеядец! — почти что выл орденоносец. Поощренный попугай засвистал еще фальшивее.

Надо сказать, что время было андроповское — тогда даже в кинотеатрах днем у людей документы проверяли, дескать, почему не на работе. Заслуженный ветеран, совершающий свой обычный моцион, никак не мог себе представить, что имеет дело с какой-то там *дойной*. Его богатое, не тронутое маразмом воображение рисовало ему здоровенного детину в бархатном халате и феске, возлежащего, задрав ноги, на диване посреди рабочего дня и плюющего на завоевания Октября, на ветеранские увещевания и на «От каждого по способности — каждому по его труду!».

В тот же день ветеран накатал письмо «куда надо», где в самых изощренных выражениях живописал паразитическо-захребетный образ жизни неизвестного гражданина. Оттуда «где надо» сразу пришел спец. человек, быстро выяснивший, что сигнал был ложный — все работают, на том дело и закрыли. Одновременно семья вместе с Жаконей переехала на дачу, где и пробыла добрых три недели. Утомленный переживаниями ветеран, не слыша более этого мерзкого «чижика», преисполнился гордости за себя и за наши славные органы, пресекшие в корне подрывную деятельность банды тунеядцев, и переключился на отлов длинноволосых юнцов, в чем сильно преуспел.

По прошествии трех недель он, двигаясь днем по своему всегдавешнему маршруту, с налету напоролся на «Пыжика» в виртуозном исполнении истосковавшегося по родному балкону попугая. И ветерану стало плохо. Он закричал: «А-а-а-а-а!!!» Испуганная хозяйка, уже начавшая подозревать, откуда ветер дует, выскочила на балкон и подняла клетку на уровень перил — так, что ее стало видно с улицы. И тогда ветеран умер. Умер от превышения необходимого воображения. А попугай Жако доучил, наконец, последние несколько нот и мог бы спокойненько преподавать свист где-нибудь в Гнесинском музыкальном училище. По классу «Чижика-пыжика».

Да что там долго говорить! И ребенку понятно, насколько воображение определяет наше сознание и поведение сейчас и в прошлом. Николай Василич Гоголь в свое время написал одно произведение, ныне почти забытое. Там у него какой-то козел с золотой цепью на шее и в «Адидасе» заехал проездом в городок и давай пальцы гнуть и нагло себя вести. А местные товарищи вообразили его себе не то депутатом, не то вообще директором совместного предприятия и — ну ему все показывать и водить его в РОНО и в СОБЕС. «Волгу» черную предоставили и кормили за валюту. Хорошо, вовремя выяснилось, что никакой он не депутат, а настоящая штафирка, а то бы сдуру дочерей своих за него выдали и в Думу от своего округа избрали.

Ну а некоторые человеки для того, чтобы себе что-нибудь хорошее вообразить, в побуждающем инциденте нуждаются. Вон, один англичанин спать любил — просто ужас как. Да мало того, все время спал в разных местах. И однажды в саду во время сна его яблоком крепко шандарахнуло. Так он потом всю науку вверх дном перевернул.

Дмитрий Иванович, опять же Менделеев, жуткий был алиментщик. Все время о своих бабах и их детях думал и бегал от них, а потом тоже, как тот англичанин, уснул на нервной почве, и приснилась ему таблица. Только не алиментов, как все ожидали,

а элементов, как никто не ожидал.

А еще были два деятеля со слишком большим воображением — Леопольд Захер-Мазох (1836–1895) и широко известный в узких кругах маркиз, сами понимаете, де кто. Естественно, Сад.

Мазоху дали однажды в венской пивной по лицу — вроде как понравилось. Он — давай еще. Сильное удовольствие получил. А бил его, наверное, этот самый де Сад, которому либидо внезапно в голову ударило. Ему тоже по кайфу это показалось, потому что у него-то вообще эрекция случилась. Каждый вечер стало это повторяться: налупит Сад Мазоха — нарадуются оба, потом ходят похваляются. Один говорит: «Я — садист!», а другой — «А я, — говорит, — мазохист!» Только никак не могли разобраться, кто есть кто. И вот как-то встретились вместе и вообще запутались. Мазох себя садистом вообразил и маркизу всю морду расколотил, а тот воображал себя, наоборот, мазохистом и тайным онанистом, но удовольствия — никакого, и сознание потерял не от оргазма, а от легкого сотрясения мозга. В результате так оба и остались неудовлетворенными. Они потом еще неоднократно дрались — так, что даже термин появился «садо-мазохизм», но все-таки это было довольно давно, и сколько ученые сексологи и юные следопыты ни бились, пытаясь разобраться, толку было мало. Это мы пока брали случаи, когда излишнее воображение подводило, а ведь многие несчастья случились из-за того, что порой некоторым настоящего воображения, наоборот, не хватало. Майкл Джексон — вот к примеру, сменил пару жен и наконец нашел себе вроде мамашу для своего будущего ребенка. Как он проблему зачатия решил — другой вопрос, но дитятко-то черное родилось. И это от *белых*, прошу обратить внимание, родителей. Так увидев это, Майкл, говорят, жену чуть не убил. А все потому, что не смог последствий собственного осветления правильно вообразить. Или вот — Самсон. Известнейший был герой. Им все библейское еврейство законно гордилось. Он везде ходил и всякие подвиги совершал, но воображения почти начисто был лишен, и это его потом сильно подвело. Ну, завел он себе зазнобу — Далилу, это-то понятно, и даже в какой-то степени простительно, однако если ты уж ТАК спать любишь, то хотя бы воображение-то включай! А наш Самсон все мог себе вообразить про Далилу: и то, что поведение ее вполне могло оказаться не очень тяжелым, и то, что если копнуть ее поглубже, так она на поверку могла обнаружиться не еврейкой, а вовсе даже обыкновенной филистимлянкой. Но вот вообразить, что у нее семь лет парикмахерского стажа за плечами, ему оказалось СЛАБО и не под силу. При такой благоприятной ситуации только самая законченная дура смогла бы удержаться от искушения и не

схватиться за ножницы, чтобы оформить парнишке какой-никакой полубокс. Как выяснилось, Далила такой дурой не была. Видите?! До чего может довести отсутствие должного хорошего воображения. История полна примеров: сын Ивана Грозного — Ваня — был вообще большим воображулей, а тоже фишку вовремя не прорюхал — вот папа и воспользовался: треснул по башке костылем. Хорошего-то мало! Джеймс Кук недовообразил себе гастрономических тонкостей и аппетитов коренного населения — и пожалуйста, только ленивый не отпанировал бы этого Кука и не припустил бы его на медленном огне. Кстати, когда вот эта шикарная сковородная история огласку получила, практичные великобританцы в свой язык свежий глагол ввели — «cook» (кук) — «готовить». А Кай Юлий Цезарь был вообще кесарем, перешел Рубикон, потом пришел, увидел, победил и сразу выдумал крылатое выражение: «Богу — богово, а Кесарю — кесарево сечение!» Как мы видим, воображалка у него хорошо работала, но, к сожалению, до определенных пределов. Был у него друган один — Брут. Ну не то чтобы уж совсем закадычный, хотя и за кадык они порой вместях закладывали, но нормальный такой, деловой, — гетер у него было море знакомых, — за это Цезарь его на своей груди и пригрел. И вот Брут этот как-то раз после танцев взял и поставил своего кореша Цезаря на перо. А Цезарь обалдел и говорит: «Ты чего, Брут, в натуре…»

Вот такие интересные дела!

Не звизди!

— Вот Дима мне не даст соврать!

— Да ладно! Ври!

(Из разговора с Димой Дубинским и Васей Сидельником)

Как-то мы с моим сиамским котом Мартимьяном (Мартиком) слегка расслабились от креветок и где-то даже умиротворенные уютно расположились у выключенного телевизора, скромно помалкивая об одном и том же — о вранье.

Я вообще люблю молчать о вранье. Сидишь так себе и помалкиваешь о лжи. Слово-то какое неприятное, а ведь по сути — и писатели все, и поэты, и кинорежиссеры, и актеры, и художники — все, все без исключения в той или иной степени вруны.

Нет, бывают, конечно, случаи… Журналист какой-нибудь, например, пишет: «Вчера «ЦСКА» выиграл у «Химика» — 3:2». Ну как тут соврешь? Никак невозможно! И он от этого очень сильно мучается и потом, когда уже возможно, старается, чтобы как-то компенсировать, врать намного больше.

Актеры вообще вынуждены врать постоянно — уж профессия у них такая, да они и не скрывают. Больше того: чем лучше человек врет, тем упорнее окружающие превозносят его актерский талант. Вон еще даже Станиславский — уж на что ложь ненавидел — все время говорил: «Не верю, не верю!» — а ведь все равно *иногда* верил, знал заранее, что — неправда, а верил. У него даже собачка была специальная. Во время репетиций всегда под столом сидела. И так, дрянь эдакая, была натренирована, что пока фальшь в актерском вранье слышала, так под столом и оставалась. Но зато уж когда к концу репетиции добивались старательные артисты натурального чистосердечного вранья, тут она как раз из-под стола вылезала, хвостиком крутила, и глядя на нее, Константин Сергеич Станиславский говорил: «Ладно! Теперь верю!»

А Лев Толстой! Он ведь ужас сколько всего написал, но кроме «Детства», «Отрочества» и «Юности» все остальное — сплошная туфта, в смысле, выдумка. И не зря поэтому он так нравился В.И. Ленину, который за выдающееся вранье любовно называл

Льва глыбой и «матерой человечиной». И сам Ильич в этом смысле всегда с него пример брал, добился известных успехов и даже в спорах с Троцким придумал пословицу «Скажи мне, Иудушка Троцкий, кто я, а я тебе скажу, кто ты!»

А художники?! Вот, Сальватор Дали написал «Горящую жирафу»: стоит, это, в степи жирафа и горит. Ну, с большой натяжкой, конечно, но так бывает. Облить жирафу бензином, поджечь — и пожалуйста. А где бензин взять в степи? А самой жирафе разве это понравится? Но повторяю: в принципе возможно. Хорошо. Но на переднем плане этой картины баба стоит, и из нее, как из письменного стола, ящички выдвинуты — это как? Махровое чистой воды вранье!

Даже художники-портретисты, чтобы побольше дензнаков накосить, всегда своих моделей приукрашивали: то ростом повыше сделают, то морщинки приберут — опять вранье.

Жил, правда, один человек. Илья Ефимович Репин. Только ему удавалось, рисуя, бывалочи, какого-нибудь генерал-губернатора «несколькими гениальными штришками обнажить всю его гнилую самодержавную сущность». И то — это не мои наблюдения, а в учебнике для шестых классов так написано.

Правда, есть еще нездоровый перестроечный реалист Георгий Кторов, но существованием своего исключительного достоверного художественного письма он только подтверждает правило.

А мы все?! Встретим приятеля или подругу, спрашиваем машинально: «Как дела?» — а на самом деле нас ВООБЩЕ это НЕ ИНТЕРЕСУЕТ! Хорошо еще, если он или она вам отвечает: «Ничего…» или еще лучше: «Так себе…», а если вдруг: «Отлично!» — это ж какой кошмар — травма на весь день! Не зря еще Нерон говорил: «Чем хуже товарищу — тем лучше мне!»

А фраза, которую приписывают Архимеду?! Я имею в виду это слово «Эврика!». Нет-нет, давайте разберемся с самого начала!

Значит, как было дело? Этот Архимед все думал и думал о Пифагоре, которым его с детства затюкали: Пифагор — то, Пифагор — се! Пифагоровы штаны на все стороны равны! И т. д. Время от времени Архик с горечью посматривал на свои штаны: к сожалению, они у него не были равны на все стороны, как у Пифагора. Да, честно говоря, у Пифагора этого вообще не могло быть штанов — в его время (равно как и в Архимедово) штанов мужики не очень-то носили. Как бы там ни было, наш герой от зависти потел, потел, сделался грязным и решил принять небольшую ванну, чтобы хоть как-то освежиться. Дура служанка, не имевшая вообще никакого нормального представления о законе водоизмещения, налила ему ванну до самых краев. А Архимед, плюхнувшись туда в расстройстве, сразу вытеснил

какое-то ее (воды, а не служанки) количество на мраморный пол виллы, находившейся в самом центре 123-соткового участка, легко отписанного ему в свое время Сиракузским горисполкомом за выслугу лет.

Разведя на полу неприятную мокротень и думая о пифовых панталонах и о самом их владельце в критическом смысле, Архик с досадой воскликнул: «Э! Ври-ка!» — имея в виду лживость утверждения владельца этих шортов об их равнозначности. Чем совершенно задурил голову будущим исследователям его искрометного водоизместительного таланта.

Я бы и сам, как слепой котенок, тыкался и дальше мордой в официальную версию, но, к счастью, мне на эту историю открыл глаза мой большой ум. Так что древние тоже не только сами врали, но и других нещадно обличали. В общем, обман на обмане едет и обманом погоняет.

А вот мне кот подсказывает, что есть еще такие писатели, которые пишут так называемую фантастику. Писатель берет и принародно объявляет себя фантастом, чем как бы всех его окружающих предупреждает: «Все в моих книгах — откровенное и наглое вранье!» И ничего — читают за милую душу. И верят. Зато вот если выйти в любое время на улицу и обратиться к прохожим с таким, например, правдивым заявлением: «Я родился 24 июля 1957 года!» — наверняка кто-нибудь найдется и скажет: «Не звизди!»

Так что лучше — не надо!

Малый Декамерон
из романа «Будни волшебника»

Первое, что я увидел, открыв дверь в кухню, был не очень чистый указательный палец, упертый мне в самую переносицу. Палец принадлежал пухлой руке, высовывающейся из необъятных размеров недетской распашонки бывшего белого цвета. Внутри распашонки с трудом размещался человек-гора. Оставалось только гадать, как парень таких габаритов вообще мог пролезть в дверь современной московской кухни. Скорее всего, он родился непосредственно в этой кухне и потом вырос, что было, конечно, фантастическим предположением, потому что парню на вид было лет двадцать девять с половиной, а самому дому — не более пяти. Значит, умелые строители виртуозно построили кухню и весь дом прямо вокруг паренька.

Он сделал едва уловимое движение, втянул живот, что ли, его палец переместился в направлении стола, и оказалось, что я тоже могу войти. Похоже было, приглашают. На микроскопическом кухонном столе между основополагающими локтями парниши каким-то чудом держались бутылки и аж один стакан.

Что ж, таковы и были мои далеко идущие цели.

* * *

Я и приехал-то из Хабаровска только сегодня часов в восемь вечера, устал как собака и мечтал только до кровати добраться, да нет — звонят.

ОНИ, видите ли, сидят на квартире и пьют, а без меня — ну никак не возможно. И девчонки в трубку орут: «Максим! Хватай быстрей в ларьке *две* и пулей сюда!» То есть практически стремглав.

Вот это мне уже нравится! Я, значит, ни о чем таком плохом не думал, приехал, хотел отдохнуть, обижать друзей не собирался, да и вообще с утра пальцем никого не тронул, а получаюсь просто какой-то подлец. А с другой стороны, приятно, что во мне у всех такая нужда.

Ну что было делать?! Записал адрес какой-то шестиэтажный: «Чертаново, потом направо вниз, затем на юго-восток, вброд через речку и спросить Мишу».

Лифт, конечно, не работает, по лестнице поднимаюсь с

бумажкой в зубах и с сумкой, навстречу мужик с собакой, похожей на свинью. Собака дружелюбная, хвостом машет, лизнула мне руку, за икру тяпнула — я дернулся, естественно.

— Одна звенеть не может, а две звенят не так, — мужик говорит, профессионально прислушавшись к звукам в моей сумке, но ошибается, гад, потому что *две-то*, конечно, есть, но третья — это просто персиковый сок, который я по дороге зацепил.

Тут свинья еще раз меня тяпнула. Мужик говорит: «Макс, фу! Ну что ты жрешь всякую гадость!»

Это немного заело — я уже давно старался дешевую водку не покупать.

А мужик опять: «Макс, сидеть! Стервец ты этакий!»

Сел я на ступени и, уже сидя, ему бутылки показываю, что, мол, гадость не употребляем. Но он, ненормальный, почему-то дальше почти бегом побежал.

Наконец добрался до облупленной двери без звонка. Стою, радуюсь, как меня все ждут, а я — вот он — он. Пригладил волосы, рубашку поправил, постучался. Ни ответа, ни привета. Дверь вроде приоткрыта, но что-то боязно — вдруг перепутал. Приварит мне сейчас в курятник какой-нибудь честный чертановский человек, но прислушался — кажется, музычка знакомая за дверью тихонько орет, рискнул и вошел.

Квартирка-то однокомнатная и судя по обстановке — «мебельному гарнитуру в стиле Людовика Четырнадцатого», газетам там рваным да стеклотаре в ассортименте — явно съемная.

Яркая лампочка горит, но ощущения и запах все равно как в темной подворотне. Пара моих знакомых валяются прямо на полу — пузыри пускают, а их помойные «дульцинеи» на бывшем диване в объятиях беспринципного чертановского Морфея довольно-таки нагло пребывают.

Пытался будить их по-разному — куда там, бесполезно. Потом вспомнил, как у нас в армии старшина Турумбаев эти вопросы решал, да как заору: «А ну-ка всем вставать, товарища солдата! Подъем была?! Кому спим, ибаный морда?!»

Тут уж они вскочили как ошпаренные, а один по поводу моего приезда так от радости зашелся, что левый глаз приоткрыл и говорит: «А я думал, ты не приедешь!»

Конечно же, при таких делах я от злости забился в пароксизме, как старый отбойный молоток, — считать-то хорошо умею: по всему видно, они, гады, даже девушки для меня не припасли, и я, не говоря ни слова, хвать у этого Мишки из кармана каких-то денег на обратное такси и сразу на кухню — воды на дорожку глотнуть, а там как раз ОН со своим

указательным пальцем.

Показывает рукой на табурет, садись, мол, а в стакан единственный, демонстрируя известное только знатокам свойство поверхностного натяжения, наливает это самое.

За моей спиной в «апартаментах» стук бильярдный раздался — это мои дружки, головами ударившись, спать опять повалились.

Я в комнату вернулся на секундочку, стакан второй с пола подобрал, потому что гигиену люблю больше, чем Ломоносов учиться, — а то бог его знает, может, у него непорядок какой? Иначе с чего бы это он такой толстый, да еще лыбится, как упитыш с детской питательной смеси.

Этот здоровый пузырь обладал довольно ограниченной мимикой, зато как у всех глухонемых, каждый его жест был наполнен глубочайшим смыслом.

Я сначала-то разогнался вспомнить наш детский примитивный глухо-немецкий язык, при помощи которого радивые ученики подсказывают нерадивым, растопырившимся у доски. Но этого не понадобилось. Парнище невероятно красноречиво показывал толстым пальцем на мой пустой стакан, я пододвигал его, он наливал мне и себе, потом чокался, и я каким-то непостижимым образом понимал, что сейчас должен выпить.

Поражение речевого аппарата неожиданно слетело с него в полтретьего, как немота с советского кинематографа в 1931 году.

Похоже было, что все это время он как бы заправлялся горючим, и когда бак заполнился под завязку, мотор заработал на полную катушку, и его наконец прорвало.

Я-то особенно всему этому не удивился, потому что сам уже не мог издать ни звука. А если уподобить нас с ним сообщающимся сосудам (а так оно и было), то когда у меня пусто, у него должно было быть густо.

Итак, этот новый Цицерон неожиданно в полтретьего заявляет:

— Повадился как-то ко мне один мудель без предупреждения заезжать. Сижу дома, пью чай. Ты, кстати, давай не кобенься — я иногда и чай пью. Так вот, вдруг раз — звонок в дверь, да еще и глазок с той стороны пальцем зажимает. А время какое сейчас? Жуткое время, а у меня видеоплеер, и вообще я за доллар отца родного с ног сшибаю. Оружия-то у меня никакого нету, только баллон газовый, вот я его и предупредил в таком разе последний раз: буду стрелять без предупреждения, в смысле, газом фукать. Баллон-то на веревочке у двери висит, чтобы нехорошмана какого в случае чего обдуть, он-то все это знает, но неужели трудно

сначала по телефону позвонить. Ничего на него, дурака, не действует.

Это и еще кое-что оратор выбормотал на одном прерывистом дыхании, довольно монотонно и с очень своеобразной лексикой и фразеологией, включающей частые упоминания о сложных матримониальных отношениях с родной матерью не ко времени приходящего друга, а также развернутые описания различных детородных органов.

Затем он налил себе очередную порцию, снова продемонстрировав поверхностное натяжение, встал и начал прогуливаться вокруг себя, то есть вращаться по вертикальной оси, насколько позволял его собственный почти полуметровый радиус.

— Вон у нас в четырнадцатую квартиру зашли двое, дали одному по балде и все забрали, а в двадцать восьмую зашли трое, дали двоим по балде и все забрали, а…

— В пятьдесят шестую зашли четверо, дали троим по балде и все забрали, — это я уже медленно говорю, довольно быстро подсчитав закономерность.

— Ой, я тебе уже все это рассказывал, — огорчился гора, — терпеть ненавижу все по два раза повторять.

Я испугался, что он сейчас опять на три часа заткнется, и горячо заверил, что просто по чистой случайности ляпнул, он смягчился и продолжил:

— Выхожу как-то на балкон и вижу: приятель этот на своей таратайке к моему подъезду подруливает. Встал я у двери на страже, на лестнице лифт хлопнул, бим-бом — это звоночек мой сработал, а глазок сразу залепился. Я дверь распахиваю и сразу ему в улыбающее рыло как дал струю. Он глаза закрыл руками и с криком повалился, наверно, сознание потерял, морда…

И мой новый знакомый победно рассмеялся.

Я стал потихоньку вместе с табуреткой отодвигаться назад. Думаю: «Если уж он другана своего нервно-паралитическим обработал, то меня бутылкой по той самой балде жахнет — не почешется».

— Ты что, ты куда?! Я ж его простым дезодорантом. Не газом, а дезодорантом, ну этим, который не заменяет ежедневного мытья. Разве я могу живого человека да газом?! Топором или ножом там — легко, а газом — это уже блатовство.

Господи! Так это совершенно меняет дело, и мы выпили за его человеколюбие.

Он еще много мне рассказывал всякие макли-шмакли, я это все хавал за милую душу, и пили мы при этом немерено.

Рассказывал какие-то истории о пьянках, дорогие сердцу

любого мужчины; истории о женщинах, милиции, о животных, причем я при этом молчал как пень, губкой впитывая в себя потрясающий фольклор, и совершенно позабыл о своей несостоявшейся «кошачьей свадьбе».

В полшестого, выпив «на посошок, на сапожок, на запашок и за здоровье Госавтоинспекции», откатив ногой под кухонный шкаф последнюю пустую бутылку, я собрался отваливать. Пожав на прощание котлету, которую он выдавал за свою правую руку, сильным ударом ноги распахнул я и без того открытую дверь и только собрался сломя голову кинуться в сторону дома, как был остановлен словами:

— Как же зовут тебя? Ты ж не человек — а отвал башки. С тобой хоть поговорить можно, не то что с этими козлами. Меня, — говорит, — зовут Юрка Сараван-Карай, в смысле, Караван-Сарай, ну а тебя-то как? Дай мне свой телефон, а то я тебе репу оторву!

Репу-то мне, конечно, очень жалко.

— Максим, — говорю, — телефон 152 и.т.д.

— Максим, я те точно позвоню на днях, ты дуру-то не гони!

Дуру я в ближайшее время гнать не собирался. На том и расстались пока.

Через недели две раздается телефонный звонок:

— Привет, это я, Юрка Сараван-Карай! Помнишь, ты меня еще с кухни полночи не выпускал?

Что-то начало шевелиться у меня в памяти — что-то с водкой связанное.

— Ну, я это, еще тебе репу обещал оторвать, — веселился он.

— Ой, здравствуй, Юрий, — говорю, — ты ж утверждал, что тебя Караван-Сараем зовут.

— Так это я уже выпил, вот и путаю, да хрен с ним, тут вот какое дело: пригласили меня, значит, сегодня на день рождения к одному мальчику из Большого театра. Тридцать два годика исполняется. На дачу, кстати, в Красную Пахру. Дак что, поедем?

Я прямо обалдел и говорю ему, что не могу так сразу-то, без разбега. Во-первых, меня не приглашали, во-вторых, я там никого не знаю, а в-третьих, мне надеть нечего и вообще, «как вам нравится во-первых?»

— Ты мне дуру-то не гони, он сказал, чтоб я с бабой приходил, а мне что с бабой, что с тобой — все равно. С тобой даже лучше. Форма одежды: джинсики-кедики, только ботву причеши, а то я тебе репу оторву.

Ну что ж, причесал я ботву и поехал я в Пахру.

В Пахре дача — всем дачам дача. Участок огромный — на глазок сотки пятьдесят три с половиной. На зеленой лужайке в

длинной беседке стол белоснежной скатертью накрыт, а на столе сервиз с золотом аж на тридцать шесть персон. Сервиз, насколько я понимаю в старинном английском фарфоре, — «Веджвуд». Кроме того, бокалы и фужеры там всякие хрустальные, ножи, вилки, ложки-ложечки, а уж щипчики-пинцетики серебряные я и не считаю.

Стулья около стола стоят такой красоты, как у Ильфа и Петрова, только три их комплекта, а кругом цветы, цветы…

По лужайке под нежным бабьелетовским солнышком под руку прогуливались джентльмены и леди — все в соответствующих одеждах — и вели приятную светскую беседу. А люди-то какие! В первом приближении сразу проглядывались несколько хорошо известных по телевизору акул и щучек из таинственного опасного, но притягательного мира шоу-бизнеса. Пара продюсеров нетрадиционной ориентации, по слухам, проведших в местах отдаленных не одну пятилетку. Три-четыре эстрадные звездочки средней величины со звучными именами и хорошо развитыми молочными железами; дизайнеры в ассортименте, околобалетные модели и визажисты, которых я до этого держал за пейзажистов.

Я посмотрел на Сарая да на себя — боже мой: выглядим мы с ним в джинсиках и кедиках, как двое настоящих вахлаков, вернее, как трое вахлаков (он-то запросто на двух тянет).

Я хотел было закричать, что у меня дома костюм есть, но смотрю — никто особо над нами не смеется, а с Кар-Саром даже некоторые на иностранных языках здороваются. Он им с достоинством по-русски отвечает.

Мимо пара проходит — девушка, как принцесса, в зеленом вечернем платье с молодым человеком в смокинге.

— Вы помните? — это принцесса щебечет — Спускаешься с «place de Greve» по «rue Minion», и вот направо внизу есть местечко одно симпатичное, почти что лучшее в Париже…

Джентльмен сообщает:

— Нет, извините, я в это время в Милане был, в «La Skala» пел.

Я думаю: «Да, вот это попали!» Отошел к скамеечке — ноги меня уже плоховато держали. А рядом опять разговор:

— Вам нравится ранний Тинторетто?

— Еще бы! Это ж сплошной восторг, но я все-таки предпочитаю малых голландцев или в крайнем случае братьев Ге. А каков Мурильо! Богатая палитра, крупный мазок! Перфектно!

Вот так тусовка! Я тоже не какой-нибудь там им (или им там)! Из себя ничего и «Фабрику звезд» смотрю регулярно. Но тут! Модели и балеруны, художницы и артисты — все сюсюкают и

выпендриваются ужасно. Моя бабушка, царствие ей небесное, привезла в свое время из своей Ростовской области Борисоглебского района деревни Титово шикарный термин, характеризующий людей такого типа: *«с ваткой в жопке»*. Короче, почти у всего деньрожденческого контингента (даже у дам) эта самая ватка, выражаясь, конечно, фигурально, просматривалась довольно уверенно.

Вскоре на белоснежную террасу главного здания вышла высокая худощавая женщина в потрясающем черном кружевном платье. В ее руке блеснул колокольчик, наверняка серебряный, и над беседкой и лужайкой, над дамами и их кавалерами, над славным писательским поселком Красная Пахра, да и вообще над всей европейской частью России поплыл старинный, давно забытый и от этого еще более волнующий мелодический звон. Похоже, всех звали к столу.

Я хотел было пристроиться где-нибудь с краю на табуреточке, чтобы в случае необходимости свалить, но мама балеруна Артура, сегодняшнего деньрожденца, рассудила по-другому.

Руководствуясь великосветскими добрыми правилами ведения стола, вычитанными из расширенного и дополненного издания Елены Молоховец, мадам в черном платье расположила поверх каждого прибора специальную карточку с золотым обрезом, на которой готическим шрифтом с вензелями было начертано имя и титул гостя. Не один вечер, вероятно, прокорпела мамаша над планом рассадки, учитывая пол, возраст и род занятий каждого, чтобы рассадить гостей «по интересам» и дать им возможность вести за столом приличные и светские разговоры.

Так вот, на умопомрачительной визитке Сарая было выведено: *«Господин Юрий Фролов. Друг»*.

Я долго искал свое место, пока наконец не наткнулся на карточку *«Дама господина Фролова»*, то есть — баба Сарая.

Усевшись почти напротив него или, как сказали бы в этой умной компании, — *визави,* я увидел справа от себя девушку — любительницу братьев-голландцев, а слева завсегдатая миланских подмостков.

Тем временем две молодые приятные женщины в крахмальных передничках, по-видимому, крепостные, откупорили несколько бутылочек шампанского «Вдова Клико» и стали раскладывать на тарелки по маленькому тонюсенькому кусочку копченой рыбки.

Важно было, чтобы рыба была такой толщины, дабы сквозь нее удобно прочитывалась марка фарфора. Тут-то и оказалось, что я дал ужасающего маху: фарфор назывался не «Веджвуд», а —

«Кинг Веджвуд». Как я мог так обмишуриться, до сих пор не понимаю.

Пока я скромно переживал свое потрясающе фиаско, раздумывая, не превратить ли к чертовой матери все шампанское в идеальную воду № 1[4], поднялась артуровская мама, позвенела ножичком о фужер и произнесла короткий, но убойный в протокольном плане спич. В смысле, что вот с такими замечательными кадрами, кои собрались за этим скромным (!) столом, она совершенно и абсолютно уверена в самом скором восторжествовании в искусстве красоты, любви, справедливости, добра и зла. Также мама коснулась все возрастающего мастерства своего сына на балетной ниве и пожелала ему и другим мастерам нижних конечностей больших успехов и процветания. Раздался звон бокалов и — о ужас! — стук ножей по фарфору.

Даже я, потомственный интеллигент в первом поколении, по рассказам во дворе знал, что *рыбу ножом не едят*. В большом ходу у нас была также история о том, как один гардемарин упал в открытом море за борт и на него набросилась акула. Молодой человек оказался не робкого десятка или там двадцатка, в общем, он вытащил кортик и хотел от нее отбиться самым ужасным образом, как вдруг акула говорит человеческим голосом: «Что вы, гардемарин, на рыбу и с ножом?!» И тот покорно дал себя сожрать.

Еще Вовка-кривоножка из второго подъезда спорил до посинения, что акула не рыба, а «молокопитающееся», и будь он на месте этого дурака, уж он бы «дал дрозда».

Одним словом, у меня появилась великолепная возможность показать бомонду что почем. Только я собрался демонстративно и великосветски подъесть эту рыбу прямо ртом с тарелки, как обратил внимание, что едят-то они все при помощи *специальных* изогнутых ножичков, так что вся моя несостоявшаяся эскапада так бы, верно, и пошла псу под атавистический отросток.

Я быстро отыскал среди своего набора кривой ножик и присоединился к всеобщему молчаливому поеданию.

Слышались звуки *ммм* и редкие цоканья языком, призванные показать, как вкусно и полезно бывает иногда сожрать двадцать граммов копченой рыбы.

Затянувшееся молчание нарушил «граф» Фролов. Собрав в кулак всею свою вежливость и светскость, набранную им по вокзалам и пивным, состроив улыбку, от которой хотелось бежать сломя голову, он, обращаясь к моей соседке справа, опубликовал следующего рода эдикт:

— Милая девушка! Не будете ли вы так любезны и добры, если вас, конечно, не затруднит, передать, пожалуйста, а я вам

буду очень признателен, этот чудный яблочный майонез, а то, ща бля как ебану в рыло, еб твою мать, блядь, пизда-рыбий глаз!!!

Это был ШОК. Аристократы сидели, окаменев и раскрыв рты. Судя по бессмысленному выражению на лицах и пустоте в глазах, особенно их поразило иезуитское сравнение упомянутого в грубой площадной форме женского детородного органа с, в общем-то, индифферентным и, казалось бы, не относящимся к делу рыбьим глазом.

Я приготовился к обороне: ведь если сейчас Сарая начнут метелить, то и его «бабе» достанется. Но нет — все глаза опустили.

Из сложившегося положения было два выхода: или мадам Артур встать и, протянув костлявый палец в направлении автобусной остановки, объявить опального пажа Кар-Сара вместе с его псевдодамой персонами non grata, или сделать хорошее лицо при очень плохой игре, то есть сделать вид, будто ничего не произошло.

Выбран был второй вариант. Между тем девушка, не поднимая глаз на своего грозного визави, дрожащей рукой передала ему майонез. А он еще раз улыбнулся и сердечно сказал:

— Огромное вам, милочка, спасибо!

Оттянув мизинец на правой руке, как какой-нибудь «прынц де Шатильон», Сарай подцепил специальной лопаточкой капельку приправы, виртуозно капнул ею на недоеденный еще микроскопический кусочек рыбы и отправил все это в пасть.

Напряжение было снято. Через пятнадцать минут вся шайка так ругалась матом, что поэт Барков наверняка перевернулся бы в гробу и сгорел со стыда. А писатель Сорокин бы бегал за всеми с диктофоном.

Рассказывались соленые анекдоты про Василия Ивановича, где самым приличным было слово «яйца»; поклонница раннего и позднего Тинторетто все время порывалась танцевать на столе голой, а терпевшая до поры до времени мадам вдруг расстегнула глухой воротничок своего откутюрного платья и, грассируя, приятным мужским баритоном с легким цыганским акцентом пропела «Мэня милый полюбил и завел в прэдбанник, там на лавке разложил и набил эбальник…». После чего, хрустнув ключицей, она поставила себе фужер на оттопыренный локоть и лихо выпила.

Единственным, кто вел себя более-менее пристойно (кроме меня, конечно), был господин Юрий Фолов, друг. Он уединился с каким-то непьющим очкариком и увлеченно точил с ним некоторые лясы на тему о явных преимуществах автомобилей

«Ламборгини» перед всякими там «Феррари» и «Мазератти», причем ел при этом толстый бутерброд, явно захваченный из дому.

Нежная княжна в блестящем комбинезоне с лопнувшей молнией попросила меня пройти с ней в дом на предмет починки этого замечательного достижения галантерейной инженерной мысли. Без сомнения, вечеринка покатила по неформальным рельсам.

На следующий день, часа в три небольшая компания из остававшихся ночевать представителей высшего света (+ мы с Сараем) уютно устроилась в беседке и оттягивалась кто шампанским, кто пивом, а кто и водкой (Сарай). Ночь прошла шикарно (были и кекс, и секс, и унисекс). Настроение господствовало лирическое. С потенциальным продолжением.

Артур-деньрожденец ночевал, оказывается, на черезсоседней (рядом-то, выяснилось, Людмила Зыкина живет) даче у Наташи Клейнот — бывшей костюмерши Аллы Борисовны, а ныне хозяйки модного бутика. Но спал Артур не с ней, а с самой настоящей певицей-звездой Светой. Ее вчера не было на дне рождения (концерт в ночном клубе). Потом она подтянулась к трем и подарила Артику себя. На даче у Натальи. Я этого ничего не видел — молнию у Риммы застегивал. А сейчас Наташа пришла со Светкой и еще одной бесцветной плоской девицей в майке с самонадеянной надписью «Don't touch», дамы переоделись поспортивнее и шампанское поднесли.

Светка автоматически села подле Артура, но поглядывала на него с сомнением: «неужели сегодня у меня был *он*?!»

Потом еще Артуров друг — бывший художник, а ныне кинопродюсер слегка в годах, — подъехал. По кличке Отец Георгий, между прочим. Глаза у него якобы большие, как на иконе. На мой вкус — глаза как глаза (я могу и побольше выпучить), но все бабы — знаменитости из шоу-бизнеса — на него внимание обратили.

Тут выяснилось, что у хозяина вчерашнего и сегодняшнего торжества Артура есть кличка. Самая странная, какую я только слышал в своей жизни, — Степан.

Конечно, это была не кличка, а настоящее имя по паспорту. Но знаете, как трудно переопределиться, если почти полтора суток зовешь такого Артура Артуром, домысливаешь ему всякие симпатичные недостатки и достоинства, вводишь мысленно в соответствующее ему артуровское общество, а потом выясняется, что и сам он — Степа, и мать его — Степина, и вещи степины, и фарфор и т. д. и т. п. Говорили, что у Степы и папа даже есть, который ездил в прошлом году за чем-то в Корею.

— Степ, а правда, что у вас в Большом педрилы одни? — поинтересовался Сарай для завязки разговора. Похоже было — после вчерашней эскапады в этом доме ему уже позволено все.

— Артур, ты прости, что я вчера у тебя отсутствовал, — поспешно попытался сгладить неловкость еще не знакомый с Сараем Гоша, — на свадьбе гулял у милиционера!

— А я тоже жениться собирался, — неожиданно объявил Артур-Степа, с которого балерунство и бомондизм в последние 10–15 минут как-то начали слетать. — Веселая она такая была, Оля, непьющая из-за гастрита…

И он поведал грустную историю, которая легко могла бы сделать честь какому-нибудь Тургеневу, если бы тот в свое время не был так занят написанием страшных рассказок про несчастную Му-Му. К сожалению, мне не удастся точно воспроизвести романтический рассказ Степы, потому что тогда, слушая, я никак сначала не мог предположить в его повествовании высоких литературных достоинств, а когда опомнился, было уже поздно. Придется уж вам довольствоваться моим неуклюжим изложением. Форма не та, зато факты отражены верно.

Короче, однажды эта знакомая Артура Ольга пригласила его на свадьбу своей двоюродной сестры. У них все родители были военные, вот и сестру замуж за военного приготовили. Ну что? Купили они дежурный комплект постельного белья с намеком и пошли. Свадьбу-то эти солдафоны в банкетном зале наладили. Все Ольгины родственники собрались. Тут до Артура дошло, что они заодно и на него посмотреть собираются. Очень он подобных смотрин не любит, да делать нечего. На этой свадьбе еще одна встреча должна была состояться. После полуторамесячной разлуки. Встреча другой Ольгиной сестры с ее мужем, тоже военным. Они приехали из длительных командировок на два дня специально на свадьбу. Он — из Арзамаса-16, она — из Челябинска-30. В общем, свадьба пела и плясала: «С маленьким не затягивайте! Главное: друг другу уступать! А чевой-то молодежь не танцует?!»

Степа вышел из подвального зала наверх на улицу покурить и проветриться — уж больно водка у них сильная была — тоже, наверно, военная. Поздний вечер. Рядом еще какой-то огонек светится. Оказалось, Стелла из Челябинска-30. Слово за слово, пошли они с ней прогуляться вокруг здания, потом спрыгнули в какое-то углубление с черным окном и начали целоваться, а потом и это самое. Она говорит: «Смотри, это окно в кладовку, а в кладовке дверь приоткрыта — прямо в банкетный зал выходит. Видишь, *мой* уже головой крутит. Расходимся по одному». Она — тоже военная.

Оправились и врозь вернулись в зал. Она на него время от времени посматривает — тайна у них. Потом минут через пятнадцать в танце как бы невзначай приоткрыла ту дверь в кладовую чуть пошире, а ему глазами на выход показывает. Ну и еще раз они туда сходили. Разум у нашего героя совсем уже помутился. Вскоре свадьба стала разъезжаться. Их (Степу-Артура и Ольгу) жених с невестой к родителям жениха забрали догуливать в двухкомнатную квартиру. Артур, значит, как в прихожую вошел, сразу на вешалке ему зеленое пальто Стеллино в глаза кинулось. Он тут же бегом в ванную — проверять, как она изнутри закрывается. Уж неизвестно, чего он там себе вообразил. Жених с невестой ушли в маленькую комнату пятьсот тридцать первую брачную ночь праздновать, полковник-папа с мамашей улеглись на единственной диван-кровать, а для старшего лейтенанта Лени, его жены Стеллы, Оленьки и Артура в хлам пьяный Леня надул водочным перегаром четыре надувных матраца. Степа боялся, что они взлетят к потолку, и придавил их тяжелыми книгами. Матрацы уперлись «головами» в диван-кровать, свет был потушен, и началась оргия. Артур со Стеллой меняли позиции, орали. Бегали в ванную, снова меняли позы…

— Ну, это, наверное, *давно* было, — неделикатно перебила его Светка, намекая на их ночное и слишком по ее мнению скоротечное свидание. На нее все зашикали, и Артур продолжал в том смысле, что конец ночи потонул у него прямо в каком-то кошмарном тумане. Помнит только, что их все пытались остановить.

Мама — словами: «Нехорошо до свадьбы-то!»

Папа — словами: «Подождали б, черти, до дому!»

Леня — словами: «Вы бы потише!»

Молодые из другой комнаты — словами: «Во дают ребята!»

В общем, утром он просыпается от жуткого хотения в туалет. Еще не открывая глаз, понимает, что сотворил нечто ужасающее и непоправимое. И постепенно обрывки вчерашней ночи всплыли в памяти. Это был УЖАС. Артур приоткрыл правый глаз и увидел, что находится в комнате один, заботливо прикрытый вторым одеялом, а его вчера в таком беспорядке разбросанная одежда аккуратной стопкой сложена на стуле чьей-то твердой рукой. Дверь в коридор плотно закрыта. За ней угрожающая тишина. Он быстро представил себе трех громадных солдафонов, выпирающих из голубых маек, как Калининский проспект из Старого Арбата, молчаливо и тупо дожидающихся у кухонного стола, пока их жертва проснется. Терпеть больше не было мóчи. Артур решил проскочить в туалет, а заодно и глянуть — нельзя ли незаметно отвалить.

Уже из туалета услышал с кухни тихую музыку, стук ножей, звон бутылок — обычные звуки накрываемого стола. Вышел — будь что будет.

Вся команда его приветствовала по-своему: мужики по спине треснули одобрительно и подмигнули, мама погрозила пальчиком, а дамы опустили глаза.

Ничего не понимая и еще не веря, что останется жив, наш ловелас врезал две рюмки водки с селедочным маслом и поехал с Оленькой на такси домой.

Теперь-то понятно, что случилось? Военная мама решила, что это будущий родственник Артур *любит* ее племянницу Ольгу. Папа подумал, что это его изголодавшийся сын Леня *так любит* свою жену Стеллу. Пьяный Леня сделал вывод, что очумевший папа вдруг *полюбил* маму. Молодые с завистью слушали, как «Леня» любит Стеллу, а Артур — «Ольгу». Пьяный же Артур решил, что он сошел с ума. Наверное, в тот момент так оно и было.

— Единственный трезвый, кто был в полном курсе, — это Оля, — резюмировал понурившийся донжуан, — нам пришлось расстаться.

— А что же она, сука, тебя не удержала?! Видела-слышала, а не удержала. Выпил мужик — что ж тут такого?! Это с ее стороны подлость. За это бросать надо! — горячился принявший историю близко к сердцу Сарай.

— Я ее и бросил, — тихо сказал Артур. — Оленьку бросил, то есть она — меня.

Вот так Артур! Прямо Шекспир какой-то, а не Артур!

Он, правда, разъяснил потом, что пригласил эту Олю к себе для последнего и серьезного разговора, в котором собирался каяться и прощения просить, но она не пришла. Он стол накрыл, цветов купил, а она не пришла. Он ждал, сидел — глаза все проглядел, а она не пришла.

— Индо очи глядючи проглядела блядючи, — подморгнув, подсказал беспринципный Сарай.

— Зря ты смеешься. Ее просто, оказывается, тогдашняя лифтерша не пустила — сказала, что меня дома нет. Я ей потом такой скандал закатил, а она на своем стоит: «Намазана да расфуфырена — не пара она тебе, Степан, сам благодарить будешь!» — Ну что было с ней, со сволочью, делать?! А может, и правда — все к лучшему?

— Знаешь, как надо проверять, любишь ты бабу или нет? — Сарай закатил глаза, изображая лицом в силу своего разумения страстное чувство. — Ты представь: она со своим макияжем и всякими бретельками сидит в туалете и, глядя в одну точку,

гадит. А на лбу жила синяя от напряжения вздулась. Если тебя не вырвет — любишь!

Женская половина, немного фальшивя и чуть кокетничая, сказала «Фи!» — и компания с удовольствием выпила за любовь. Гоша сидел на ручке Наташкиного кресла и что-то тихонько ей плел. Понятно было, что он ее путает или она его — кто их разберет.

Светка-звезда долго рассматривала пустой фужер на просвет, потом прикурила сигаретку и сказала в пространство:

— Людвиг — его звали. Я, значит, когда в Москву приехала, мне только-только шестнадцать стукнуло, но уже не совсем дурой была. Сначала-то прямо с поезда пошла пожрать в кафешку у трех вокзалов. Ну, взяла набор номер два: суп, сосиски там, салат-компот… На стол поставила, сумку с пакетом на стул повесила и пошла поднос отнести. Возвращаюсь, смотрю: сидит негр огромный — нет-нет, это еще не Людвиг был, — и мой суп ест, а я про негров раньше только и знала, что сильно угнетенные они. Ну, сажусь я, второе пододвинула, ем потихоньку. Он покосился так, но жрать продолжает, потом салату половину мне отсыпал — видно, совесть все-таки есть, я за это полкомпота ему оставила. Он выпил и ушел, а я смотрю… на соседнем столе мой пакет лежит, сумка висит и обед остывает… Стрескала — чего ж добру пропадать — и поехала в центр.

Иду по улице Горького складненькая такая, в джинсиках, в темных очечках, с красивым пакетом — все при мне. А он на своем «Опеле» рядом едет. «Садитесь, девушка, — кричит, — я вам Москву покажу!» Глаз у него как алмаз. Ну, я покочевряжилась для виду два-три дома и села. Он невысокий такой. Полноватый, но вполне симпатичный. Я потом-то все про него узнала. Да… Он, значит, как обычно делал? Шел в ресторан Дома кино или там в ВТО, пока не сгорел, днем шел — обедать. «Я, — говорит, — *днем* «работаю». Выбирал какую-нибудь лялю средних лет из тех, что там около искусства крутятся, подсаживался и путал. Он по этой части просто гений какой-то. Три слова с бабой скажет и уже знает все про нее, и уже так разговор складывает, что ей жутко интересно. То про литературу завернет, то про живопись, а то и про тряпку какую женскую, которую «его сестра из Франции привезла, да ей маловата». Дальше он ее к себе на «Динамо» вез «на рюмочку кофе». Квартирка у него крошечная — комната да кухня. Еще чуланчик был, под комнатку отделанный — еле-еле кровать помещалась. А так, в комнате и тахта, и ковер, и телефон, и видео-шмидео. Усадит Людвиг женщину на тахту, включит тихую музыку, даст пару гламурных заграничных журнальчиков, а сам идет на кухню

кофе ставить или там чай. На самом деле он на кухне раздевался догола, да-да — прямо с этой болтающейся штукой, волосы всклокочивал, очки снимал — он вообще-то сильный очкарик, а когда близорукий человек очки снимет, то глаза сами собой нехорошие делаются. Потом еще краска у него была специальная, красная — будто кровь. В одной руке топор, в другой нож — и все это и сам в «крови», а на губах пена для бритья, и так заскакивает: «А ну раздевайся щас же, мразь такая, тварь поганая, а то убью щас, зареж-ж-у на ху-у-!»

И Светка, вытаращив глаза, протянула перед собой руки — это было страшно.

— Секс-то у него довольно-таки тухлый, — продолжала она, покосившись на бедного Артура, — но по первому разу даже интересно. Меня он привел, пообещав «английскую кофточку на вас». Музыку завел и пошел на кухню копошиться. А я думаю — чего ждать-то? — разделась и легла на тахту в красивой позе, как в «Плейбое». Тут он с ножами-топорами весь в крови и заскакивает. Я говорю: «Сколько тебя можно ждать-то, милый?» У него из рук все попадало, он рот открыл, глазами лупает, а потом как заржет, даже упал и там продолжал хохотать. И я с ним. В первый раз так и трахнулись на нервной почве. Он меня после этого сильно зауважал и пустил в чуланчик жить. А я за это квартирку в такой чистоте держала, что сама удивлялась. С утра встану, бывало, везде подмету, пылесосом тоже пройдусь, потом пыль протру, а особенно его коллекцию самоваров на кухонном подоконнике — это он спецом подоконник заставил, чтобы в окно не выбрасывались, второй этаж все-таки — попытки были. Ну вот. Уберусь, уберусь, а потом только топор с ножами начистить, чтоб как зеркало, да краски для него развести — всего и делов-то. К пяти часам, когда он обычно являлся, я всегда успевала. И сам обстиранный, обглаженный — как картинка. Я и у себя-то в Рузе белоручкой никогда не была, а тут тем более.

Привел однажды фифу белобрысую и здоровущую — я в щелочку подглядела. Сначала все про кино разговаривали. Про разные течения. Потом он, мне кажется, ошибочку тактическую допустил, а может быть и нет. «Вы понимаете, — он говорит, — у Тарантино совсем другая сверхзадача была, а вы, кстати, от минета не кончаете?» — и пошел на кухню «чай ставить». Это ее насторожило как-то. Она следом за ним на кухню. А он еще раздеться толком не успел, да и без топора — никакого эффекта. Пришлось по-простому ее на тахту заваливать. Без интереса, но все-таки с особым цинизмом, как говорится. Ну, ушла она потом, дверью хлопнула, да еще и с угрозами. Людвиг за свои бумажки сел — что-то с наукой связанное. Я прибралась, вдруг звонок в

дверь. Он в глазок глянул: «Свет, *ставь*!» Я уже все знаю: ставлю кастрюлю с водой на большой огонь, а в дверь звонят, барабанят. Людвиг опять к бумажкам ушел. Наконец я кричу: «Готово!» Он дверь открывает, но она на цепочке. За дверью какой-то шибко большой парень бесится — дылдин брат, что ли. И всю эту кастрюлю — прямо на него. Брат по лестнице так посыпался, что не наглядишься. Такой вот крутой Людвиг мужик. Сейчас в тюрьме по третьему разу, но ненадолго. Я его жду и люблю. И пластинку новую посвятила! — закончила Светка с каким-то озлоблением и покосилась опять на Артура.

Мы все только руками развели, а в глазах Артура засверкали искорки оскорбленного самолюбия:

— Что ты все смотришь?! Ну не в форме я вчера был! Выпил лишнего, — день рождения все-таки! И потом — это тебе не рот под фанеру открывать!

— А что такого! Знаешь, как говорят: «Пять минут позора — и обеспеченная старость!»

— А с другой стороны: деньги проешь, а стыд останется! Бездуховность, бля! Хорош препираться, горячие сексуальные головы! Мы еще на вашей свадьбе погуляем, наливай, — это Сарай — Свете.

— Вы знаете, друзья, — мягко сказал Гоша, — в течение многих веков человечество бьется над этой извечной загадкой. Что такое любовь? Зачем она и почему? Никто не может дать однозначного ответа. У каждого человека это индивидуальное, глубоко личное. Я, например, уважаю любую точку зрения, даже такую, я бы сказал, несколько экстремистскую, как у нашего Юрия. Меня только всегда удивляло, как разные человеки распоряжаются свалившимся на них чувством. Давайте-ка выпьем, и я вам расскажу одну историю, которую еще не рассказывал никому.

Когда мне было приблизительно столько лет, сколько вам, обретался у меня один приятель — сейчас, к сожалению, просто знакомый. Он был музыкантом — играл на гитаре в одном из этих бесконечных ансамблей. Виктор много разъезжал по стране и зарабатывал неплохие по тем временам деньги. Купил вскоре однокомнатную квартиру, справил новоселье и неожиданно и даже как-то тайно женился на милой девушке Лене — студентке второго курса Академии имени Плеханова, а тогда просто «Плешки».

Однажды Витя вернулся с недельных гастролей. Он приехал домой днем, положил гитару. Засучил рукава и принялся за уборку. В комнате царил милый женский беспорядок, который любая молодая и неопытная женщина тут же организовывает

вокруг себя, когда на пару дней остается одна.

Виктор прикурил сигарету, и в тот момент, когда он сделал самую первую затяжку, как раз зазвонил телефон. Он неловко закашлялся, схватил трубку и высоким поперхнувшимся тенором сказал: «Але!»

— Здоро́во, Лен! — весело проговорил мужчина на другом конце провода. — Что это у тебя с голосом? Опять вчера с Тимуром перебрала? Когда твой дурак-то приезжает? Сегодня у Кеши тусовка — ребята будут классные.

— Вы ошиблись номером, — пробормотал помертвевший Витя и бросил трубку.

Он просидел около телефона еще минут десять, очень надеясь, что перезвона не будет. Его и не было. Может, действительно — случайный звонок, но уж слишком все сходилось.

Так он мучился до самого прихода жены из института. Встреча была бурной — радостная Ленка сразу затащила его в постель, и на время он забыл о своих подозрениях.

На следующий день в отсутствие любимой супруги Витя провел тщательный обыск квартиры на предмет мужских телефонов или каких-либо других улик. Обыск ничего не дал, но дурацкая формула «доверяй, но проверяй» никак не давала ему покоя. Он стал нервным, стал часто приходить домой неожиданно, стал подслушивать женины телефонные переговоры — в общем, пустился во все тяжкие, как в свое время Отелло, прежде чем предложить Дездемоне окончательный развод по своему плану.

Я тогда ничего этого не знал, и своим звонком он застал меня врасплох. Зная мою любовь к хорошему коньяку, Витя предложил бутылку очень хорошего «Арманьяка», если я пересплю с определенной девушкой. Которую он мне укажет.

Я был слишком увлечен своей работой, чтобы что-нибудь соображать, и, юродствуя, ответил, что сам поставлю два коньяка, если девушка хорошая.

Мы встретились назавтра около «Плешки», и Виктор из окна машины показал на высокую стройную блондинку, которая мне сразу и безоговорочно понравилась. Виктор вышел, а я быстро нагнал девушку, посадил в автомобиль, свозил попить кофе в дорогой бар и договорился часа на три завтрашнего дня. У меня дома. Гм… картины посмотреть. Потом позвонил Виктору и доложился. Какой же я был в то время самовлюбленный болван — ведь стоило только чуть-чуть получше подумать, и я бы, конечно, догадался.

Вечером на минутку заскочил Виктор взять второй ключ,

чтобы завтра лично проверить выполнение нашего договора. Затем он, оказывается, даже смазал машинным маслом замок и петли моей двери, после чего и явился домой.

Они рано легли спать, и Виктор предложил завтра сходить в кино, на что получил полное согласие, но только «после семинара по истории», который состоится в три часа.

В полтретьего я заехал за девушкой в институт, и через каких-то двадцать минут мы уже сидели у меня. Я был в ударе, показывал картины. Мы пили шампанское и вскоре занялись любовью прямо в большом кресле, где она с самого начала сидела. Лена находилась в той позе, которую обычно называют коленно-локтевой, когда еле слышный щелчок замка подсказал мне, что пришел Виктор. Я обернулся и увидел, как он, коротко кивнув, прошел в комнату за моей спиной, сел в другое кресло и закурил. Он был бледен, играл желваками, а в правой руке держал скатанную в трубку тетрадь.

— «Я вот тебе семинарскую тетрадь по истории принес. Ты забыла», — сказал он будничным голосом.

Лена повернула голову и лишилась чувств, а Виктор поставил на тумбочку вынутый из тетради «Арманьяк» и так же неслышно вышел, бросив ключ на диван и тихо прикрыв дверь.

Две недели девушка пролежала в больнице с нервным срывом, потом они с треском развелись, и Виктор завербовался куда-то во Владивосток играть в ресторане для рыбаков. Через полгода я случайно встретил Елену в дешевом кафе в компании каких-то отвратительных личностей. Она подсела за мой столик, заплакала и сказала: «Гоша, это какой-то ужас! Я ничего не понимаю! Ведь я же его *люблю*!»

— А вот интересно, когда тот урод по телефону звонил, — это он *туда* попал или это чистое фуфло? — Сарай как всегда суть уже ухватил и теперь добирался до подробностей.

— Юра, дорогой, я даже не знаю, — Гоша прижал руки к груди, — но разве это важно?

— Еще бы не важно! Ведь из-за этого звонка у них весь сырбор и разгорелся. А Витька твой — тоже хороший дурак. Надо было ее с самого начала с красивым парнем познакомить и проверить. А ты — молодец! Ловко ее развел пожиже!

По-моему, Отец Георгий был сильно разочарован реакцией на свой рассказ. Видно, у него это было что-то вроде крика души — покаяние в случайной подлости, которую он простить себе не мог. Непробиваемую толстокожесть Сарая он расценил как общее мнение, и сейчас на его худых щеках выступил темный румянец — он явно жалел о своей откровенности.

Девушки тоже приуныли — уж кому-кому, а им ситуация из

Гошиной истории была знакома на все сто процентов. Да и не зря, наверное, слово «любовь» — женского рода: женщины в этих делах рубят гораздо лучше мужиков.

Нужно было срочно разрядить обстановку, моментально исправить настроение, ибо как говорит Артур-Степан: «Очень быстро поднятый бутерброд упавшим уже не считается!»

Быстрее всех «бутерброд» поднял сам Гоша. Он освежил все бокалы и фужеры, то есть налил туда какой-то очень редкий испанский джин, помыл и ловко разложил виноград и повторил тост, уже произнесенный им ранее: «За любовь!»

За столом тем временем произошло некоторое повеселение, которое, как мне показалось, внес джин. Наташка, видимо, приученная ко всяким загогулистым напиткам, задала неуместный и хамский вопрос по поводу тоника. Степа с видом оскорбленной компетенции, ни слова не говоря, вытащил из холодильника-тумбы «Боржом», открыл и сунул привередливой бывшей костюмерше.

Натаха вырвала из соломенной циновки-картины «Восход солнца во Вьетнаме», которую папа Степы привез из Кореи, соломинку и, потягивая получившийся джин-боржомик, задумчиво произнесла:

— Эх, любовь-морковь! Я в жизни больше двух недель ни с кем не жила. А вот подруги мои некоторые — те по два-три года с мужьями или так. Даже дети есть. Сейчас-то я им даже вроде как завидую, а тогда… Тогда я еще толком не шила, никого не знала, на «Рижской» квартиру снимала — подруга одна устроила, Анька. Сама-то она в соседнем доме со своим Никитой проживала, вот и устроила меня с собой по соседству. Анька считала себя очень симпатичной: мол, и лицо у нее, и сиськи, и нога хорошая. Тоже мне фотомандель! По этому профилю и старалась себе работку подыскать, даже снялась пару раз на какой-то помойке. А вот Никита ее очень хорош — высокий, глаза серые, в банке работает. Серьезный парень. Повезло ей, сучонке.

А она, как у нас, баб, это иногда бывает, не очень ценила его. Сначала они ко мне в гости зачастили. Рядом же — удобно: на машине не надо пьяными ездить. Потом она начала мужиков таскать. Туеву хучу. Придет с двумя какими-нибудь кретинами, нажремся или там групповушку сотворим, или так по углам, как ты, Максик, говоришь: тупые возвратно-поступательные движения…

(Я хорошо помнил, что рассказал анекдот про возвратно-поступательные движения Римме, а не Наташе. И было это ночью. Значит, женский «телеграф» действует буквально со скоростью света.)

Наталья тем временем продолжала:

— Но Никита ее не совсем дурак был — ну как это так?! Приходит она вечером вся пьяная, колготки порваны, трусы наизнанку. Он тоже не ангел — сколько раз ко мне яйца подкатывал, но я — ни-ни, совесть еще осталась, она же мне подруга.

Одним словом, стал он за ней присматривать, и очень редко уже ей вырваться удавалось. Тогда начала она по телефону со мной душу отводить. Вся Москва тогда уже закончила компьютерами торговать, а мы с ней только «начали». Как шпионы, ей-богу!

Договорилась она со мной для нашей бабской конспирации мужиков *компьютерами* называть при Никите. Она на самом деле все компьютер себе подбирала, хотела овладеть. Ну, например, рассказывает по телефону, как вчера с Никитой на презентацию ходила: «Представляешь, там мужики были — одни козлы, только двое американцев — такие ломовые…» — тут, по всей видимости, Никита у нее приходит, потому что она переключается на наш «компьютерный язык»: «…так вот, только два нормальных “IBM”, с такими, знаешь, *мониторами*, а *обеспечение* — вообще завал!»

Совсем Аньке, видно, невмоготу стало. «Замучил, — говорит, — своей любовью». И задумала она целую ночь у меня провести. Но такое дело подготовки требовало. Аж с понедельника начала мне звонить — обязательно при Никите — и величать Андреем Ильичом — главным специалистом по ночным съемкам клипов. Достала по самые помидоры: мол, она в среду не может, а в четверг у нее самой съемки, а вот в пятницу есть *окно* с четырех до шести. Нет? Жалко. Ой, Андрей Ильич, как это ночью? Я же замужем! А что, днем никак нельзя? Правда? Это самое лучшее время? Ну что ж, попробую мужа уговорить…

И все в таком разрезе. Так вот, Анька со мной еще раньше договорилась, что в пятницу в восемь вечера вместе с двумя «компьютерами» подгребет, но звонила все равно каждый день — «уточняла».

Наконец в пятницу полвосьмого звонит: «Андрей Ильич, у нас ничего не изменилось?» Я отвечаю, что (ох, блин, достала) все в порядке, только чтоб *принтер* (шампанское) не забыла.

Не успела трубку положить — Никита звонит: «Наташ, моя параша сегодня, слава богу, на всю ночь на съемку умотала. Сейчас к тебе с шампанским приду».

Еле от него отбоярилась, до сих пор жалею.

И Наташка положила свою буйную голову Гоше на плечо.

Вот так обычный обед с шампанским совершенно случайно превратился в высокоинтеллектуальный диспут о самом сложном

и непонятном человеческом переживании — о любви. Сколько мнений, сколько собственных точек зрения! Наша беседка напоминала Ноев ковчег: каждой твари по паре. Я, как совершеннолетняя и полноправная тварь, тоже должен был что-то рассказать, и на меня уже посматривали другие наши твари. Из собственного опыта я что-то не мог подобрать ничего достойного — все какая-то туфта, а хотелось закончить вечер на оптимистической ноте, так сказать, подвести положительный итог. И я кое-что вспомнил.

Был у меня один приятель — Слава Лутовинов.

Я с ним вместе на первом курсе как бы учился, потом его выгнали как бы за то, что он два раза подряд к институту на иномарке подъехал — так что он с точки зрения официальных властей был как бы подлец.

До этого мы с ним общались в компаниях или так, и стал он приходить с одной девушкой потрясающей. Он был рыжий такой, высокий, как Чубайс, а она — маленькая, черненькая — Валерией Шведовой звали. Пара просто заглядение! С удовольствием они рассказывали, как познакомились: она шла из своего института мимо зоопарка, а он ехал в троллейбусе, причем по другой стороне — так он выскочил, бежал назад почти целую остановку и все равно не успел — она в автобус влезла. Поймал машину, за автобусом гнался, догнал, и уж после того, как ей обо всем этом поведал, согласилась она назавтра встретиться вечером.

Окончив этот волнующий рассказ, обычно целовались — у меня уже тогда закралось подозрение, что они начали *жить*.

И вот вдруг его выгоняют из института.

Мы потерялись на время. Он, наверное, устроился руководить ларьком или чем другим подобным, а я, как все, горе мыкал — не виделись с ним долго, даже не знаю, сколько.

Неожиданно Славка позвонил мне и пригласил на свадьбу. К семи часам в кафе «Солнышко». Я успел только спросить: «На Лерке женишься-то?»

— На Лерке, на Лерке! — Он засмеялся.

В субботу ровно в семь я как штык был в этом кафе, и не один, а с электрочайником и со стихами, где в двадцати семи шикарных куплетах рассказывалось о том, какие Славка с Леркой клевые и как должны быть счастливы родители, глядя на «наших молодых».

Кстати, о родителях: Славка жил с отцом — начальником какой-то там «гражданской обороны», матери у них не было, не знаю, почему — я не спрашивал. А Леркины дорогие предки были преподавателями в военном институте иностранных языков, а еще у нее был брат — помладше.

На дверях кафешки висела табличка «Спецобслуживание» — я еще подумал, что неслабо парень развернулся. Захожу внутрь. Там оркестр небольшой к исполнению марша Мендельсона готовится, столы в основном к стенам отодвинуты, а в центре стоит главный свадебный стол аж на шесть (!) человек. На столе этом все как положено, но народу еще нет никого. А где же будут «баушки» сидеть со слезами умиления, а где родственники из деревни, а где удалые друзья-приятели со своей дракой, а где завистливые подружки, где залетные да приблудные, без которых и свадьба — не свадьба?! Я подсчитал: родители с Леркиным братом + молодые = как раз шесть человек. А разбитные свидетели? А где же я *сам*, черт возьми, сидеть буду? Пошел, конечно, пока никого нет, стульчик подтащил.

Наконец приехали. Прямо из ЗАГСа. Вчет-ве-ром! Оркестр «Мендельсона» вдарил, Славка Леру в белом платье на руках втащил, а еще одна пара — тоже мне знакомый Сашка с бабой — те сразу к столу сели. Это они, оказывается, свидетели.

Я все время на дверь посматривал, а Славка сказал, что больше никого не будет, но ошибся, потому что через полчаса явился смущенный шестнадцатилетний Лерин брат, присел за стол и с восторгом уставился на счастливую сестру. Стихи мне пришлось спрятать — читать их было некому, так вшестером мы еще часик посидели, потом я не выдержал (а кто бы выдержал?), взял брата за шкирку и отвел в сторонку.

В общем, примерно месяца два назад Лера объявила дома, что собирается выходить замуж за своего парня Славу, с которым она встречается уже полтора года. Родители нормально восприняли — девке уже 19 лет, — и пригласили Славу в воскресенье на обед — познакомиться. Пообедали хорошо — борщ ели, курицу и пили белое столовое вино. Мамаша — у них она в семье главная — расспрашивала Славу о его там разных интересах и перспективах, о родителях и т. д., потом проводили они его, а потом мамаша отозвала папашу на кухню и сказала, что Славка ее родной сын.

История-то тривиальная. Много лет назад мамаша вышла замуж за офицера, и служили они на Дальнем Востоке. Потом Славка родился, а через два с небольшим годика — девочка, а потом не то измена какая у них прокатила, не то еще что — в общем, семейка развелась: Слава остался у отца, а мамаша и четырехмесячная дочка тут же снова вышли замуж за другого офицера этого же гарнизона. У них, у военных, это запросто. Затем папу перевели по его просьбе в другое место, потом еще в другое, пока не оказался он в Москве специалистом по гражданской обороне. И, естественно, бывшие супруги отношений

никаких больше не поддерживали. А мамаша назвала девочку в честь своего нового мужа Валерией и через некоторое время родила сына и перебралась с семьей в Москву, что было ее заветной мечтой. Если бы она знала заранее, что ее первый муж тоже в результате в столице окажется, может, и разводиться не понадобилось бы.

Одним словом, Лера и Слава оказались родными братом и сестрой. Роднее не бывает.

Сначала мамаша Леру просто так отговаривала, типа этот Слава ей не пара и явно склонен к алкоголизму и тому подобное, потом сдалась и все рассказала. Лера эта потрясающая, даже глазом не моргнула. Говорит: «Если он — брат, то я его в два раза больше люблю!» Как с ними ни бились — мать даже к Славкиному отцу ходила — ничего не вышло. Отец вообще сказал, что сам всегда мечтал на своей сестре жениться, — пусть хоть сынок порадуется. Тогда она объявила, что пойдет в ЗАГС и покажет там такие документы, что ребят ни в жисть не распишут. А Лера пообещала в этом случае жизнь самоубийством покончить. В общем, от них вроде отстали. Слава за большие деньги добился приема у самого профессора Буйносова. Им там сделали полное медицинское обследование, и оказалось, что у них гены и там всякие разные хромосомы сильно отличаются — профессор сказал, что разрешает даже беременность, но только под его наблюдением.

— Вот такие дела. — Я стал закругляться. — Я их три года назад на улице встретил уже с двумя детьми. Очень они друг с другом смеялись, а дети — один толще другого.

— Вот это да! — сказала Светка. — Вот бы с братом попробовать.

А Сарай задумчиво пробормотал:

— У меня тоже есть сестра — такая, кстати, скотина, прости господи…

Гоша, которого я своим рассказом довел чуть ли не до слез умиления, тут же предложил тост, и мы все с плохо скрываемым удовольствием выпили за здоровье и долгую жизнь Славы, Леры, их детей и даже композитора Мендельсона, без которого, наверно, сам институт брака никак не смог бы существовать.

Какой удивительный вышел вечер, правда?! Каждый рассказал по своей истории, а тема, тема-то какова?! Любовь! Вот бы всегда так!

И ничего специально не надо придумывать. Помой получше уши — и вперед. Главное — это не забыть ничего, а то ведь читатели разные бывают: есть немного поверхностные — от шутки к шутке читающие, а есть внимательные, опечаточки

выискивающие, анахронизмы там всякие. Я сам такой. Смотришь, бывало, фильм или книгу читаешь, а там: то микрофон в морской сцене в углу экрана высунется, то актер в любовной драме начинает говорить «Дорогая, я вас умоляю…» в клетчатом пиджаке, а заканчивает «…быть моей!» уже в полосатом. А однажды я читал одно толстое научно-фантастическое произведение. Там в 2124 году на космическую станцию землян напали какие-то отвратительные зубастые спруты, которые уже проникли внутрь и гонятся по коридору за очаровательной белокурой ассистенткой профессора Роджерса. Ей, одетой уже в космический скафандр, и надо-то было выскочить из станции наружу. Спруты бы там сразу дали своего космического дуба, потому что сами дышали кислородом — но перед выходом в тамбур какой-то дурак из будущего повесил зеркало, а «какая женщина не остановится на секундочку, чтобы кокетливо поправить прическу» (особенно если за ней гонятся эти позорные спруты). В общем, сожрали бабу. Ловко, правда? Еще в этой же книжке народ торжественно встречает геройскую экспедицию, возвращающуюся аж с Альфы Центавра, и «зажглись прожектора, а кинооператор быстро завертел ручку киноаппарата». Воткнуть бы эту ручку этому писателю в то место, сидя на котором он и написал всю эту гадость, и завертеть быстро-быстро!

А вы внимательно читаете? Помните, к примеру, какой марки был вчера фарфор на столе? Ну не надо, не надо уж сразу лезть в начало рассказа — я вам и так скажу. Ах, помните? «Кинг Веджвуд», говорите?! Точно! Тогда вы еще, конечно, помните, сколько девиц сегодня соседка Наташа привела с собою в гости. И сейчас вы, наверное, строго скажете: «Наташа привела Свету и… А где же еще бесцветная девушка в майке? Что же про нее ничего не слыхать? Что же она — так сидела и молчала?! Так ведь не бывает. Может, ее вообще не было? Может, нас тут хотят всяко разно обдурить и ввести в заблуждение?»

Вопрос закономерный. Конечно же она была. Но как иногда это происходит — как-то с самого начала не пришлась: вела себя развязно, да и морда лица отвратная. Поэт про такую бы сказал, что после нее по красоте идут только предметы. А Сарай про такую бы сказал, что это просто «урна с глазами». Весь вечер она пыталась разевать рот и перебивать всех в самых интересных местах, и только благодаря Сараю, который все время шипел на нее и страшным шепотом говорил: «Да замолчи ты!», у всех у нас и создалась возможность выслушать все эти чудесные и удивительные речи о любви. Одним словом, девушка была плохой девушкой.

Правда, не зря говорят, что, мол, не бывает некрасивых

женщин, а бывает мало водки. К концу вечера Сарай ослабил внимание, и она, воспользовавшись этим, задвинула все-таки ту бешеную потрясающую историю из собственной жизни, которую порывалась рассказать в течение всех посиделок.

Со своим стулом она выдвинулась вперед и дала краткие показания, пытаясь вбить пробный гвоздь в гроб нашего хорошего настроения. В общем, выяснилось, что однажды она сняла мужичка в метро и в общаге с ним потрахалась. И девица нерешительно засмеялась. Таким гениальным по замыслу и изящным по форме выступлением она моментально пробудила задремавшее было от водки сараевское чувство прекрасного.

— Чего лыбишься, Джоконда хуева, собирай манатки — нам спать пора, — сказал Сарай с матерным выражением лица, зевнув так, что через его пасть можно было свободно пересчитать камни в печени. — А ты, Светка, постели-ка нам на веранде, — там софа раскладывается.

И сам хозяин Степа-Артур, и остальные гости почему-то совсем не удивились приказному тону Сарая, безоговорочно признав его авторитет. А Светка, которая под своим сценическим псевдонимом мелькает на телеэкране чуть ли не каждый день и на чей полновесный четвертый номер втайне от жен облизываются у теликов мужички в синих майках, покорно пошла на веранду стелить простыни для греха. Себе и еще семь часов назад незнакомому толстяку с сумоистской внешностью. Такова сила любви.

Я бы еще денька два с удовольствием протусовался в этой отличной компании, но после хабаровской тяжелой поездки прошло уже 16 суток, я практически полностью восстановился и был более чем готов к лечению канадской речки Пелли. Дело не очень сложное: очаг всего в трех-четырех километрах от истока. Материалы, документы и всю проездную ерунду Посредник-Спенс должен привезти завтра. Ладно. Останусь еще на одну ночь — надеюсь, обнаружится какая-нибудь ликвидная фея со сломанной молнией.

Петля для покупателя

Не говори «Гоп!», пока не перепрыгнешь!

(Валерий Брумель)

У нас скромный двор. Автовладельцев мало, да и в основном все жигулеобразные. Так что мой дивный восемнадцатилетний «Мерседес» (юридически чистый, «муха не сидела») до последнего времени смотрелся достаточно убойно. Но только до тех пор, пока рядом не встал новенький «Ровер-75».

Раньше на эту соседскую женщину — Надежду Алексеевну — я обращал внимание только в ясную солнечную погоду. Когда яркие лучики играли на ее перстнях и серьгах с крупными красными камнями. Играли лучики и на ее золотых зубах, количество которых навевало нехорошие мысли о превышении необходимой крутизны.

Надежде Алексеевне немного за шестьдесят, она крепкая, веселая и сама пристала ко мне — где подешевле взять шипованную резину. Я дал ряд ценных советов, за что через два дня был приглашен с женой на чай, оказавшийся греческим коньяком «Метакса». Короче говоря, всю свою сознательную жизнь Надежда Алексеевна «стояла на апельсинах».

По гениальности и простоте ее изобретение можно приравнять к автомату Калашникова, только в отличие от Михал Тимофеича наша соседка построила две дачи на перспективном Рижском направлении, отправила внучку учиться в Англию и вот теперь рассекает на свежем «Ровере» — коробка «автомат».

Берете, значит, среднего размера апельсин с подгнившим бочком. Через этот бочок набиваете плод шариками от подшипника. Подходит покупатель (а в советское время очередь стояла): «Дайте два кило! Да получше, мне в больницу!»

— Пожаллте! — и накладываете вместе с «металлическим», естесссно.

Тут важно, чтобы подгнивший бочок был к вам повернут. Этому нетрудно натренироваться — Копперфильд вон какие дела творит. Далее помогаете клиенту переложить все в авоську. А вот тут надо, чтобы он гниль нашу заметил. Это сделать еще проще. Он — в истерику. Вы извиняетесь, выбираете апельсин-красавец покрупнее «гнилого» и заменяете. Покупатель уходит, бормоча: а) Совсем, сволочи обнаглели! б) Есть же нормальные люди!

Давайте считать! После каждой покупки двух кило (а тогда хватали и больше) вы в плюсе на 400 «железных» грамм. При цене 2 рубля за кило это — восемьдесят копеек. При наличии очереди за рабочий день через вас проходит 160–180 человек. Но совать заряженный оранж каждому нельзя — надо хоть через человечка. Итак, возьмем минимум: человек 80. Далее: 80 копеек × 80 операций = 64 рубчика. Да на 22 рабочих дня = 1 408 р. В год 16 896. А «жигуль» стоил 5 600. А работать Надежда Алексеевна любила. Очень. В общем, понятно.

Я не удержался, конечно, и ей про нашего Витьку-рубщика рассказал. Как он после Бауманского все горе мыкал, а потом в нем талант рубщицкий проснулся. Витька сразу купил топор «Zolingen» в кофре с бархатным кровавым подбоем, как плащ у Пилата, и залег на диван заказов дожидаться. И вот ночью ему звонят: надо туши виртуозно порубить. Витька часа за четыре управится — нарубит им каких-нибудь голяшек, только выглядят они, как челышко-соколок или вообще как *филей*. И снова на диван. Только с пачкой денег. Витьке сейчас 43 года. Он богатый и интеллигентный до ужаса. Ездит на БМВ и носит очки «Картье». А топор всегда наготове. А кличка у него…

— Неужели палач?! — правильно угадала тетя Надя. — Я про мясо-то тоже все знаю. У меня сын на мясе. Нет, сейчас-то у него фирма, а раньше на мясе. Он с косточкой «Спутник» работал. Знаешь косточку «Спутник»? Это не он придумал, а испокон веков! Косточка круглая, гладкая. От коровьего бедра. Никита ее в каждый большой кусок под прилавком закладывал, взвешивал, а когда покупателю заворачивал, то нажимал на мясо хитрым образом. Она на пол и выскакивала. А чтобы грохоту не было, на полу поролончик.

Я говорю:

— Ну, это давно было! Сейчас в магазинах уже ажиотажа по поводу мяса нет. И на рынках такие дела не провернешь.

— Ты так думаешь?

Через день встретил ее на нашем Ленинградском рынке. Надежду там не знала только белая кудлатая собачка, да и то, как сказали, — не местная. С соседкой все здоровались, и в результате я потратил вдвое меньше денег, чем рассчитывал.

— Вон, видишь, Гейдар стоит! — Мы зашли со спины высокого Гейдара.

Под прилавком у него располагался какой-то ящик, термос, еще что-то. К «товарной» чаше весов была привязана еле различимая леска, пропущенная через отверстие под прилавок. Заканчивалась леска петлей, в которой у пола покоилась правая сорок четвертого размера кроссовка. С гейдаровской ногой

внутри. Как осторожный водитель на газ, Гейдар мягко нажимал на петлю, прибавляя к весу товара разумное (или неразумное) количество граммов. Не забывая при этом весело шутить с покупателями.

— А ты говоришь — палач! Заходите вечерком с Оксаной, мне свежей паюсной из Баку прислали.

P.S. Собираясь в наше непростое время на продовольственный шопинг, вы должны быть во всеоружии, готовы ко всему и заряжены на успех. Одним словом, если вы не хотите брать на содержание с десяток-другой веселых рыночных ребят с южным акцентом, нужно всегда иметь в виду, что вас могут обмануть. Если не на деньги, то на качество. А порою на то и на то сразу.

Короче, чтобы «подстелить соломки» именно там, где собираетесь «упасть», ознакомьтесь, пожалуйста, с вековой мудростью опытных покупателей, матерых домашних хозяек, родившихся в магазине и проведших юность и зрелость на рынках. Я худо-бедно собрал воедино все рекомендации и с удовольствием предлагаю вам. В извечном противостоянии «Покупатель-Продавец» я на вашей стороне и в обиду дорогого читателя не дам.

Собираясь за покупками, составьте дома подробный список нужных продуктов. Прикиньте приблизительную общую стоимость. Денег с собой возьмите столько и еще четвертьстолько (на непредвиденные расходы). И не забудьте пустые пакеты.

Азбучная истина: не выходите на рыночное поле натощак. В таком состоянии вы будете готовы скупить все, что попадется на глаза. В разгар покупок окажется, что вы вылетели из сметы, а зеленый горошек, за которым и был организован поход, так и не куплен.

Можно и даже нужно обзавестись калькулятором. Основной обман начинается как раз при пересчете граммов на рубли. В этой связи совсем неплохо убедиться, что стрелка весов при пустых чашах стоит на нуле, а не на каких-нибудь там 50 граммах.

Светлую импортную картошку часто пытаются выдать за молодую. Чтобы не попасться на такую удочку, колупните кожуру. У настоящей молодой картошки кожурка легко отойдет, а любую другую почистить можно будет только при помощи ножа.

Еще находясь дома, отделите крупные купюры от мелких и положите их в разные карманы или разные отделения сумки. Тогда даже при плохом освещении и в спешке вы не перепутаете банкноты да и создадите препятствие для воришек.

Бойтесь подсказывать продавцам ответ. В смысле — не спрашивайте: «Муки нет? Профитролей нет?» Задерганная на генном уровне продавщица может автоматически ответить «Нет!».

Надо осведомиться: «Простите, пожалуйста, у вас есть мука?»

Если вы решили купить баранины, имейте в виду, что на рынке вам могут подсунуть козлятину, которую любят не все. Различить можно по ребрам. Баранье ребро в поперечнике имеет форму вытянутого овала, козье — параллелограмма.

Экономьте деньги и нервы! На рынке не покупайте сразу у входа. Там всегда дороже. Походите, приценитесь, и вам потом не станет больно при виде отличных огурцов по двадцать «рэ», а вы только что хапнули «так себе», да еще и по сорок.

Как показывает практика, у торговцев на пустых весах часто стоят гири. Стрелка при этом *зашкалена*. Взвесив вам товар, продавец сразу же ставит гири снова. Таким образом, вам не увидеть, правильно ли отрегулированы весы, на нуле ли стрелка.

Солености и квашености недостаточно просто попробовать. Надо еще и убедиться, что вам в пакет положат *именно то, что вы одобрили*. Особенно это касается малосольных огурцов. А то дома они часто оказываются практически свежими.

Покупая свежую птицу, можно легко проверить, рождена ли она для жарки или для варки. Пощупайте «киль» — подвздошную вертикальную косточку, расположенную под брюшком. У молодых гусей, уток, куриц «киль» легко прогибается. У старых — нет.

Единственный овощ, в качестве которого по внешнему виду можно сильно ошибиться, — это огурец. Красивый, он легко может оказаться горьким. Вы испортите и салат, и настроение. Надо пробовать! А для стерильности имейте с собой ножичек.

Рыночные торговцы часто пользуются безменами — приборами довольно приблизительными. «Умелый» продавец, специально наклоняя устройство, запросто обвесит вас на 200–300 г. Сами возьмите безмен и, держа его строго вертикально, проверьте вес.

Торгуйтесь! Это традиция, это нормально. На восточных базарах торг может длиться от получаса до суток. Так покупатель издавна выказывает продавцу свое уважение. Ну а уж если никак не сходитесь в цене, вежливо уходите. Уходить можно до трех раз.

P.P.S. Опять не удержался от принципа акростиха. Как под конец книги, так прямо не могу. Долго думал, чем бы поэффектнее закончить, потом махнул рукой — как получилось, так и получилось.

Я, кстати, давал читать рукопись одному своему товарищу, мнением которого очень дорожу. И он страшно раскритиковал вот этот последний набор магазинно-рыночных советов.

— Зачем, — говорит, — ты в хорошую книгу вставил эту

херь? Это пусть Руслана Писанка в «Стране Советов» вещает!

А я не согласен. Даже если всего десяток читателей, пользуясь этими страницами, сэкономит на рынке хотя бы по пять рублей, я могу считать, что не зря взялся за перо (сел за компьютер). Писатель обязан не только развлекать, но и приносить ощутимую материальную пользу.

Морда ящиком, или рукопись, найденная в Сарагосе

Оставь надежду всяк входящий в шоу-бизнес!

(Капитан Овский)

Однажды на гастролях в Краснодаре нас обокрали злобные беспринципные люди. Назавтра был еще один концерт, но деньги за всю (почти двухнедельную!) поездку раздали уже сегодня. Пришлось напрячь всю силу воли и вечерком после концерта в гостинице крепенько выпить. В тот раз мы работали с самым лучшим администратором всех времен и народов. Вот он и пришел сегодня в гримерку, когда уже переодевались в гостиницу ехать, принес как всегда бесформенный газетный кулек с деньгами, бросил его на стол — делите. Разделили, и опять, как всегда с ним, на рыло получилось раза в полтора больше, чем было положено. Короче, я очень любил с ним работать. Да и другие тоже очень любили работать с Герой.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРЫ

За девять лет упорного директорства и махрового администраторства Гера скопил довольно большое количество денег. При помощи двойной бухгалтерии, левых концертов, мертвых душ и других профессиональных ухищрений, лежащих в сфере интересов ОБХСС, по слухам, Гера уже «встал» за два лимона. Но деревянных. Грубо говоря, ему давно пора было валить. Он и подал документы. На воссоединение с мифической семьей. Тогда для того, чтобы воссоединиться с семьей в Израиле, нужно было почему-то сначала поехать в Вену. Это было удобно, так как из Вены народ прямиком пер в Штаты — страну равных возможностей.

Конечно, компетентные органы находились в некотором курсе Гериных финансовых выкрутасов. По их мнению, его давно пора было брать. Такого же мнения придерживался и сам Гера. А потому уже полгода как завел в отделе, занимающемся концертными махинациями, друга-милиционера, который за небольшую мзду сообщал ушлому Гере последние новости на ниве борьбы с хищениями социалистической собственности. И вот

милиционер по телефону обрадовал Геру тревожной вестью. Якобы сверху пришла разнарядка заняться наконец ворюгами-администраторами, а конкретно шестнадцатью оборотистыми людьми, по которым давно уже нары плачут, и т. д. Более того, шпион сообщил, что на столе у дежурных оперов лежит стопка дел, где самым первым и верхним помещено Герино пухлое дело.

Гера, конечно, точно не знал, когда ОВИР сподобится отпустить его в Вену. Люди, бывало, проводили в «подаче» от десяти дней до десяти лет. А потому договорился со своим агентом, что за сто рублей в день тот будет ежедневно перекладывать Герины документы в самый низ стопки. Тем временем по Москве пошли аресты.

Двадцать семь дней (2 700 рублей) папка с делом Геры честно перекладывалась дисциплинированным милиционером, а на двадцать восьмой Гера получил, наконец, долгожданное разрешение. В течение трех суток Страна предлагала своему бывшему сыну отвалить на все четыре стороны и больше ей на глаза не попадаться.

Между тем даже без вмешательства оборотня в погонах органы не особенно торопились с арестом администратора. Компетентные люди резонно считали, что спрятанные деньги найти будет сложно, а других доказательств было не так чтобы густо. В то же время человек с нерусской фамилией, накосивший кучу бабок и, по слухам, собиравшийся за бугор, неминуемо должен был начать скупать валюту в особо крупных размерах. Все серьезные источники у ментов были схвачены, а потому они занимались акулами помельче, спокойно дожидаясь сигнала о том, что Гера приступил к концентрации капитала в виде известных всем зелененьких дензнаков.

А Гера долларов как раз не покупал. Гера уже давно договорился с представителем одной крупной швейцарской фирмы о том, что продаст ей (один к одному) около двух миллионов советских рублей. Но произойти это должно было только в самой Швейцарии. Фирма собиралась закупать в СССР деревообрабатывающие станки и просчитала, что если сделает это конкретно по советской внутренней цене и рублями, то сэкономит процентов 400 или 500 — в общем, очень много.

В субботу 21 августа Гера в рубашке, брюках и легкой чехословацкой обуви с двумя чемоданами рублей прибыл в Шереметьево на рейс 612 Москва — Вена. Среди крикливых людей, выезжающих на ПМЖ с детьми и баулами, Гера занял очередь на досмотр багажа и прощание с родиной. Если представить себе, что он в буквальном смысле слова рисковал жизнью (за миллион по тем временам его бы неминуемо

расстреляли, а за два, наверное, отрубили бы голову), он был относительно спокоен.

Геру никто не провожал. Самый близкий ему человек — агентурный милиционер, получив авансом (в счет выходных) двести рублей, тратил их в ресторане «Архангельское» в обществе полненькой хохотушки из отдела кадров. И он, и она надеялись на вечернее соитие.

Подошла Герина очередь. Ему не повезло. В этот день на таможенных воротцах дежурил молодой амбициозный сотрудник. Он был блестящим офицером и членом партии. Внимательным и дисциплинированным. Видимо, спокойный человек с двумя чемоданами сразу внушил ему сильные подозрения. Иначе чем можно объяснить, что он завел Геру в специальную комнату для личного досмотра и десять минут там держал.

Когда в девяносто шестом мы приехали в Штаты, то первый, кого я встретил, был пополневший, но очень респектабельный Гера — морда ящиком.

— Старик, как же у тебя смелости-то хватило? Ведь поймали бы с деньгами, и кранты! Так рисковать!

— А чем я рисковал?! Я ему говорю: «У меня в чемоданах личные вещи. Мне бы не хотелось распаковывать, так удачно все упаковал. Вот десять штук за хлопоты!»

Он фуражку чуть не съел. «Это вы мне, — кричит, — члену партии?!!»

— Ну, раз партиец, тогда двадцать!

— Дак это ж взятка!

— Тридцать!

— ?!!

— Сорок!

— Проходите, пожалуйста!

Пять «Волг»! Я представил себе ситуацию — но все равно оторопь брала.

— А если б он на сорок не пошел?

— Я бы пятьдесят дал или сто. У меня два чемодана было. Таможенник этот потом как милый стал брать. Я через него кучу народу потом переправил. Он сейчас полковник, мебель таможит туда-сюда, живет на Рублевке, мне открытки шлет.

А у швейцарцев тогда ни хрена не вышло. Когда они радостные приехали в Москву с двумя лимонами рублей, наши, все подсчитав, наплевали на договора и международное экономическое право и, вильнув советским хвостиком, послали часовщиков и сыроделов прямо к их опрятной швейцарской маме. И пылятся сейчас устаревшие миллионы где-нибудь в цюрихском банке, а швейцарское дерево так и осталось необработанным.

Но Гере это было уже по барабану. Он поменял швейцарские франки на доллары (вышло чуть более миллиона семисот тысяч), приехал в США и в три глотка сожрал одного бывшего нашего певца, владельца сети кинотеатров, перешедших теперь к Гере от этого разорившегося Эмиля.

ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭМИЛЯ

Эмиль был бешеный красавец и ленинградский певец. Ходил в смокинге и пел про макароны. А потом его директор Благовещенской филармонии сильно обидел, велев напечатать на афише фамилию не двадцатипятисантиметровыми буквами, как тот хотел, а восемнадцатисантиметровыми — как он очень не хотел. Эмиль заругался и пообещал, что десять лет ноги его в Благовещенске не будет. А директор сказал, что через десять лет Эмиль на хер не будет нужен не только в Благовещенске, но и нигде. Пришлось Эмилю запить. Несут его как-то на концерт, а он тяжелый, гад, да еще и говорит несущим: «Ох уж это тяжкое бремя славы!» Потом перебрался в Штаты, воссоединившись хоть и не с семьей, зато с вполне приличной суммой, полученной по наследству. И стал терпеливо дожидаться Геру, чтобы тот сожрал его в три глотка.

Так вот, на гастролях в Краснодаре нас обокрали злобные беспринципные люди. В той поездке я жил в одном номере с нашим гитаристом. Получив от Геры деньги, мы на радостях крепко выпили, а гитарист еще сходил в номер к звукорежиссеру и принес от него анаши. Тогда за анашу еще не срок давали, а почетную грамоту. У звукорежиссера она часто водилась, и он никогда не жадничал. Хороший человек. Саша. Саша Кальянов.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САШИ

Саша родился в Брянске, работал там потом на радиозаводе. С одной ногой у него был небольшой непорядок. Он носил на ней специальный ботинок, но это его никогда не смущало и ни в каких делах не останавливало. Я на самом деле горжусь знакомством с ним, потому что вот он есть настоящий пример, когда из-за физического недостатка человек не только не унывает, а, наоборот, от него прикуривать можно — такая энергия прет. Как-то в городе Кургане знаменитый на весь мир врач Елизаров, к которому и из Японии приезжали, предложил Саше в течение месяца при помощи своего гениального аппарата

выправить ногу, но у нас на послезавтра была пьянка назначена. Саша, естественно, отказался. Как настоящий Маресьев, из повести сами знаете какой.

Однажды в Самарканде, куда Саша привез на продажу шикарный английский усилитель «Hi-watt», собранный лучшими мастерами брянского завода, местный музыкант пригласил нас на ужин. Мы выпивали в разумных пределах, а радушный хозяин угощал такими потрясающими солеными помидорами, что Саша стал уговаривать его продать нам немного с собой. Хозяин упрямился — мол, у него остался всего один маленький бочоночек, который он готовит себе не то на свадьбу, не то на похороны. Короче, Кальян Иванович поменялся с ним на этот усилитель, который ценился не менее чем в 800 рублей. Вот такой широкой души Саша человек — за хорошую закуску что хочешь отдаст. Сейчас часто по телевизору выступает, поет про путану и про другое всякое. Записывает на своей студии Аллу Пугачеву и других знаменитостей, а тогда запросто дал анаши гитаристу Юре.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЮРЫ

Юра родом из города Конаково. Я там бывал пару раз, любовался многочисленными статуями Ленина. Кстати, не очень похож. Да еще местные экскурсоводы редким туристам статуи эти показывают и с удовольствием объясняют — вот, мол, основатель нашего города — товарищ Конаков. И вот конаковская паспортистка, выписывая Юре паспорт, отвлеклась на проходившего мимо курсанта в отпуске и написала будущему гитаристу фамилию и имя в падеже. То есть оказалось, что в графе «имя» написано *Юрия*, а в графе «фамилия» — *Рыманова*. Если мысленно впереди подставить слово «паспорт», то вроде катит, а так — нет. Пришлось Юрке длинные блондинистые волосы завести и бриться по два раза на дню. Чтобы соответствовать. А так парень очень хороший и гитарист классный. Сейчас у Расторгуева в «Любэ» работает. У Коли.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОЛИ

Коля носил странное прозвище — Киллис. Получил он его еще до меня в развалившемся впоследствии (по случаю посадки руководителя) ансамбле «Шестеро молодых», где пел в составе из одиннадцати человек среднего возраста.

Вместе с Киллисом в «Лейся, песня!» тогда пришли Челдон, Рыман, Кальян, Бахила, Пися и Мальчик. Мальчик имел очень высокий голос и пел тужильную жалобную балладу «Мама», пел так хорошо, что среди чувствительных зрительниц ходили устойчивые слухи, что у Мальчика недавно мать умерла (дай ей Бог здоровья!). Когда «Песня» перестала литься, Мальчик отрастил совсем длинные волосы, оснастился кожей и шипами, стал активно подвизаться в ансамбле «Ария», а нынче именуется не каким-нибудь там Валерой, а коротко и ясно — Кипелов.

Так вот, однажды в Питере Киллису после очередной песни девушка вынесла цветы. Коля нагнулся и хотел поцеловать стерве руку, но она взмахнула букетом (видимо, в нем было что-то спрятано), и в следующую секунду Киллисова голова оказалась вся залитой кровью. Девица под шумок ускользнула, а то народ бы в клочья разорвал.

К счастью, выяснилось, что не кровь это, а клей, перемешанный с красной тушью. Коля-то в прошлый питерский приезд эту девушку поматросил и забыл, как страшный сон, а она неизвестно что себе вообразила, на адрес филармонии письмо написала, платье белое сшила и фату приготовила.

Коле пришлось осознать, что шоу-бизнес — это серьезная группа риска, коротко постричься и дня три ацетоном отмываться, так что часть его песен пел как раз Юрка Рыманов, который тогда в Краснодаре принес наконец от Кальян Иваныча анашу и мы с ним после водки накурились до полного хохота и последующего сна.

Утром проснулись — денег нет. Видимо, нас обокрали злобные и беспринципные люди. Дверь как была заперта, так и осталась. Ну, раз они ключи подобрали, чтобы без взлома открыть, значит, им ничего не стоило потом снова запереть на фиг. Мои-то деньги как были в трусах, так целы и остались, а гитаристовых нет. Его вещи на полу валяются, карманы вывернуты. Юра вызвал милицию. Через какой-нибудь час приходят трое. С собакой — помесью японского хина и карликового пинчера. Рамзесом зовут — морда ящиком. Шавка первое что сделала — помочилась на порог.

— Она у нас с убийства только что. Крови нанюхалась. Ну, ничего, сейчас опомнится. Итак, что произошло?

Юре все это со вчерашней анаши смешно. Он понимает, что дело серьезное, но поделать с собой ничего не может. А тут еще главный милиционер, которому другие двое в рот смотрели, проверил заклеенные окна, замок на двери, взял лист бумаги, сел за стол, завел глаза за брови и задумался.

— Собака, — говорит, — выведет в коридор!

Юра уже в голос прыснул:

— Логично! — и мы стали оба хохотать как безумные. Да еще Кальян Иваныч заходит:

— Идите быстрее в 142 номер, там администратор приехал насчет Тамани договариваться. Гера с нами уже не поедет, а поедет Веня.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕНИ

(КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ, ЧЕМ ГЕРА)

Веня, значит, тоже был директор, ученик Геры. Ему побольше понадобилось лет, чтобы порядочную сумму накосить. Потому что действовал он значительно позже, когда уже самые золотые времена прошли. Но все равно талант не скроешь! И народ поговаривал, что Веня к выработке принципа «вертушки» свою веснусчатую рыжую руку приложил. При помощи «вертушки» в отдельно взятый день можно и по шесть концертов пахать, и по восемь. Вот Веня на «вертушках» и поднялся.

Но в какой-то момент понял, что хорош! Пора завязывать! В коридорах Рос- и Москонцерта стало явственно попахивать жареным. С треском сменилось руководство МВД, пришли молодые голодные люди. Начали рыть землю. Нет, пора было завязывать и опять же валить.

Веня подал документы и стал очень сильно думать, как быть с заработанными потом и кровью довольно приличными бабками. К тому времени Гера уже шесть лет как уехал, от него не было ни слуху, ни духу, хотя мог бы передать по наследству своего истосковавшегося по деньгам агента или того же таможенника, но не передал. А Веню уже, между прочим, два раза вызывали куда следует по поводу тех знаменитых левых концертов Леонтьева, где как раз Веня рубанул тысяч двадцать взявшихся как бы из воздуха, а потому неучтенных долларешников. По разговору он понял, что следователю известно довольно много. Но прямых улик не было, Веня только сильно удивлялся, зачем мент ему все это сгружает. Пугает, что ли? Или к чему-то подталкивает?

И тогда Веня начал активно скупать валюту. Почти в открытую. Более того, он везде ходил и рассказывал, что скоро уезжает, что нашел окно на границе, дабы деньги провезти. Люди в те годы до самого самолета от всех скрывали. Даже от родителей, а он… Народ стал от него шарахаться: или провокатор, или сумасшедший. Органы начали следить за его квартирой, и было замечено, что к нему разок приходили два

иностранца. Но вышли такие же пустые, как пришли. А коли попытались бы вынести что-нибудь объемное, решено было под благовидным предлогом остановить и отнять. Ведь Веня мог так передать деньги.

Брать его с поличным в аэропорт приехал сам подполковник Меркулов. Действовал он по личному указанию одного совсем уже большого начальника, к которому и должен был после операции привезти и бедного Веню, и его нечестные миллионы (на самом деле всего 960 с чем-то тысяч). Какую комбинацию этот начальник придумал, чтобы потом деньги раздербанить, а от Вени избавиться, сказать трудно, но, думается, — от несостоявшегося эмигранта ни рожек, ни ножек бы не осталось. Прецеденты уже бывали.

Веня нагло явился в Шереметьево с мордой ящиком и небольшим портфелем, в котором кроме зубной щетки, бутылки водки и всякой другой мелкой лабуды лежали толстая книжка писателя Айзека Азимова (на дорогу), комплект нижнего белья и маленький мешочек с пеплом — прах любимой, как он сказал, бабушки Эсфири Львовны. На просьбу предъявить имеющуюся валюту Веня достал бумажник и показал триста долларов мелкими купюрами, которые взбешенный Меркулов кинул ему прямо в табло. Кинул и убежал.

Взять острый нож и, расклеив толстую обложку Азимова, достать оттуда небольшой документ с орлом и водяными знаками, никто из заинтересованных лиц не догадался. Пролить немного света на исчезновение денег могла бы соседка по этажу Лидия Леонтьевна, сначала почувствовавшая сильный неприятный запах горелого, а потом видевшая, как Веня в три приема выбрасывал из большой кастрюли пепел в мусоропровод. Но Лидию Леонтьевну никто не спросил. А, кабы и спросил, то ничего б не понял. Потому что 960 000$ Веня сжег, но не просто спалил, а сделал это в присутствии американского ответственного лица, которое деньги пересчитало и номера переписало (Веня заплатил семь тысяч), в чем выдало Вене официальный документ.

По приезде в американские пенаты Веня обратился в указанный тем лицом нью-йоркский банк. И после некоторых специальных переговоров с посольством в Москве и парой других учреждений получил всю сумму новенькими хрустящими бумажками, кои и положил тут же на только что открытый на его имя свежий счет. Операция была не такая уж часто встречающаяся, но все пошли навстречу. Больно уж велико было желание вставить леща Стране победившего Социализма.

А из пепла несуществующей «бабушки Эсфири», взятого им

на память, Веня сделал малюсенькую ладанку, которую и носит в охотку, перебиваясь с икры на коньяк и ютясь в двухсотметровом пентхаусе на Манхэттене. С Герой Веня не дружит, но это их дела.

А тогда в Краснодаре в люксе нашего руководителя маленький рыжий Веня, выпив рюмку наливки, сказал нам, толпившимся у входа:

— Я только что из Свердловска. Кстати, вот гитару привез на продажу: «Фендер», — по-моему «Телекастер». Никому не надо? Новая, с чехлом! Получил в счет долгов, для своих отдам почти даром.

Юрка сразу сделал стойку. «Фендер» был его мечтой.

— С «Надеждой» работал, — продолжал Веня, — где ваш барабанщик? Ему Нинка-певица просила привет передать, — он полез в карман за бумажкой, прочитал, — Максиму.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАКСИМА

Еще бы она мне привет не передала. У нас ведь в Киеве такой трехдневный амур был — дым коромыслом! И на Крещатик ходили, и вообще. А еще бы у нас в Киеве трехдневного амура не было, когда я там устроил такое…

На огромной сцене киевского Дворца спорта я готовился к концерту. Устанавливал свои барабаны. Концерт был сборный, и вокруг суетились человек тридцать музыкантов из разных ансамблей — настраивали усилители, проверяли микрофоны и другую аппаратуру. У дальнего бархатного задника прогуливалась симпатичная девушка с нотами и хорошей фигурой. Она распевалась. Это была довольно известная в узких кругах певица из пахмутовского ансамбля «Надежда». Поговаривали, что у нее в Питере муж не то какой-то хороший и богатый человек, не то, наоборот, директор областной филармонии. В общем, летала она высоко, и на нее можно было только облизываться.

Основой ударной установки является большой барабан. На него крепятся несколько других барабанов и еще много разной нужности. Поэтому стоять большой барабан должен как вкопанный. Ни туда, ни сюда. Для этого барабанщики приноровились регулируемые ножки — сорокасантиметровые стальные штыри — затачивать и вбивать молотком в мягкую деревянную сцену. Тогда как ни стучи правой педалью, ничто никуда не уедет. Я уже одну ножку вколотил сидя на корточках, приноравливаю вторую и вдруг слышу страшный, леденящий кровь визг.

И главное, визг этот прозвучал как раз тогда, когда красивый волосатый парень — гитарист «Надежды» — настраивал свой недешевый японский инструмент и попросил минутку тишины. Кстати, это был Володя. Володя Кузьмин.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЛОДИ И «НАДЕЖДЫ»

Ансамбль «Надежда» был уникальным явлением для своего времени. В основном коллектив исполнял песни Александры Пахмутовой, но всегда в эдакой полуроковой манере, что очень нравилось зрителям, а главное, позволяло как бы забыть ненадолго фальшивую комсомольскую подоплеку всех этих песенок про БАМ, яростные стойотряды и первопроходческую героику.

В «Надежде» традиционно работали очень хорошие музыканты, в чем была немалая заслуга руководства коллектива. Раз в год, как правило, в августе, специальный их человек выезжал по городам и весям нашей необъятной. На танцплощадках и в местных домах культуры, в военных частях и на производстве он выискивал талантливых ребят и приглашал в Москву для работы в известном ансамбле. Сумма оговаривалась на месте. Например: 600 р. в месяц (а он у себя на танцах имел 120). Договор с ними заключали на довольно странный срок — 11 месяцев. Потому что получает потом музыкант официально в кассе филармонии опять же, например, тысячу, — расписывается и радуется. А вечером к нему в номерок директор заходит — верните, пожалуйста, 400 взад, а оставьте 600, — как договаривались. Пять-шесть месяцев индивидуум еще терпел, а потом у него начинала крыша ехать: как же так?! Целыми днями в лучах прожекторов, зрители с ума сходят, а он все продолжает получать эти поганые 600 рублей. А змей-руководитель (морда ящиком) за его счет жирует и обогащается. Забывают люди, что еще полгода назад они были никто и звать никак. Забывают, что не на ГДРошной, а на американской аппаратуре работают, забывают, что не в обносках, а в двухтысячных сверкающих костюмах к зрителям выходят, а живут в хороших гостиницах в одноместных номерах.

Вот если взять по приколу и начать соседу-забулдыге каждый день по сто рублей за просто так отстегивать, а через две недели резко прекратить, он на вас тут же с ножом полезет или в суд подаст. Человек — он же, в сущности, такая скотина. А музыкант тем более.

И месяцев через девять начинали вечерами по номерам под

водочку клубиться нехорошие разговоры, объединялись люди в группировки и коалиции, плели интриги и мечтали сбросить кровопийцу-руководителя, сделать прозападный репертуар и процветать, и процветать. А кто будет гастроли делать, по начальству ходить, афиши печатать — найдутся. Мы ведь гениальные! Даром что вчера из Епидопельска.

Но только начнет уже настоящий заговор вырисовываться, только листовки напечатают и оружие раздадут, бац — договор и кончается. И идут заговорщики на все четыре стороны, «в туда, из чего их мама родила». А специальный человек уже две недели как в пути. Новые таланты по городам и весям выискивает, чтоб потом месяц порепетировать, а через одиннадцать уволить. Система была мудро просчитана, и годичный круговорот налажен.

Но не таков был Володя. Он свой шанс не упустил. Пару лет работы в таком известном коллективе использовал для самоусовершенствования. Отточил мастерство, наснимал «махавишны», приобрел достойные инструменты, начал писать свою хорошую музыку. Про Симону и серый капюшон, например. А потом они с Аллой Борисовной стали две звезды — две светлых повести, пока не явился Сергей. Сергей Челобанов.

Вы, наверное, думаете, что сейчас будет краткая история Сергея? А вот и нет! Не бывает правил без исключений. Автор ведь я — что хочу, то и ворочу. Тем более, я его не знаю совсем.

А тогда в Киеве Володя попросил минуту тишины, чтобы настроить гитару. Вот в этой-то тишине и раздался визг.

Оборачиваюсь и вижу, что метрах в пятнадцати от меня — у задника — на певицу напала здоровенная крыса, скорее всего, даже крыс. Ну, напала — не напала, а бежит на девушку и красные злобные глазки таращит.

Народ на сцене прямо застыл, а я подумал: «А ну как она сейчас на меня повернет?! Ой, не хочу!» — и через левое плечо, почти не глядя, кинул острый штырь в направлении крысы.

Вокруг как будто все остановилось, только барабанная ножка, медленно переворачиваясь в вязкой тишине, летела в сторону задника.

Штырь попал крысе в левый глаз и пригвоздил к полу, вонзившись туда на добрых два сантиметра. Между прочим, на расстоянии полушага от левой ноги находящейся в полуобморочном состоянии певицы.

Негромкое сдавленное «ах» исторглось из глоток всех, кто находился на сцене. Сказать, что я был поражен, значит ничего не сказать. На негнущихся ногах подошел к убитой крысе, двумя руками выдернул штырь, вытер его о бархатный задник, вернулся

к барабанам, заколотил штырь на место и гордо покинул поле боя под обжигающими взглядами толпы.

В туалете начал мыть руки, глянул в зеркало: морда — ящиком. Ну конечно же, главное — морду ящиком сделать. В ресторане, например, проходишь по проходу, махнул рукой — глядь, а в ней фужер зажат. Оказывается, с соседнего столика упал, а ты его случайно подхватил. Сразу морду ящиком: «Получите, мадемуазель, пожалуйста, ваш фужер взад. Я вообще-то комара на лету за правое крылышко ловлю, так что фужер поймать для меня, как для Брюса Ли шестерых ниндзя зачистить! Телефончик не дадите?»

После концерта банкет. Все пьют за скромного барабанщика «Лейся, песня», в совершенстве владеющего не просто кунг-фу, а самой боевой и секретной его разновидностью «со-сю».

В гостинице около двенадцати кто-то поскребся в номер. Ба, да это благодарная певица принесла шампанское, магнитофон и насчет амуров интересуется. Сразу морду ящиком и вперед с головой в трехсуточную любовь под ее любимую песню «Давайте делать паузы в словах»! Несколько раз мы эти паузы делали. Мне песня тоже нравится. Она Макаревича. Андрея.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АНДРЕЯ

Родился Андрей в Москве… Это я шучу. Чего б его биографию пересказывать — и так все все знают. А вот однажды в Саратове после концерта сидит он это у себя в люксе с парой-тройкой других «машинистов» и несколькими местными ребятами и девушками. Девушки пришли целенаправленно, а ребятки набились — якобы музыку любят. Я-то тоже там был, но речь не обо мне, а о Макаре. Мы водку пьянствуем, но грамотно и с хорошей рыбной закуской — девчонки принесли. Разговор идет иронический. Со стороны местных товарищей. Очень им не нравится, что девушки повышенное внимание заезжим артистам оказывают. Вот мужики и колбасятся: кто старые анекдоты рассказывает, кто водку с локтя пьет, а один все спички зажигал. Ловко так — щелк, и коробка подлетает, а горящая спичка у него в руке остается. Правда, получалось через раз — то ли спички дрянь, то ли сам он дурилка картонная.

А потом тот, который все с локтя пил (два раза облился), нож достал — не финку, конечно, но и не так чтоб перочинный. Растопырил пальцы левой руки на столе и начал ножом в стол между пальцами тыкать. Как в фильме «Место встречи изменить нельзя» на хазе у Горбатого. Не знаю, какой реакции они от нас

ждали. По мне так если бы он тут же при нас насмерть зарезался, я бы и ухом не повел. А Андрей в этот момент что-то рассказывал. Он в одном торце длинного стола сидел, а я в другом. Вот Макар, продолжая рассказ, и говорит мне:

— Макс, дай сигареточку!

Я взял пачку и щелкнул по донышку большим пальцем, чтобы сигарета высунулась — мы тоже, знаете, не какие-нибудь там. Но не рассчитал — сигарета птичкой вылетела из пачки и, перелетев через весь стол, попала Андрею прямо в рот, причем он поймал ее именно фильтром — как положено! А в это время у того козла, который со спичками баловался, как раз случайно одна зажглась. Андрей у него сразу в продолжение движения и прикурил:

— На чем, — говорит, — я остановился?

Тот, кто с ножом игрался, себе тут же палец проткнул. В общем, они с кровью, спичками и ножами моментально свинтили. Андрей говорит:

— Максим! А чего это у тебя морда ящиком?

— А у тебя?

Сразу после того, как потерпевшие такое впечатляющее фиаско аборигены удалились, на пожелавших остаться обрушился бурный поток саратовских ласк. Даже не поток, а настоящий водопад. Ниагарский.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ У НИАГАРСКОГО ВОДОПАДА

К Ниагарскому водопаду, как известно, с одной стороны примыкает Америка, а с другой стороны вовсе даже Канада. Мы подъехали от Канады. Для того чтобы по-настоящему оценить мощь и красоту природы, было решено пропутешествовать на маленьком специальном пароходике. Он прямо к самому водопаду подходит. Так близко, что брызги от грандиозной водяной стены прямо в морду летят — делай ее ящиком или не делай. Испуг гарантирован. Но не одни мы такими умными оказались — вдоль берега длинная живая очередь медленно движется, как у нас в Мавзолей. Но у них на посадку. Природа кругом потрясающая, чистота просто неприличная, а я как назло последнюю сигарету выкурил. Осталась пустая пачка. Я положил в нее бычок, смял в комок, но выкинуть было решительно некуда. Пожилая француженка, двигавшаяся передо мной, долго мучилась с недоеденным мороженым. Больше ей явно не лезло, уже начало таять, а ни урны, ни чего другого поблизости нет. Каждую сладкую каплю, падающую на чистый асфальт, баба

провожала страдающим взглядом и озиралась в поисках сочувствия. Мол, не я виновата, а мороженое подлое такое, да и урн нет. Видно совесть у нее была. Но очередь смотрела сурово и осуждающе. Тогда женщина достала из сумки полиэтиленовую косметичку, сунула туда проклятое мороженое и, став моментально нормальным членом социума, предалась единению с красотами.

Косметички у меня в тот раз с собой не было, а мерзкая пачка даже в кармане отравляла все удовольствие от предвкушения плавания по водопаду. Может кому-то и смешно, но вы попробуйте сами походить у водопада в облегающих джинсах со смятой пачкой от «ВТ» в кармане. Да еще с вонючим бычком внутри! А еще мне показалось, что все окружающие в курсе моих мучений — так и посматривают, чтобы в случае чего осудить. А я ведь Страну представляю!

После поворота дорожки справа показалась зеленая бестолковая труба типа «флагшток», торчащая метра на полтора из безукоризненной канадской травы. До нее было шагов двадцать. Рука сама достала скомканную пачку и занесла над очередью. Назад пути не было. Все остановились, крайние подошли поближе.

Со мною что-то произошло. В отличие от всяких случайных подвигов (крыса, сигарета и т. д.), когда морду приходилось делать сами знаете чем, на этот раз я был на триста процентов уверен, что попаду.

Моментально определив стороны света, давление и влажность, я взял упреждение на ветер, и пачка по сложной траектории ухнула в четырехсантиметровую трубу, даже не коснувшись ее стенок.

Бурные, продолжительные аплодисменты заглушили мощный шум близкого водопада и стали первым после полета Гагарина публичным иностранным одобрением политики нашей партии и правительства. Стало даже немного неудобно. Все протягивали сигареты и жестами предлагали метнуть их в трубу, а один мужчина в шотландской юбке предложил для этой цели фотоаппарат.

Водопад был окончательно дезавуирован, а я выпрямился, расстегнул пять верхних пуговок на рубашке и пошел в сторону Ниагары, как какой-нибудь московский пустой бамбук. Типа красавца Буйнова. Буйнова Саши.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САШИ

Прежде чем стать бамбуком, Саша Буйнов (помните: «для тебе, для пезде»?) работал в ансамбле «Веселые ребята». Коллектив этот по тем временам был одним из самых лучших и заслуженных. Это признавали даже люди, совсем ни в музыке, ни в жизни ничего не понимающие. Например: моя первая жена, которая после развода с вашим покорным слугой вышла замуж за руководителя этих приятных ребят.

Но не на всех фронтах «Веселые» были на переднем крае. Музыканты «Лейся, песня!», поработав с Яаком Йоалой и его ансамблем «Радар», пристрастились к европейской культуре и приобрели у продвинутых эстонцев невиданные еще тогда в России роликовые доски — скейтборды.

Через месяц встретились с «Ребятами» в Сочах. Мы уже научились и вовсю рассекали сочинские просторы на чудо-досках. После мощного дружеского застолья (выпьем за «Битлз» — такую хорошую работу придумали!) договорились, что, уезжая завтра в дождливую Москву, оставим доски ребятам на несколько дней. А они потом в столице нам обратно отдадут.

Я только что провел профилактику своему скейту: смазал колесики и отрегулировал «сход-развал». Поэтому собирался доверить его только самому ответственному и дисциплинированному, коим в тот момент, без всяких сомнений, и являлся Саша Буйнов.

Через день он катался на доске с пологого спуска, упал и сильно разбил лицо. Наложили семь или десять швов (Саш, прости, — не знаю точно), а потом еще сделали виртуозные улучшающие пластические операции. Так что если бы не мой скейт, не было б того красивого секс-символа Буйнова, по которому сохнут тысячи романтических девушек от четырнадцати до шестидесяти. Это не к тому, что у него *до* «аварии» морда ящиком была, но все-таки.

Я вот все это написал, а потом что-то засомневался — правда ли? Ведь свидетелем падения и последующих событий лично мне быть не довелось — ребята рассказывали. Да и столько лет прошло. Позвонил одному известному певцу, который раньше в «Веселых» работал. А он говорит:

— Саша тогда разбился на велосипеде. Дочку катал. И было это в Москве.

Во как! Но доску-то я ему давал? Давал! Он красивый? Красивый! Секс-символ? Секс-символ!

Ну ошибся я! С кем не бывает! — но ведь, черт возьми, исправился. Спасибо дорогому Леше. Леше Глызину.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛЕШИ

Году так в семьдесят пятом (м.б. в 76-м) на репетицию к «Добрым молодцам», постукивая каблучками, пришел невысокий, но страшно симпатичный мальчик. Своим красивым чистым голосом он, волнуясь, спел несколько песен и определенно всем понравился. Были, правда, у руководителя определенные сомнения по поводу и так большого количества освобожденных вокалистов, но Леша сказал, что умеет играть на гитаре и может легко примкнуть к инструментальной группе. Более того, выяснилось, что он является счастливым обладателем американского инструмента «Фендер-Телекастер», только гитара сейчас в починке — мастер шлифует лады.

Обогатить гитарный арсенал коллектива родным «Телекастером», да еще и приобрести при этом приличного певца, руководителю очень хотелось, поэтому за последним словом он пошел к члену профкома «Росконцерта» Густочке — нашей пожилой костюмерше.

Густочка — это у нее кликан такой был, погоняло. Уж не помню, почему. Кажется, она рот так собранно держала, как курица — гузку. Ну, не суперудивительное прозвище, ей самой, во всяком случае, нравилось. А то вот в «Лейся, песня!» работал певец с очень длинными руками и непропорционально крупными кистями. Так он, когда пел трепетную песню о материнской любви, на словах «…руки матери теплые, нежные…» выходил на авансцену и протягивал клешни ряда так до пятого. Вот где страх-то был!

Ну и получил от народа прозвище — «Руки матери». Ничего, откликался.

А тогда Густочка вышла на сцену с сантиметром, измерила Лешу с ног до головы, вернулась в комнату к кофрам с концертными костюмами и после сравнения цифр с фактическим наличием дала положительный ответ.

А ее слово дорогого стоило.

Для первого, — «народного» — отделения год назад «Добрым молодцам» пошили тройные атласные камзолы, щедро украшенные по передней планке и обшлагам тремя-четырьмя килограммами дивных самоцветных камней. Упаси боже было потерять во время концерта хоть один — Густочка душу вынет. Как минимум: заставит обыскать всю сцену и коридор в гримерную, а как максимум: выхлопочет выговор с занесением по линии профкома. А это уже пахло поражением в материальных правах. Короче, кошмар!

Особенно суровая женщина не любила гитаристов, которые в силу специфики часто теряли камни с обшлагов, цепляя ими за струны. Но, к счастью, когда обсуждалась тема «Фендера»,

Густочка находилась в подсобке и проводила инвентаризацию камней. Поэтому потенции возможного нового члена коллектива она оценила только по наличию комсомольского билета и ходового размера камзола. А и с тем, и с другим у Леши был порядок.

Так что, учитывая весомое мнение Густочки, общее расположение руководителя и молчаливое согласие (а его никто и не спрашивал) третьего члена актива ансамбля сорокалетнего певца Вакýа, «Росконцерт» Лешу принял на должность вокалиста-инструменталиста ВИА «Добры молодцы». Но с обязательством предъявить как можно скорее белую гитару «Фендер-Телекастер», made in USA.

Леша активно приступил к репетициям — через десять дней ансамблю грозили гастроли в Ульяновске, на родине Ленина, поэтому готовился коллектив, как к международному конкурсу «Золотой Орфей». И Леша справлялся отлично.

Это подтвердил и обычно освобожденный от репетиций, но сейчас случайно забредший Вакýа, который в ансамбле обладал особым статусом, жил на гастролях только в люксах и имел высшую концертную ставку.

Как профессионал Густочка очень уважала Вакýа за аккуратность и за то, что он никогда не потел. А кто бы вспотел, если бы так же выходил на сцену всего на несколько секунд. В конце первого отделения.

Подпоясанный кушаком с кистями, Вакýа вальяжно выдвигался из-за кулис, поводил широкими плечами и волнующим поставленным голосом запевал:

— Ва-кýа…

— Ва кýа-узнице, — подхватывали остальные и продолжали, — ва кýа, ва кýа-узнице! Ва кузни́це молодые кузнецы, ва кузни́це молодые кузнецы…

Вакýа топал ножкой в яловом мягком сапожке, переодевался и ехал на предоставленной специальной машине в гостиницу в свой люкс, где его ждали включенный телевизор, накрытый стол и непременная бутылка коньяка[5].

В день отъезда на ленинскую родину у вагона весь коллектив с нетерпением ждал Лешу, чтобы взглянуть, наконец, на «Фендер», у которого мастер так долго шлифовал лады.

Гитара оказалась самопальной, но Леша уже полноценно вошел в программу, и остановить его победное продвижение к «Веселым ребятам» и нынешней известности не могли ни Густочка, ни Вакýа, ни даже его жена из Моссовета.

Как видите, морду ящиком можно сделать не только с помощью собственного лица, но и с бирюлевским «Фендером»

(модель «Телекастер»).

— А где «Телекастер»-то? — Рыман, моргая, смотрел на Веню в надежде, что никакой гитары нет или она окажется старой, плохой или ненастоящей — деньги-то украли.

— Вот! — Веня полез под стол, где рядом с его чемоданом обнаружилась картонная коробка.

С помощью товарищей инструмент был распакован, как матрешка: в коробке оказался прозрачный полиэтиленовый пакет, в нем роскошный желтый чехол, в чехле опять полиэтилен, только черный, а уж в нем… — сверкающая белым перламутром гитара. Родной «Фендер-Телекастер».

На Юру было жалко смотреть.

— Ребят, пару штук до следующей поездки…

— Не, — сказал Челдон, — я мебель покупаю…

Вмешался ничего не понимающий Кальян:

— Юрк! В чем дело?! Забери на хрен свои бабки, я их сохранил, как ты вчера просил.

С мордой ящиком, надеюсь, всем все понятно, но некоторые, конечно, могут задать резонный вопрос: а при чем тут какая-то Сарагоса и невнятная рукопись, найденная там?

Был раньше такой фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе». Авторы дали полную волю своей необузданной польской фантазии и повествовали об очень интересных вещах, но все время перескакивая с одного на другое. Вот и у меня в рассказе получился — как бы сказали кинематографисты — рваный монтаж. Этим и обусловлено название.

А так-то я хотел рассказать о том, как на гастролях в Краснодаре нас чуть не обокрали злобные беспринципные люди.

4
Послесловие

Ну что ж, вот и наступил грустный момент расставания. Я оттягивал его как мог. Но книга ведь не резиновая, да и издательское терпение не бесконечно. А жаль! Я уже успел к вам привыкнуть. Закрываю глаза и вижу, как вы над книгой склонились. Или наоборот: лежите на диване, а книжку над собой держите. Вижу, как вы фотографии разглядываете. Фотки-то, еще не читая, все просмотрели, а потом возвращались неоднократно — а ну-ка сейчас на козла посмотрим, на котором этот Максим ездил. Или на телохранителя маккартниевского. Это ж всегда так интересно! Из буковок и слов складываются образы определенные, а потом посмотришь на фото — не то! Или как раз именно то! Я-то, к сожалению, все это сам писал и лишен разночтений. А вы и обсудить с кем-нибудь можете, и расфантазироваться всяко-разно. Завидую. Но и мне польза — еще одного виртуального друга приобрел.

Я иногда сам себя читаю. Пытаюсь представить себя вами. Будто вы в уме вопросы автору задаете, а он тут же в книге отвечает — и ничего, получается.

Еще меня частенько в лирику заносит. Чувства переполняют, поэтому и пишу так, словно с близким человеком разговариваю. Но… вам судить.

Спасибо, что прочитали.

Целую крепко, ваш Максим

Фотографии

Пить, курить и говорить я начал одновременно. А это моя бабушка — Анна Галактионовна. Это она наказывала меня, запрещая думать о медведе. Это она называла выпендрежных и квелых людей — «с ваткой в жопке»

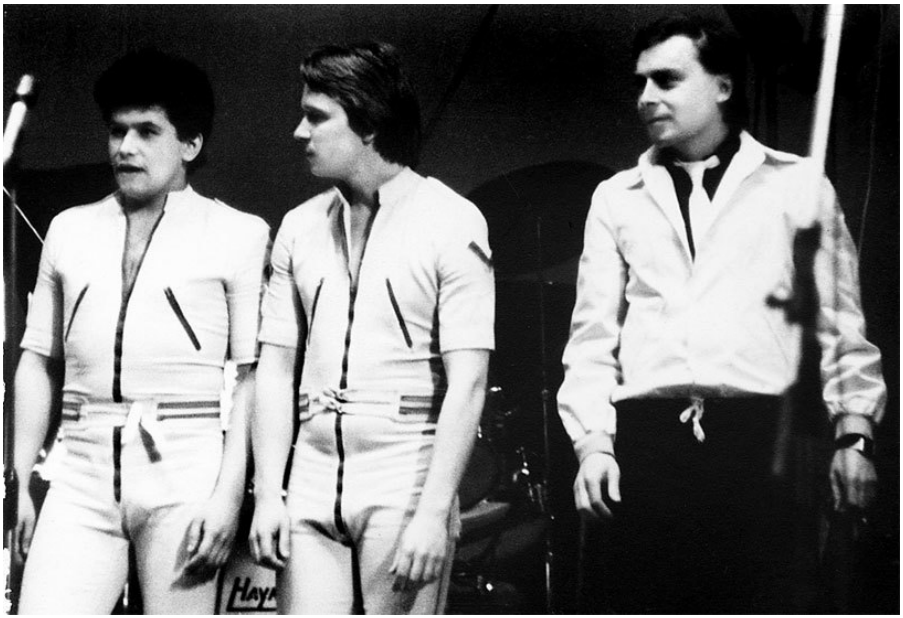
Первое в жизни слово, которое я произнес, было «дай! а наш сынок Егорка сказал «на!». Это ли не повод порассуждать о том, что наши дети все-таки лучше нас?

Эти отличные барабаны я приобрел у эстонского барабанщика Паапа Кылара году в 80-м. Но «недолго музыка играла». На установку свалился громадный гипсовый герб СССР. Сам я спасся лишь чудом: отходил вперед кланяться

Росконцерт. ВИА «Добры молодцы» образца 1976 года. *Верхний ряд*: Ю. Назаренко, Р. Власенко, А. Авраменко, С. Петров, М. Капитановский. *Нижний ряд*: А. Пономарев, А. Трофимов, А. Киселев, А. Евдокимов

ВИА «Лейся, песня!». Два месяца, как пошили новые

роскошные костюмы. *Слева направо:* В. Андрианов. А. Мешаев, В. Ефименко, М. Капитановский, М. Школьник, Ю. Захаров, Б. Платонов, В. Калмыков, В. Горбунов, 1979 г.

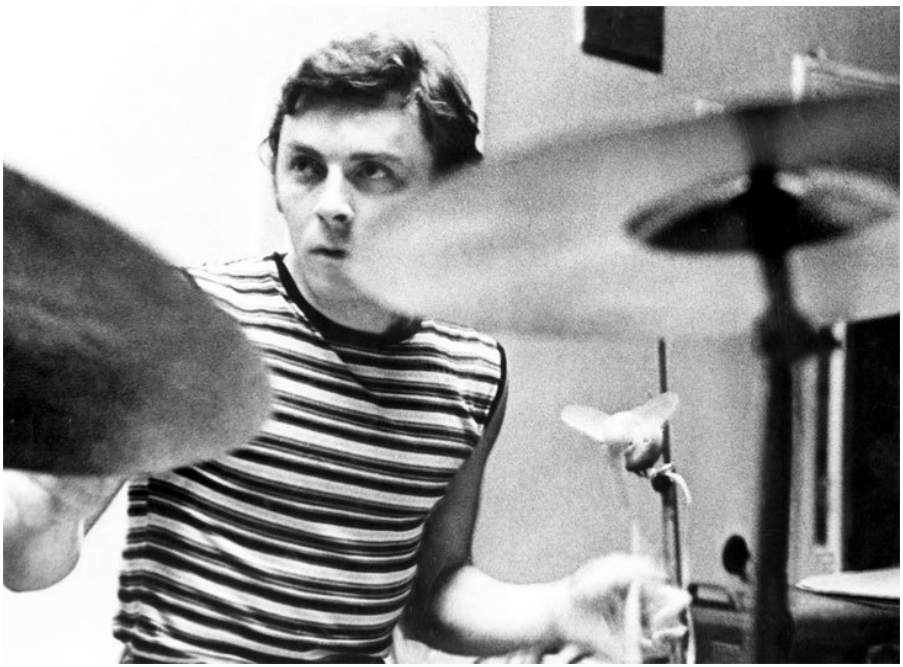


Конец концерта. Н. Расторгуев, В. Кипелов и я собираемся читать записки из зала. Иногда их бывало больше ста. Коля с Валерой разворачивали, а я читал и отвечал, как пулемет. Раз прочел в зал: «Как вы относитесь к минету?»

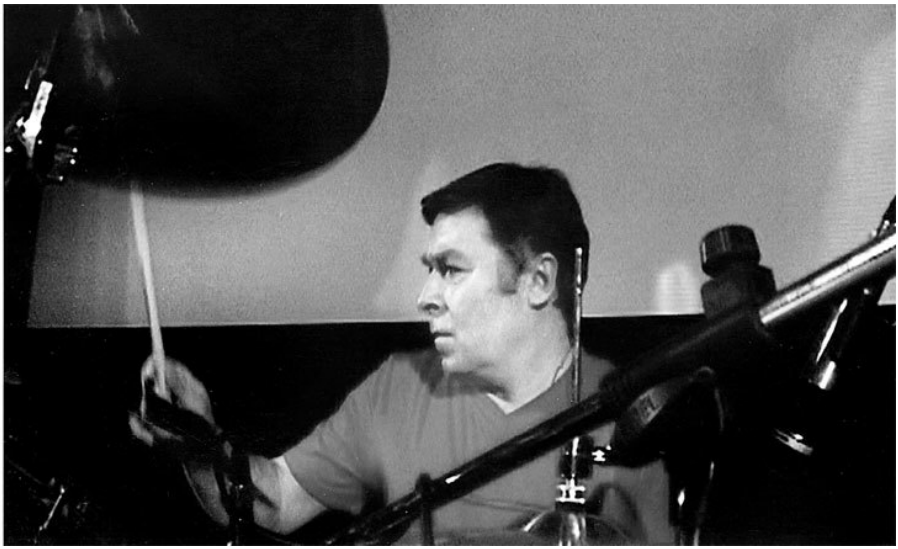
«Лейся, песня», 1979 г.

«Лейся, песня» — руководитель М. Шуфутинский. По центру Шуфутинский М., по левую руку от него М. Капитановский, единственная девушка М. Школьник

«Лейся, песня», 1979 г.



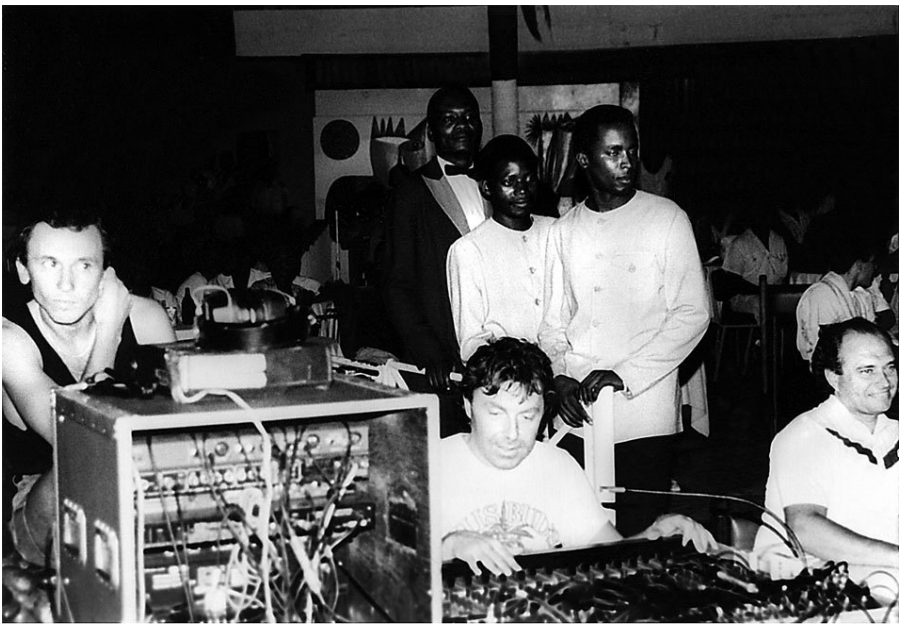
Если приглядеться, можно увидеть у моей левой руки красиво приделанный вентилятор. Включался он ножной кнопкой. Хорошо помню, что народ волновала не музыка, а как это я успеваю и играть, и включать вентилятор



Концерт в «Доме кино» на премьере фильма о приезде Маккартни. Известными московскими музыкантами исполнялись песни «Битлз». Даже представить невозможно, что эту фотографию от верхней отделяют 35 лет

По приезде в Лос-Анджелес Шуфутинский выписал из Европы машину. Номер — название ресторана, принадлежащего ему же, а прислонились к «Мерседесу»: А. Макаревич, А. Градский, М. Капитановский и В. Голда (директор «МВ»)

Даже на черно-белой фотографии хорошо виден свежий калифорнийский загар. Но снимок сделан в Далласе (штат Техас): Зайцев, Ефремов, Кутиков, Макаревич — «Машина времени». *В центре* — солист группы Род Стюарт



Мозамбик. Ночной клуб. Слева: мой коллега Наиль Короткин, справа: администратор Толя Протасов. «Загорелые» ребята на заднем плане — официанты. Потом сказали, что ничего подобного раньше не видели. Мы тоже

Второй справа: Яак Йоала. Идол советской эстрады. Почти иностранец. Везде, куда бы ни приезжали, ему оказывали почет и уважение и показывали все самое интересное. В данном случае лучше медвежонка ничего не нашлось

Один из моих последних концертов со «Вторым дыханием». Как-то пришел на репетицию, а ребят нет — уехали на гастроли с

Т. Миансаровой. Я с ними все равно бы поехать не смог, но зачем так-то уж. Влился в «Машину» и не жалею

Фотосессия в Ижевске у Ахмата Хисмутдинова, 1985 г.

Миг триумфа. «Машина» празднует 20-летие (27.05.89). Дворец спорта. Тысячи зрителей. Приехали отдельные гости из других городов и группы, участвующие в праздничном концерте. Андрей счастлив.

P.S. В октябре 2005 года в Екатеринбурге, куда я возил на фестиваль фильм, вижу афишу: «Андрей Макаревич и ансамбль креольского танго». Остался на 1 день и побывал на концерте. Воспоминания нахлынули, ведь в качестве звукорежиссера прослушал более 2000 концертов «Машины». Но тут была совсем другая музыка — относительно тихая, романтичная — слышен каждый нюанс. А энергетика все равно бешеная! Около меня сидели два парня лет по 16. Оба, как открыли рты в начале, так до конца и просидели. Потом за кулисами Андрей изумился: «А ты что здесь делаешь?!» — Я: «За тобой по всей стране езжу!» — Он: «Не звизди!» — И мы выпили хреновухи

Александр Викторович Кутиков в конце 80-х. Саша «начинал» «Машину» вместе с Андреем. С тех пор написал много хорошей музыки, счастливо женился на красавице Кате, родил замечательную дочку (тоже Катю) и, продолжая играть в «Машине», успешно занимается продюсерской деятельностью. Саша сделал себя сам «selfmade» и сделал очень качественно. Саш, дай тебе Бог здоровья и благополучия!

Первый день в США. Бойфренд хозяйки — Лэни «Тайгер» (*справа*) обнимает Максика (*слева*), за то что тот уговорил Директора проиграть назад 100$. Провели сравнение «Столичной» из Москвы с местной «Popov». Победила дружба

В ресторане «Атаман». Шуфутинский еще не пришел в себя от изумления. Он закончил петь, спустился со сцены, а тут мы… Русскоговорящие посетители долго аплодировали. «Правильно сделали, — говорят, — что свалили!»

Саша Зайцев, Максим Капитановский (примерно 2000 г.)

Андрей Макаревич, Алексей Белов (Вайт) в шляпе, Максим Капитановский, Сергей Мазаев (Мазай). Клуб «Дилижанс», 2010 г.

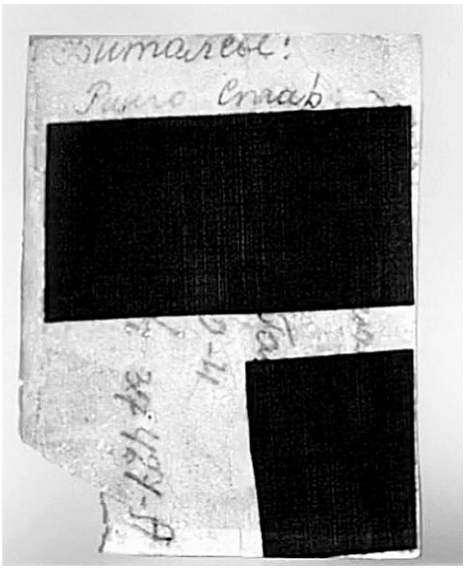
Билет на закрытую премьеру фильма «Пол Маккартни. 73 часа в России». Первыми зрителями были участники клуба Beatles.ru. Далее прошла премьера в Доме кино в 2004 г.

Пропуск на концерт Пола Маккартни, проходивший на Красной площади 24 мая 2003 г.

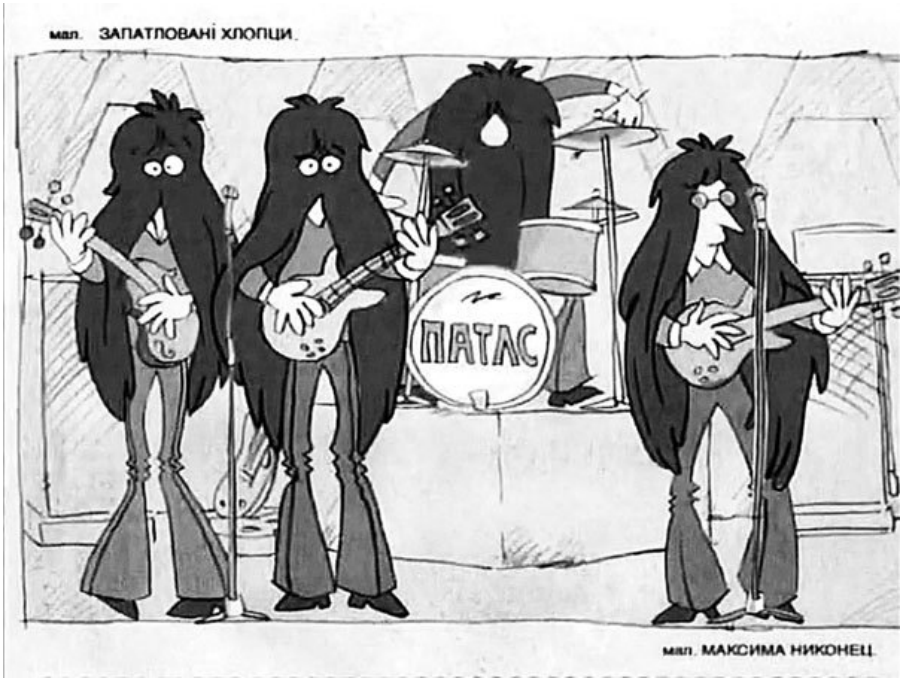
Это Александр Гафин. Тот самый «Банкир» из предисловия. Без него бы ни сам концерт в Москве, ни фильм, ни сценарий не состоялись. Гафин — наш продюсер. Спасибо ему за всемерную помощь и крепкие нервы

Володя Матецкий — эрудит, умница, прекрасный друг. В юности играл на бас-гитаре в известнейшей группе «Удачное приобретение». Впоследствии стал профессиональным композитором, его музыка украшает репертуар многих отечественных звезд. Володя большой любитель и знаток творчества «Битлз», лично знаком с Маккартни и другими супермузыкантами. Так что он — то что называется «в теме» — поделился уникальной информацией, предоставил материалы из своего архива. А его романтический шарф отражает именно то, что и должен, — талант и творческую натуру

Легендарный Психодром. Дворик перед университетом, где в День защиты детей (1.06.1971) несколько сотен хипповой молодежи собрались протестовать против войны во Вьетнаме. Всех замела милиция. Обвинили в антисоветской демонстрации



Через бури, ураганы, переезды, ограбления квартиры пронес и сохранил Андрей Макаревич свою первую драгоценную фотографию любимых Битлов. На обороте школьным почерком написано «Биталсы». Я увидел — сам чуть не заплакал



СМИ в СССР долго игнорировали существование Битлов, а потом ударили по ним едкой сатирой. Одни карикатуристы изображали группу в виде навозных жуков и призывали морить дустом, другие, как могли, издевались над их прическами

В отечественных публикациях песни «Битлз» называли «воплями под треск стиральных досок». Писали: «На концерте зрители поднимают такой вой, что самих артистов не слышно, зато видно перекошенные рты, хулиганские челки» и т. д.

notes

Примечания

1

Здравствуйте (*эст.*).

2

Парголово — около 25 км от Питера.

3

В 2006-м уже благополучно разведшийся. (*Прим. авт.*)

4

Речь идет об экстрасенсорных способностях главного персонажа романа «Будни волшебника». (*Прим. ред.*)

5

Жена у Вакýя работала в Моссовете.